АЗБУКА ВЕРЫ

# Хочу на небо! Рассказы священников

Художественная литература · azbyka.ru

**Хочу на небо! Рассказы священников** – электронная книга православного портала «Азбука веры».

Читайте эту и тысячи других книг бесплатно: azbyka.ru/fiction/hochu-na-nebo-rasskazy-svyashhennikov

«Азбука веры» – некоммерческий просветительский проект. Мы бесплатно открываем людям сокровищницу православной веры и лучшие книги русской и мировой литературы. Если книга оказалась для вас полезной, поддержите портал: azbyka.ru/kak-pomoch

# Хочу на небо! Рассказы священников

Оригинал

Непридуманные истории, собранные в книге «Хочу на небо!», никого не оставят равнодушными и дадут читателю повод лишний раз задуматься о жизни и о Боге. Врачи и военные, влюбленные и иностранцы, дети и взрослые, фронтовики, вынесшие на своих плечах бремя войны и христиане, пережившие ужасы гонения на Церковь — все они герои. Грустные и смешные, лирические и драматические, поучительные и остросюжетные рассказы нашего сборника — о непростых судьбах этих людей.

## Священник Ярослав Шипов. Коломенское

### Ракетчики

Поселились у нас газовики — большую трубу тянули. Народ они размашистый, лихой, то есть складу совсем не крестьянского, из-за чего поначалу возникали недоразумения. Скажем, захочет газовик вдруг развеяться, сядет за рычаги бульдозера или тягача и катит, куда глаза глядят. И не понять разудалой его головенке, для чего крестьяне столько заборов и прясел нагородили, да еще и стогов понаставили: вот он и давай крушить изгороди, сносить стога… Крестьянин же хотя этой романтики не понимает, но никакой отместки не делает — даже трубу не дырявит, но у газовиков начинаются нестроения: то с автоинспекцией, то с землеотводом под жилые вагончики, то с подключением к электросети, то с питьевой водой…

В конце концов, пришлые люди поняли необходимость добрососедства и притихли в своей резервации у шоссейки. Некоторое время еще их безудержность проявляла себя в динамитных рыбалках, но как только река опустела, наступило благоденственное успокоение.

В ту пору стал ко мне наведываться один из этих мятежников. Его авантюрный дух тщетно искал себе пищи — предприятия с не до конца предсказуемыми последствиями, а мне выпадала роль умиротворителя. И я не только не справился со своим поприщем, но и сам впал в жестокий соблазн. Конечно, не всякий день тебе предлагают ракету — самую настоящую, пятнадцати метров длиною, однако и такому искушению надобно уметь противостоять.

А дело складывалось вот как: приезжает однажды этот человек и рассказывает, что возвращался на вертолете после ремонта трубы — а он сварщик — и видел на земле ракету. Пилот будто бы определил, что ракета — метеорологическая и, похоже, до заданной высоты не добралась. К северу от нас есть место, с которого то и дело запускают ракеты, и народу случалось находить в лесу разные «алюминиевые железки», но чтобы целую штуковину — такого я еще не слыхал.

Обрисовал он тамошние угодья, прикинул расстояние, и я определил ему точку на карте: это были делянки на границе двух областей, вырубленные еще лет тридцать назад и заросшие густющим кустарником — место никчемное, гиблое. Когда-то мне довелось плутать там…

— Вот бы, — говорит, — эту ракетину привезти!

— На кой? — спрашиваю.

— У нее, может, ресурс не выработан, так ее еще и запустить можно.

— Куда?

Не отвечает. Замыслом поглощен.

— Работает она как сварочный аппарат: горючее, окислитель, газовая струя… Если в ней какой трубопровод засорился — автомобильным компрессором прокачаю. Но вот если чего с проводами — специалист нужен: там же, поди, проводов — тьма…

— Бери, — говорю, — нашего электрика.

Обрадовался, спрашивает, где найти.

— На столбе сидит где-нибудь.

Через полчаса привозит электрика.

День тот у меня выдался хозяйственным: баню топлю, стираю, белье развешиваю. А они сели за домом в затишке, развернули на столе карту и обсуждают планы. Сную туда-сюда по двору, слышу: с запуском проблемы возникли.

— К дереву, — говорю, — привяжите, а снизу костер — вот и все.

— Лучше уж тогда к столбу, — возражает электрик, — он гладкий, сучки не будут мешать.

— Правильнее всего — поместить в трубу, — заключает газовик, — и, как из ракетной шахты…

Сдается мне, что говорят они, не вполне шутя.

В следующий раз прохожу мимо «генерального штаба», а они насчет боеголовки кумекают: чтобы, значит, натолкать в ракету взрывчатых веществ и установить детонатор.

— А мы что, мужики, — спрашиваю, — войной на кого собираемся?

— Вообще-то нет, — отвечают, — но на всякий случай.

— Смотрите сами, конечно, но, думается, одной ракеты для серьезной битвы может и не хватить.

— Будем искать еще! — Гляжу, они настойчивые ребята. — Если найдем, эту подарим вам.

— За что же, — говорю, — такая напасть?

— Ее можно вдоль распилить — две лодки получатся.

— Лодка у меня есть.

— Ну, тогда — бак для душа.

— Есть — бочка из-под горючего.

— Можно просто емкость — собирать воду для полива картошки, грядок…

— Да, — говорю, — лягушек разводить — доброе дело.

Однако меня утешило, что они готовы были перековать мечи на орала.

Через несколько дней выпал первый снежок, и корсары приехали на большом грузовике.

— Надо спешить, пока снегу не понавалило да не засыпало.

Подождал я до полудня — треб никаких не было, и отправились. Ну и накатались мы в тот лень: ездили и по асфальту, и по стерне, и по проселкам, и по старым гатям, и даже по заброшенной узкоколейке… Форсировали ручьи, речки, болота… Нашли нужное место.

— Вот оно, — сказал газовик.

Ракеты не было.

Разгребли снег, электрик поднял несколько цветных проводков, и мы поняли, что кто-то уже успел побывать здесь. Но странно: автомобильных следов мы не обнаружили.

— Военные, на вертолете, — определил газовик.

И поползли мы обратно. В одном месте, возле ручья, обратил я внимание на малоразмерные следочки сапог.

— Бабы, — пояснил электрик, — за клюквой хаживали.

— Откуда тут клюква? — спрашиваю. — Тут и болот нет.

— Бабы, они такой народ, что клюкву, где хошь отыщут.

— А бабы-то здесь, откуда? — не понял газовик. — Мы километров шестьдесят отмахали — и никакого жилья.

— Это — вкругаля на машине, — электрик твердо держался своего, — а пешком до ближайшей деревни тут километров двенадцать…

— И что ж: здешние бабы в такую даль ходят за клюквой?

— Ну а коли, ближе нет? Бабы, они за клюквой хошь куда двинут, известно.

И вот вечером уже возвращаемся через соседнюю область — стоит на обочине грузовик, рядом шофер-парнишечка, машет рукою. Притормозили: поломался, просит отбуксировать до станции. Сволокли. А он уж так благодарен.

— Выручили, — говорит. — Утром вагон с металлоломом уходит, надо успеть сдать и хоть какие-то денежки получить для школы.

Оказалось, парнишечка этот — директор сельской школы, а заодно и завхоз, и шофер, и везет он на школьной машине лом цветного металла — алюминия…

— Ракета, — говорит, — у нас на делянке три года лежала. Ее уж мужики и дробью поиздырявили, и топорами побили. А тут объявление в газете: скупка металлолома. Чего, думаю, добру пропадать? Учеников собрал: пришли, раскурочили и по кусочку на себе унесли…

— А ты: «бабы», «клюква», — передразнил газовик.

— А что? — упирался электрик. — Бабы, они такой народ: клюкву, где хошь отыщут.

— Жаль, — говорю, — конечно, ребята, но не праздновать нам девятнадцатого ноября День артиллерии и ракетных войск.

— Ничего, еще что-нибудь придумаем, — пообещал газовик.

Я не усомнился.

## Александр

Познакомились мы с ним на празднике, случившемся из-за шестидесятилетия местного гармониста. Игрец этот был известен в области, а потому устроили большой праздник, на который приехали другие знаменитые виртуозы трехрядок и балалаек, а за ними — питерские документалисты, снимавшие значительное кино. Режиссера звали Александром, по причине молодости даже Сашей. Несмотря на праздничную суматоху, между нами быстро установились совершенно доверительные отношения.

Гулянье происходило на высоком берегу темноводной реки, неподалеку от братской могилы продотрядовцев, которые некогда с таким самозабвением увлеклись поисками зерна, что были заперты в каком-то амбаре и сожжены.

Гармонисты шпарили и наяривали, певуньи взвизгивали, плясуньи притоптывали. День был солнечный, теплый: для съемок — милейшее дело…

— Что же мы за страшный народ такой? — сказал режиссер, глядя на обелиск. — Свои своих пытались ограбить… но свои сожгли своих заживо… А потом другие свои этих своих, наверное, казнили, а третьи свои казнили других своих… Жуть какая-то… Ну почему же это мы все время против своих?..

Патриотически настроенные личности проходят обыкновенно два этапа развития: этап восторгов и этап разочарований. Сначала — святая Русь, золотые купола, великое предназначение; потом — вся эта святость уже позади, в прошлом, а народ наш попросту мерзок. И тут патриот-безбожник непременно впадает в уныние, но по православному рассуждению, чем более пакостности в твоем народе, тем решительнее надо отдавать ему свою жизнь. Потому, как и Христос пришел, чтобы спасать грешников, а не праведников.

Обо всем этом мы говорили с Александром вечером того же дня в моем домике. Я зазывал в гости всю группу, однако слияние кинематографической напористости с непоколебимостью гармонистов надолго вывело тех и других из творческого процесса. Покинуть наше село группа смогла лишь через сутки.

Вышел фильм — в газетах хвалили, но до деревни нашей он, разумеется, не дошел. Потом еще я узнал, что Александр купил дом в соседнем районе, собирается приехать на отдых и обещает навестить меня. Наконец кто-то из знакомых сообщил, что он в Москве и приглашает на просмотр фильма.

У меня было всего два дня, я поехал, но мы не встретились.

…Приехал я третьего октября, а четвертого, когда он пытался отснять какие-то исторические кадры, снайпер убил его выстрелом в затылок.

## Поминки

Схоронили молодого парнишку — перевернулся на тракторе: пьян был, понятное дело.

Сидим за столом, поминаем: безутешные родители, двое братьев, соседи, знакомые. Как водится, со всех сторон самые разные разговоры, а о покойном вспоминают, когда наступает пора в очередной раз выпить.

У меня за три дня — четвертые похороны, домой попасть не могу. Сначала отпевал механика лесопункта. Своего кладбища у них нет, так что повезли мужичка в его родную деревню — километров за восемьдесят. Только отъехали — в лесу поперек дороги машина: «Нам батюшку!» Тоже отпевать, и тоже добираться километров восемьдесят, но — в другую сторону. Договариваемся, что вечером они меня перехватят на обратном пути с погоста и отвезут к себе, а хоронить будем завтра. Однако к назначенному месту я попал не вечером, а поздно ночью, потому что с деревенского кладбища срочно увезли в районный центр — и опять погребение… Там же я узнал, что попавший в аварию тракторист — младший брат нашего следователя — умер в больнице и что меня вернут сюда сразу после третьих похорон. Да еще, пока на первых похоронах народ с механиком прощался, окрестил его сына, освятил дом. И сегодня, здесь уже, после отпевания тракториста окрестил тяжко болящего младенца…

Спал я эти ночи кое-как — по чужим углам, под рыданья и прощальные хлопоты, устал, но напряжение не отпускает: сижу за столом, машинально слушаю разговоры, а сам жду, что вот-вот откроется дверь и кто-то скажет: «Батюшка, отпеть бы надобно!»

А следователь, перегнувшись через стол, увлеченно рассказывает мне о загадочных явлениях, происходящих с ним:

— Вот залегли, ждем, когда бандит выйдет из леса, и вдруг я вижу его, но малюсенького-малюсенького: он ко мне на ладошку заскочил и по ладошке прыгает…

Молодой хирург, пытавшийся спасти переломанного тракториста, спрашивает следователя:

— Тебе сколько до пенсии?

— Полтора года еще, а чего?

— Хочется на заслуженный отдых?

— Конечно.

— Зайди завтра к нашему психиатру — вот тебе и вторая группа.

— Не, я серьезно, — не унимается следователь. — Из-за меня опаснейшего бандита и упустили, а он теперь депутатом стал, теперь уж его никак не возьмешь… И много раз уже было: пригляжусь, а людишки — на ладони помещаются. Что это за таинственное явление?..

— Шизофрения, — доходчиво объясняет хирург.

— Как вы считаете, батюшка, — спрашивает самый младший из братьев, тоже тракторист и тоже, похоже, пьяница, — можно ли его держать на такой должности?..

Тут вдруг отец покойного начинает вспоминать, как прошлой весной в этой же деревне хоронили лесничего, угоревшего на печи: ручей тогда сильно разлился, мост оказался под водой, и грузовик, перевозивший лесничего, заглох на мосту. Гроб всплыл и плавал в кузове, пока не подогнали трактор и не подцепили машину на буксир. Я был там в тот день: помню, как мужикам долго не удавалось подогнать лодку точно к машине, чтобы накинуть буксирный трос: мужики были пьяны, то и дело промахивались, один из них даже вывалился из лодки, но,

по счастью, сумел вскарабкаться на капот — только тогда им удалось завершить дело. Лесничий угорел тоже, конечно, спьяну и долго пролежал на горячей печи…

— А чернехонек стал! — изумленно восклицает хозяин дома. — Его, паря, и открывать не стали. Но я зашел… по-соседски… и все, паря, видел: чернехонек — натурально негр!.. Сперва нажрался, значит, потом нажарился, а под конец еще и поплыл — ну, паря, веселые похороны были! — он почти кричит, чтобы его слышно было сквозь все прочие разговоры.

— Бы-ы-ва-ли дни ве-э-се-э-лы-е, — в соседней комнате кто-то нашел гармошку. Женщины урезонивают его, и он затихает.

Мужики, копавшие могилу, начинают спорить, насколько нынче промерзла земля: семьдесят сантиметров или всего шестьдесят пришлось им вырезать бензопилами, прежде чем взять лопаты.

— Товарищ поп! — это, наверняка, ветеран колхозного строительства. — Вас просят местные гражданочки…

На крыльце бабушки — исповедоваться. Облачаюсь, читаю молитвы… Из дома вылетают двое рассорившихся копалей и начинают крушить друг друга. Мы с бабками разнимаем их, разводим — одного на улицу, другого — обратно в избу, а сами возвращаемся к своему таинственному занятию…

Мне пора ехать, но я не нахожу ни одного человека, который был бы в состоянии отвезти меня. Женщины отправляются искать по деревне трезвого шофера, и в это время к избе подкатывает почтовый фургон: «Батюшка, отпеть бы надобно!» В сельце, километров за сорок, умер начальник почты, завтра похороны, не соглашусь ли я? Как не согласиться: мы отказываться не вправе. Только чтобы к вечеру обязательно привезли домой: послезавтра богослужение…

По дороге водитель то и дело нервно вздыхает и наконец, решительно спрашивает меня:

— Отчего на наше село нынче такая напасть — каждую неделю кто-нибудь да умирает, и в основном — мужики? Полсела, почитай, — одни вдовы с ребятишками и остались… Старухи говорят: прямо как в сорок пятом… Может, нам — того… «сделано»?..

Так теперь спрашивают меня в каждой деревне…

## Райские хутора

Раньше там была обычная жизнь, а потом она рухнула, и даже название места забылось: хутора да хутора. На самом деле не хутора, а целый куст деревень — среди полей и лугов, с бегущей понизу речкой. Существовала там бригада, занимавшаяся откормом телят, ползали трактора, детишки ходили в школу. Потом коллективного хозяйства не стало, телята сгинули, школа закрылась, и народ стал разбегаться. А когда по весне ручей разметал бревенчатый мост, хутора и вовсе оказались на положении острова: зимой дорогу к ним изредка пробивали бульдозером, летом — никакая техника пройти не могла.

В первый раз я попал туда осенью — позвали на требы. Исповедовал, причащал, отслужил панихидку. Заброшенность угодий и малочисленность населения, рассеянного по весьма обширным пространствам, наводили тоску. При этом хутора таили в себе столь добрую привлекательность, что вскоре я снова посетил их. А потом — еще и еще. С течением времени они все более становились похожими на самоцвет, пусть и не драгоценный, но редкостный — точно. Однако вернемся к первому путешествию.

Автобус затормозил прямо в лесу, хотя остановки здесь не было.

— Вас встречают, — сказал шофер, — кавалерист и сторожевая собака.

Там, где среди деревьев едва угадывалась лесная дорога, меня ждал старик на безжизненной лошади. Рядом крутилась рыжая собачонка. Этой компанией мы и отправились в путь: пройти надо было километра четыре.

Дед рассказал, что сильно болеет ногами: по деревне еще передвигается самостоятельно, а в дальние походы — только верхом. Мы поговорили о здоровье, об урожае клюквы и белых грибов, и вдруг собачка, семенившая перед нами, с визгливым лаем бросилась догонять какого-то зверя. Путь наш проходил через редколесье, и мы увидели, как зверек взлетел на вершину гнилой березы. «Куница, — определил старик. — Пойдет сейчас по верху, и собака отстанет». Но даже самые правильные предсказания иногда не сбываются: трухлявое дерево подломилось и, увлекая за собой зверька, грохнулось оземь. Я сходил к месту диковинной катастрофы и принес добычу. Куница была жива, но совсем без чувств по причине контузии. Оставлять ее в таком беспомощном виде на произвол судьбы не хотелось, и дальше она поехала в притороченном к седлу пластиковом пакете. Придя в сознание, выбралась из пакета и убежала.

Интересно, что при каждом визите на хутора случались забавные встречи с лесными животными. То зайцы чуть с ног не сбили, то горностай разыгрался прямо на тропе, а однажды довелось переговорить с барсуком. Шел как-то по весенней хляби — ветер в лицо, дождь сеет, — а впереди — барсук: сидит спиною ко мне и что-то в луже полощет. Может, лягушку поймал, а может, лягушачью икру таскает. Из-за дождя и ветра он не расслышал меня. Стал я над ним и спокойным голосом говорю: «Барсук!» Он подпрыгнул на всех четырех лапах, развернулся в воздухе и шлепнулся у моих ног. Шерсть дыбом, зубами стрекочет… Не поднимая головы, посмотрел за один сапог — никого, за другой — тоже никого. Успокоился — и опять в лужу. Я подождал немного и еще: «Барсу-ук!» И снова он взлетел, как на пружинах. Развернулся, шлепнулся. Страшно пострекотал зубами, повыглядывал за сапоги и, не обнаружив опасности, вернулся к важному своему занятию. Мне надобно идти дальше, а он — крупный зверь — дорогу перегораживает. Я уж тогда погромче: «Ну ты что, барсук!» Не сходя с места, он глянул на меня через плечо и бросился в глубь леса.

Старуха, с которой дед и прожил свою долгую жизнь, была дочерью диакона и сохраняла наследственный интерес к богословию. Обилие диких зверей радовало ее. «У нас — как в раю, — утверждала она, — где все живут мирно и друг друга не обижают». Я подозревал, что это — свободное толкование слов пророка Исаии, о временах, когда «волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком,- и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». Образ этого светлого дня некогда запечатлелся в ее детской головке. Еще она объясняла, что переход хуторов к райской жизни начался сразу после отъезда мужиков: «Ни водочного, ни табачного духа не слышно у нас, оттого благодать и произрастает». Я спрашивал насчет кабанов и волков, мол, насколько они благодатны. Выяснилось, что кабаны по осени картошку тревожат, а потом исчезают неизвестно куда. Волки тоже бывают лишь мимоходом: «Раньше, когда телятник был, случалось, разбойничали, а теперь скотины нет, так что они вежливо зайдут разочек-другой, поприветствуют. Словом — рай!»

Однажды собачка притащила домой двух зайчат и давай их вылизывать. Сама она щениться уже  не могла, а понянчить маленьких очень хотелось. У бабки коза была, козьим молоком зайчат выкормили. Они так и остались зимовать. Надо отметить, что изба у стариков была доисторическая и преогромных размеров: десять на двадцать пять да о двух ярусах, то есть

пять сотен квадратных метров. Зайцы носились по стенам сеновала, взлетая под самую крышу, выбегали в огород, гуляли вокруг избы, но возвращались. Один ушел в начале весны, а другой — летом, да потом еще несколько раз захаживал в гости. Собачка узнавала его и радовалась.

А в старых досках, сваленных у забора, жили ящерицы. Как только доски освобождались от снега и подсыхали, ящерицы выползали погреться на солнышке. Двигались они еле-еле. Старик угощал их теплым сладким чаем из ложечки: им очень нравилось.

И вот настал день, когда старухе пришлось защищать этот рай с оружием в руках, доблестно.

Пошла она как-то на реку — полоскать белье. Вскоре возвращается: глаза победно сверкают. «Я, — говорит, — врага одолела. Он только высунулся из воды, я его — коромыслом по лбу». Белье она на коромысле носила, как в старые времена. Дед спросил, как выглядел супостат, и засомневался: мол, не такого вида они.

— А ты почем знаешь?

— Но ведь раньше-то, когда пил, они ко мне частенько захаживали, а твой, больше смахивает на бобра.

Спустились к мосткам — действительно, бобр кверху пузом. Старик обличил ее в преступлении против закона и против благодати, сунул бобра в пододеяльник — белье ведь под рукой было — и отнес в хлев. Потом они с бабкой размышляли, как поступить с убитым зверем и что вообще может произойти от такой неприятности. Бобр тем временем очнулся и убежал. «В точности как с моей куницей», — изумился дед. Стало быть, благодать и на сей раз восторжествовала.

Когда я уходил из деревни, старики провожали меня до калитки и долго смотрели вслед — обернусь, а они все стоят и прощально машут руками.

Много лет уже не бывал я в тех далеких краях, но и сейчас перед моими глазами двое русских крестьян, удостоившихся райской жизни.

## Коровы

Старая женщина рассуждала как-то о грехе зависти: в детстве, мол, завидовала девчонкам, у которых косы были длиннее, в юности — девушкам, которые остригли косы, далее — подругам, которые более удачно вышли замуж, потом — всем женщинам, которые еще не овдовели, а теперь наконец — собственному мужу, благополучно не дотянувшему до безрадостных нынешних дней…

Участь колхозной коровы хороша только тем, что никого не введет в грех зависти.

Еду на велосипеде мимо скотного двора, а там — коровы столпились у изгороди и ревут. Останавливаюсь, подхожу, глядь — на столбе длинный электрик.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Да одна никак не растелится — она там, в середке лежит, а остальные, вишь, переволновались.

— Может, съездить за ветеринаром?

— В городе.

— А зоотехник?

— У нее серебряная свадьба — гуляет… Доярки придут — разберутся: или роды примут, или мясо поделят… Коровам в колхозе — не жизнь: лучше вообще не рождаться, — заключает он со столбовой высоты. — Вместо быка — осеменатор!.. Слово-то какое! Дикое!.. Тьфу… Да и пастух поленом кидается. Может, он этой корове по брюху попал… При быке — посмотрел бы я па него. Помните, в соседнем районе?..

Действительно, был случай: пастух сильно издевался над скотиною, и бугай затоптал его.

Электрик прав, при быке коровам было куда вольготнее: знай себе травку жуют или отдыхают, и никаких тревог — за спокойствие и безопасность есть, кому отвечать.

— Да и через речку переходить…

И снова прав длинный электрик: бык пройдет — и все стадо за ним, даже колен не замочат… А теперь — столпятся на берегу: ревут, ревут, потом сунутся в воду, разбредутся, попроваливаются в ямы, каких ни один рыбак отродясь не знавал, и, вдоволь наплававшись, вылезают с обезумевшими глазами. Некоторым это дело до того разонравилось, что они перестали возвращаться и подались в леса. Помню, встретил возле клюквенного болота «партизанку» с малым теленочком, позвал домой, а она отказывается. Припугнул ее волками да медведями, а потом думаю: может, для нее смерть от диких зверей куда слаще жизни? Экая, она чистенькая стала — вся эта грязевая короста, отличающая общественную корову от частнособственнической, с боков сошла, да и теленочек — гладенький, аж лоснится. Недолго длилось отдохновение: волки действительно прибрали их…

— Да и вообще: с быком куда спокойнее — и на пастбище, и на дворе — и молока больше давали…

Как-то ночью случилась буря — с некоторых домов листы шифера посрывало. Перепуганное стадо бросилось со скотного двора прочь и остановилось перед моим домом — нигде свет не горел, а у меня маленько окошки светились. И вот, стоят и ревут от ужаса. Вышел я на крыльцо, включил уличную электролампу: коровы сразу же попримолкли. Потом огляделись, сориентировались в пространстве и побрели к своему жилищу. Зорька с Муравушкой, правда, переломали ноги, и наутро их каторга была завершена…

— Да-а, жизнь у них нынче такая, что коли могли б удавиться, все и передавились бы…

— Ты, — говорю, — вообше-то чего там сидишь?

— Фаза потерялась.

— Нашел?

— Пока не нашел. Но к вечерней дойке надо найти: вручную никто доить не будет…

А через несколько дней после этого разговора — новая беда: тяжелый грузовик врезался в стадо и разметал двадцать шесть животин. Я ехал на требы по залитому кровью шоссе, а на обочине разделывали говядину. Колхоз потребовал сатисфакции, поскольку водитель был не совсем трезв и явно превысил скорость; автобаза возразила, что и пастухи были пьяны — упустили стадо на трассу… Словом, до суда дело не дошло, и вину списали на незадачливых коровенок.

…Во время очередной встречи электрик обратился с вершины столба:

— Благословите слово сказать.

— Как же не благословить? Тебе ведь отгула многое видно.

Вот вы жалеете скотину общего пользования, да?.. А тут и частной досталось! Газовики ездили на рыбалку… со взрывчаткой. Деревня глухая там… Бабка попросила бычка забить — сошлись на двух литрах. Ну, мужики выпили, привязали головую шашку между рог, жахнули… Ни бычка, ни сарая и по всей деревне — ни одного целого окна… Не вру-ей-ей: об этом и в газете писали, только не сообщалось, кто начудил — смылись они… Так что: общественное хозяйство или частное — это, конечно, важно, но главное — люди. Вы ведь сами говорили, что скотина дана человеку под его ответственность, правильно?..

— Может, и говорил… А ты вообще чего там сидишь: фаза?..

— Да, опять куда-то пропала.

— К вечерней дойке?..

— Отыщется, непременно!

## Иордань

Крещение. Служу молебен на реке. Над прорубью — иорданью. День пасмурный, легкая метель. Тропа, спускающаяся от церкви, забита народом: женщины в ярких платках, детишки. Все с бидонами, ведрами. Гляжу, на самом верху появились двое мужичков с огромной молочной флягой — последние в очереди.

Старушенции, толкущиеся на ближних подступах, осторожно сбиваются к иордани:

— По те года после молебна всегда солнышко сказывалось.

— Ноне уж больно туча страшна!

— Даром, что страшна: и седни посветит.

— Отойдите, — говорю, — лед тонкий.

Не слушаются. Погружаю в иордань крест, и народ замолкает.

— Батюшка, батюшка, — шепчут старухи.

Поднимаю голову — посреди тучи солнце… Потом начинается галдеж, давка, как в магазине.

— Поодинке подходите, без толкотни: всем хватит, — успокаивают они друг дружку и, толкаясь, лезут к проруби.

Когда запираю церковь, народа уже не видать — все понабрали святой водицы и разбрелись. А мужички еще раньше исчезли.

Ночью приезжает какая-то заполошная тетка:

— Я — из леспромхоза. Мы сегодня мужиков к вам направили, пятидесятилитровую флягу

дали, они вернулись пьянехонькие, говорят: воды не хватило, батюшка остатки с собой унес…

— Это как, — спрашиваю, — «не хватило»? Река-то, наверное, бежит?

— А им — не хватило. Водки — хватило, а воды — нет.

— Так набрала бы сама.

— Я и набрала — для всего поселка, а мать просила с иордани, с под креста. Мать у меня ветхая, старые времена помнит… Не откажите — машину второй раз за тридцать километров гоняли…

Пришлось поделиться.

— Интересные, — говорю, — у вас мужики: «воды не хватило».

— Что уж тут интересного: бутылка вместо иконы — и все.

## Лесная пустынь

Местность, в которой я когда-то служил, сильно пострадала от злодеяний, ниспосылавшихся русской деревне. К примеру, целый сельсовет со всеми населенными пунктами был опустошен ради некоего укрупнения, и обширные земли его в конце концов заросли непроходимым лесом. Конечно, годные срубы были своевременно увезены, но старья оставалось немало, и почерневшие хоромы, оседая и заваливаясь, медленно умирали.

Сохранился в селе и храм. Каменный, сильно поврежденный. Последний его настоятель был расстрелян и теперь молился о нас в сонме новомучеников российских. Храмом этим заинтересовался известный монастырь: искали место для уединения — для скита то есть. Вот мне и выпало сопровождать пожилого иеромонаха, присланного провести исследование. Договорились с леспромхозом: две бутылки — тому, четыре — этому, — и получили в свое полное распоряжение вездеходный «Урал». Дело было весной, но поздней: снег сошел, и даже в лесу зеленела первая травка.

Тяжелый грузовик медленно полз по давно не езженой дороге, зараставшей кустарником. Временами путь преграждали стволы упавших деревьев, и тогда мы останавливались, шофер вытаскивал из кузова бензопилу, чтобы расчистить проход и ползти дальше. К полудню, когда преодолели километров десять-двенадцать и, значит, еще столько же оставалось, случилась поломка. В наших условиях совершенно непоправимая. Шоферу надо было возвращаться за необходимой запчастью, а мы были определены в крепкую избушку, вроде охотничьей, сложенную, однако, не охотниками, а пастухами: вдоль лесного ручья некогда простилались замечательные луговины. Кое-какие продукты у нас имелись, водитель оставил пакет, который ему собрала жена, и мы взялись обихаживать новое пристанище, понимая, что вылазка наша сегодняшним днем не ограничится и ночевать придется именно здесь.

К счастью, печка была вполне исправна, а в сенцах сохранились сухие дрова. Нары, правда, были ничем не покрыты, но мы с батюшкой сошлись на том, что твердое ложе целительно для здоровья. Подмели, проветрили, растопили печь, поставили на нее закопченный чайник, принесли брусничного листа для заварки, разложили на столике перед оконцем еду, помолились и приступили к трапезе.

До чего же вольно, до чего хорошо нам было! Никуда не надо спешить, никаких сроков перед нами — времени словно и вообще нет. А уютно — как бывает лишь детям «<в домике», где-

нибудь под столом.

Поразмыслив, придумали обустройство постелей: наломали тонких еловых веточек и взбили такие перины, что о целительности голых досок пришлось забыть. Потом пошли прогуляться.

Был прекрасный весенний вечер — тихий, теплый, искрилась мелкая, не кусачая мошкара, тянули вальдшнепы. Я рассказал отцу Дионисию — так звали иеромонаха — об этих куличках, о тяге, и он, человек городской, даже, пожалуй, сугубо городской, слушал с искренним изумлением. Попалось сыроватое, грязное место с отпечатком медвежьих лап. Я попросил батюшку не наступать на звериный след, а пройти рядом.

— Это что — языческая примета? — спросил он.

— Да какое уж тут язычество, — говорю, — просто в следующий раз придет и, глядишь, нашу деликатность оценит. А если затопчем его следы, может понять как вызов. Он тут, наверное, за хозяина. Вот, смотрите! — Я показал задиры, сделанные на стволе огромнейшей ели.

Отец Дионисий не понимал.

— Встал, — говорю, — на задние лапы и ободрал дерево, чтобы все видели, какой он большой.

— Так это он до такой высоты дотянулся?

— Ну да, — говорю.

И мой напарник запросился домой.

В избушке было тепло. Помолившись, мы легли на веточки и быстро уснули. Среди ночи нас разбудил мощный медвежий рев.

— Как паровоз, — сказал отец Дионисий, — и, по-моему, паровоз этот приближается… Он избушку-то не сломает?

— Не должен.

— Что же он так ревет?

— Обнаружил наше присутствие и дает понять, кто здесь самый главный.

— А теперь ворчит.

— Это по-стариковски, по-доброму.

— Вы меня все успокаиваете и успокаиваете, а я, знаете, не достиг высот преподобного Сергия или преподобного Серафима, чтобы запросто общаться с медведем. — И начал шептать молитву.

Я, конечно, тоже ничего не достиг и потому сожалел, что мы не захватили с собой ни фонаря, ни свечки: если бы окошко излучало свет, было бы куда безопаснее. Судя по следам, зверь был непомерный какой-то и при желании мог, конечно, раскатать старенькую избушку. Оставалось надеяться лишь на его рассудительность да на молитвы иеромонаха.

Мишка ушел, но заснуть мы уже не могли, — переговаривались. Отец Дионисий рассказал, что в монастыре недавно — лет пять, а прежде работал редактором, причем в нотном издательстве.

Я никогда не встречал нотных редакторов и потому стал с интересом расспрашивать его. Он же, явно обрадованный тем, что погибельная напасть миновала, говорил охотно и весьма живо.

— Как же, — спрашиваю, — редактировать музыкальные тексты? Сверять с какими-то эталонными образцами, как при переиздании литературной классики?

— Не обязательно, — отвечает отец Дионисий, — я ведь, когда гляжу в ноты, слышу их и, если возникнет какое-то несоответствие, исправлю. Классика невероятно гармонична, она — от Бога. А, кроме того, я ведь окончил консерваторию — пианист, много играл, много слушал… Исполнительская карьера не сложилась, стал вот редактором. Но основные фортепианные тексты знаю до мелочей: скажем, некоторые бетховенские сонаты могу на бумаге воспроизвести по памяти. Не говоря уж о шопеновских вальсах или мазурках. Конечно, иногда что-то вызывает сомнение, приходится уточнять, но не часто.

— А двадцатый век?

— Первая половина — потруднее, там еще только все разваливалось, все перемешано — приходится сверять, а потом гармония совершенно исчезла и пошли диссонансы — чем страшнее, тем лучше, редактор может пропустить любую чушь — автор все равно не заметит. Большинство произведений и исполнялись-то по одному разу. Знаете, в нашей музыке конца двадцатого века есть несколько ритуальных имен. Их, как пароль, то и дело повторяют те, кто ненавидит гармонию, те, кто по определению Господню, не может принести доброго плода. Попросите их напеть хотя бы три мелодии из сочинений ритуальной кучки, и они сразу умолкнут. Мне в прежней жизни не раз доводилось завершать такие дискуссии предложением: вы мне — три мелодии восхваляемого сочинителя, а я в ответ — тридцать мелодий Чайковского, или Верди, или Бетховена, Шопена, Шумана, Баха… Сразу начинается: это совершенно иная музыка, концептуальная… Она действительно концептуальная — в плане идеологическом или даже духовном: гармония — от Бога, а разрушение гармонии — от… сами знаете от кого. Вот, собственно, и вся «концептуальность».

Он помолчал, а потом осторожно спросил:

— А медведь больше не придет?

— Не должен.

— Да кому он вообще чего должен? — И мы рассмеялись.

— Куда все исчезло? — вздохнул отец Дионисий.

— Что — все?

— Да все… Когда я учился, мы ходили на Рихтера, добывали записи Каллас, ездили в Ленинград на Мравинского… Их давно уже нет, но все, что появлялось потом, даже для сравнения с ними непригодно… Впрочем, давайте спать, а то скоро, наверное, шофер явится.

Утром шофер не появился. Мы доели остатки хлеба и ждем: он, между прочим, должен был принести провизии на весь день. Потом насобирали сморчков и сварили их в котелке — получился обед. Пошли гулять: обнаружили развороченный муравейник, и я рассказал отцу Дионисию о пристрастии медведя к муравьям. Батюшке понравилось, что маленькие муравьи, защищаясь, могут укусить огромного зверя прямо в нос, и он воскликнул: «Молодцы!» Воскликнул, наверное, слишком громко, потому что медведь, почивавший на другой стороне ручья, проснулся и, круша деревья, бросился прочь. Там было много гниловатых берез, и они

разлетались с треском, словно от взрыва.

— Что это? — растерянно спросил отец Дионисий.

— Испугался. — Я поведал ему о пугливости могучего зверя и предложил перейти ручей, чтобы взглянуть на свидетельство медвежьих испугов. Он отказался.

Других приключений в этот день не случилось, вот только отсутствие шофера вызывало недоумение. Ужинали пустым брусничным чаем.

Ночью снова раздался медвежий рев, но на сей раз «паровоз« удалялся и удалялся от нас, пока не затих совсем.

— Куда это он? — спросил батюшка. — Неужели мы его так напугали?

— Не похоже.

— А обидеться он не мог?

— Не должен. — И мы опять рассмеялись.

Утром пришел шофер. Повинился, что опоздал на сутки — искал запчасть по всему району. Дал нам еды, починил машину, и мы тронулись дальше. Когда пришлось пилить очередное поваленное дерево, обнаружились следы двух медведей: огромные — нашего и поменьше — какого-то незнакомого, чужого. Стало быть, прогонял чужака.

— Тогда ладно, — успокоился отец Дионисий, — а то я уж думал, что мы его чем-то обидели.

— Бо-ольшой, — покачал головой шофер, — но прежде здесь обитал вообще безразмерный. Охотники зимой заходят в избушку, а он — там, спит. Вместо берлоги.

— И что? — взволновался батюшка.

— Что «что»? Подстрелили… Вторая шкура в стране…

— А первая где?

— Первая… где-то… не помню.

Отец Дионисий растерянно посмотрел на меня, и я, скрывая улыбку, отвернулся.

К полудню добрались. Осмотрели храм — довольно обычную постройку конца девятнадцатого века. Стены внутри были закопченными, как после пожара.

— Отчего это? — спросил отец Дионисий, не выпускавший из рук фотоаппарата.

— Да тут году, наверное, в семидесятом художник с писателем ездили — иконы собирали. Тогда почему-то и загорелось.

Обратный путь пролетели быстро и без приключений. От бани иеромонах отказался, мол, и так два дня потерял — некогда. Я спросил его о впечатлении.

— Храм-то легко восстановить. Жаль, конечно, что все кругом заросло и ни одного строения не осталось — даже переночевать негде. Пусть начальство решает: настоятель наш — дальний

родственник этого священномученика, внучатый племянник, что ли. Но вообще поездка была замечательная, особенно — жизнь в избушке. Настоящая пустынька, я бы и поселился в ней.

— А как же, — спрашиваю, — медведь? Вдруг завалится вместо берлоги?

— Не должен, — смеется отец Дионисий, и мы прощаемся.

## Новая Москва

Зимой приезжаю по делам в столицу, ищу знакомого батюшку, а он в этот день требничает на погосте: его приход опекает одно отдаленное кладбище, и священники поочередно ездят дежурить. Там есть даже «ритуальный павильон», где можно совершить отпевание, но в большинстве случаев покойных привозят уже после отпевания, и священнику остается лишь лития — краткое заупокойное богослужение. Люди воцерковленные, впрочем, заказывают и панихиды — богослужения более продолжительные, но для народа безрелигиозного и пятиминутная лития — тягота невыносимая, потому что невтерпеж выпить.

С приятелем мы встречаемся только к полудню — в самое напряженное время: катафалки подъезжают один за другим. Разумеется, священник нужен не всем, но, тем не менее, мы едва успеваем от могилы к могиле.

— Тунеядец! — ругается он, когда я отстаю на заснеженных аллеях. — Привык в деревне к спокойной жизни…

Я начинаю оправдываться, говоря, что и у меня вся духовная деятельность свелась к непрестанным похоронам, причем теперь уже не только отпеваю, — недавно в одной деревеньке пришлось даже могилу копать: последнего мужика хоронили…

— Все равно тунеядец! — решительно повторяет он, останавливаясь, чтобы дождаться меня. — У тебя народ мрет?..

— Конечно, — отвечаю я, не вполне понимая смысл вопроса, — мрет, да еще как!

— Это правильно… От этой правильности ты и обленился… А здесь все неправильно — здесь народ гибнет… В иные дни, случается, одних убиенных и хороним… Сегодня вот: первым с утра был мальчишка. Убили его какие-то частные охранники. Один утверждал, что сможет ударом руки расколоть череп, другой спорил, что это можно сделать только ногой… Тут как раз ребятишки из школы шли: и маленькие, и постарше… В общем, тот, который… рукой — убил, но череп не раскололся, а второй — ногой расколоть сумел… Ребятишки разбежались, а эти… ушли себе, и — с концами… Потом старика хоронил — придушили за пенсию… Наркоманы, наверное… Такая теперь, брат, жизнь здесь пошла, что словами не перескажешь — видеть надо. Ты сейчас и увидишь…

Мы встретили очередную процессию и с пением «Святый Боже» пошли впереди нее. Мелкий мужичок, бегавший взад-вперед по сторонам колонны, оказывался иногда рядом с нами и успевал бросить на ходу несколько слов. Выходило, что хороним руководителя крупного автокомбината. «Организация бюджетная, денег нет», — заговорщицки сообщил мужичок и исчез. Так же заговорщицки, шепотом, я спросил приятеля, кто это.

— Распорядитель.

— Распорядитель чего?

— Похорон.

— А что он все время бегает?

— Распоряжается, наверное.

«Начальство потребовало, чтобы он поделился», — и снова мы теряли его из виду и продолжали: «Святый Крепкий». «А он сказал, что не может грабить шоферов, за это его и грохнули»… «Святый Бессмертный, помилуй нас», — допевали мы. «А похороны-то эти сами заказчики и устроили — на всю катушку!»

— Так он — распорядитель этот — их человек или ваш, кладбищенский?

— Их, конечно.

— И так здорово шустрит.

— Из бывших общественных работников, наверное…

Я понял, что это — в точности как у меня: там тоже бывшие парторги — главные закоперщики на похоронах: и вокруг машины с гробом полосу на земле топором нарисуют, и когда в могилу монеты бросать, скомандуют…

— А это еще зачем? — полюбопытствовал приятель.

— Монеты — чтоб, значит, «землю выкупить», а вот насчет топора — даже и не помню: кажется, чтобы смерть от живых отгородить…

— Бред какой-то…

— А ты говоришь: «тунеядец»… Подбежит такой вот «оргмассовый сектор» с топором: «Товарищ поп! Как там, в соответствии с церковными постановлениями: машину обводить по часовой стрелке или против?» И можешь кол ему на голове тесать, но хоть тайком, а процарапает — после чего, стало быть, никто уже никогда помереть не должен… А с монетами: «Не беспокойтесь, — говорю, — не надо ничего выкупать: в земле места всем хватит». Но только отвернешься — как начнут швырять пригоршнями… «Что ж вы, — говоришь, — делаете? Да если бы на эти деньги купить лекарство, человека, глядишь, сегодня и хоронить бы не пришлось!»

— Сумасшедший дом…

Наконец дошли до места. Когда толпа провожавших окружила нас, заняв все свободное пространство на ближайших аллеях и между памятниками, какой-то протокольного вида человек, определенно имевший навык выступать на митингах и собраниях, стал возле гроба, снял шапку и начал прощальное слово.

Он проникновенно вешал о новой жизни, которая дала дорогу таким, как покойный, о новой Москве, для которой покойный, как и все, собравшиеся здесь, не жалел сил, и о том, как это не понравилось «некоторым из прежних»…

— Заказчик, — почти не раскрывая рта, пробормотал распорядитель, снова оказавшийся рядом с нами.

— Похорон или… — тем же манером спросил приятель.

— И того и другого. Как только он закончит, — начинайте: гражданская панихида была на работе, — и исчез.

Когда проникновенная речь приблизилась к логическому завершению, я приподнял кадило, чтобы положить ладан, и в этот момент, как по команде, раздался трубный звук неимоверной силы: еще через мгновение с веток деревьев хлопьями посыпался снег, и стало ясно, что играют Шопена — оркестр замерзал где-то впереди: в березняке, между могилами…

Чей-то знакомый голос, долетавший из-за спины, воссиливался перекричать буйство луженых труб, и хотя, казалось бы, шансы были никак не равны, настойчивый вопль своего добился: инструменты стали поочередно смолкать. Но поскольку происходило это не по команде, а по наитию, то от ощущения оркестрантами непонятности происходящего умолкание превратилось в продолжительное действо: сначала исчезла всякая мелюзга, вроде флейт, потом затихли кларнеты с фаготами, наконец, умолкла самая большая труба. В наступившей тишине, когда слышны стали даже судорожные хрипы запыхавшегося распорядителя, который стоял на столике возле чьей-то могилы, ударил вдруг барабан…

И напрасно. Потому что распорядитель на пределе возможностей человеческого голоса высказал барабанщику несколько замечаний, касающихся и его самого, и барабана. Тут какой-то офицер, стоявший неподалеку от нас, приподнялся на носках и махнул рукой: хватит орать, мол… И тогда за нашими спинами грянул винтовочный выстрел. Все инстинктивно пригнулись.

— Не достреляли, что ли? — спросил я приятеля.

— Может, и не достреляли, — спокойно сказал он, осматриваясь. — Но вообще-то там стоит почетный караул… Только почему — одиночный выстрел, они же должны залпом?..

— Покойник что — был военным? — не понял я.

— Да он и в армии никогда не служил, — шепнул возникший распорядитель, — я ж говорю: на всю катушку похороны заказали: с оркестром, священником, караулом…

— А что за выстрел? — поинтересовался приятель.

— Да солдатик один — новобранец, перепутал: вояка какой-то рукой замахал, он и шарахнул… Начинайте, отцы… Только, по возможности, рук не подымайте… И какой придурок скомандовал оркестрантам?..

Кадило я раздувал, не поднимая руки, согнувшись.

Когда все должное совершилось, кладбищенские рабочие, лазая на манер альпинистов, воздвигли из венков рукотворную гору, укрывшую последние приюты доброго десятка наших сограждан. И тут вся березовая округа превратилась в кафе: столики у близлежащих и отдаленных могил были накрыты с впечатляющей щедростью.

— Теперь бы смыться, — сказал приятель, — а то от ледяной водки голос подсесть может, а мне еще завтра — отпевать и отпевать… Прямиком не пройти — там, видишь, главный стол и поставлен…

Мы не спеша побрели по аллейке в противоположную сторону, словно прогуливаясь между пьющими, а потом ускорили шаг. Он вывел меня к бетонной стене, вдоль которой мы и направились, чтобы кружным путем миновать пиршество.

И тут впереди показался медленно идущий навстречу человек в камуфляжной форме, в черной маске и с автоматом в руках.

— Возможно, и вправду не достреляли, как ты говорить… И чего тебя угораздило: сидел бы на своем курорте — у тебя там сейчас, поди северные сияния… В баньке попаришься — бух в сугроб, а над головою — северное сияние… В избе печь топится, на столе — водочка, запотевшая, из сеней… Возле нее тарелочка с рыжичками и другая тарелочка — с беленькими…

— Рыжиков нынче не было, — вздохнул я, — только волнушки и грузди. Ну, белые — само собой, как обычно…

— Значит, одна тарелочка с беленькими, другая — с волнушечками, а третья — с груздочками… Хорошо!..

— Отцы, — сказал человек в маске, — выпить нету? А то околел от холода…

— А ты кто будешь? — спросил приятель.

— Вас охраняю.

— Нас?

— Ну да — вот эти похороны. А то — мало ли?..

Мы сказали, что никакой выпивки у нас нет и что, напротив, мы еще и пытаемся ее избегнуть. Он же предложил нам постоять вместо него, пока он за пузырем к могиле сгоняет:

— Мой участок — вдоль забора: от черной осины до памятника с голой теткой. Если кто через забор полезет: предупредительный — в воздух, а дальше — на поражение. Вы не бойтесь: тут кругом наши ребята стоят — если что, сразу придут на подмогу…

Мы поняли, что объяснять неправильность его мыслей надобно очень долго, и за сегодняшний день, пожалуй, вразумить человека мы не успеем.

— Ну, чего молчите, отцы? Неужели в вас понимания нету? Продрог ведь. — Он протянул автомат: — Вот предохранитель, вот спуск. Это — одиночные выстрелы, это — очередями. Лучше всего, отцы, короткими очередями: и шороху больше, и попасть полегче, а то вы все же люди нетренированные…

— Повесь на оградку, — сказал приятель, — да маску-то хоть сними — вдруг, кто в тебя самого пальнет с испугу. И побыстрее: если через пять минут не вернешься — уйдем.

— Я мигом, — обрадовался он, — а маску снимать мне не положено. И не переживайте: во-первых, я в бронежилете, а во-вторых — не успеют пальнуть, кулаком зашибу, — и, тяжело топая шнурованными ботинками, побежал по аллее.

Минуло пять минут, десять, пятнадцать… Прошли до черной осины, от которой разглядели следующего стрелка, потом — до памятника с голой теткой: и там бродил караульщик.

— Смотри, как здорово, — сказал приятель, — кругом наши люди.

Мы стали размышлять, что делать нам с автоматом… И тут примчался сменщик: из пятнистых карманов торчало несколько бутылочных горлышек. Он тоже сбегал к черной осине, потом к

голой тетке, чтобы, значит, поделиться с товарищами. Мы доложили, что на вверенном нам участке никаких недоразумений не произошло, сдали автомат и отправились восвояси.

— Даже не знаю, как и благодарить вас, — искренне сказал человек, лица которого мы так и не увидали.

Благополучно добравшись до «ритуального павильона», погрелись у электрического отопителя и собрались было идти на автобусную остановку, как вдруг дверь распахнулась от удара ногой и вошел человек в маске.

— Отцы! — победно воскликнул он, и мы поняли, что это наш друг, и никто иначе. — Нашел подарок для вас, — покачиваясь, он протянул к нам руки, раскрыл кулаки, и мы увидели лежащие на ладонях гранаты. — Держите, отцы, пригодится… Ну, чего молчите? От души ведь!..

Уезжали вместе с рабочими на припозднившемся катафалке. Приятель задремал. А когда проснулся, сообщил, что снилась ему картина Верещагина, но не «Апофеоз войны» с черепушками, а та, на которой батюшка стоит с кадилом среди полузанесенных снегом павших воинов.

Прощаясь, он еще раз назвал меня тунеядцем и сказал: «Возвращайся в Москву».

## Доктор философии

После службы — а дело происходило в Москве — отправился освящать квартиру. Пригласили две прихожанки. Незадолго до этого я же и крестил их: сорокалетнюю маму и тринадцатилетнюю дочку, и тогда еще они повели разговор об освящении своего жилища, страдающего отдухов нечистых: по ночам кто-то там плакал, стенал, смеялся… А еще предупреждали меня, что бабушка у них — воинствующая безбожница, всю жизнь преподавала философию, профессор, доктор наук. Жили они втроем. Дед — партийный работник — давно умер, а отец девочки давно оставил семью.

Приехали мы к массивному тяжеловесному лому, из тех, что именуются сталинскими, поднялись в просторную квартиру, и я занялся своим делом. Причем, пока совершались соответствующие приготовления и читались молитвы, бабушки видно не было, лишь потом, когда я пошел кропить пятикомнатные хоромы, она обнаружилась в рабочем кресле хозяина, высунувшись из-за высокой спинки, сказала: «Здрасьте», — и снова исчезла. Завершив освящение, я выпил чашку крепкого чая, предложенного хозяйкой, и уже одевался в прихожей, когда появилась бабушка, чтобы, наверное, попрощаться со мною.

Событие могло бы закончиться, не выходя за рамки рутинной обыденности, когда бы прихожанки мои не обратились к старухе с призывом принять крещение: мол, болеешь часто, да и годы преклонные… И тут произошел разговор, который можно посчитать просто забавным или анекдотическим даже. Однако по внимательном рассмотрении всякий желающий способен углядеть за словами старушки глубинный смысл. А то и вовсе заглянуть в бездну…

— Мы — духовные антиподы, — сказала старуха, указывая на меня, — то есть противники и даже враги…

— Последние восемьдесят лет? — спросила девочка.

— Последние две тысячи лет, — отвечала старуха с гордостью, — и я не буду изменять вере своих отцов.

В Маркса и Ленина? — насмешливо поинтересовалась внучка, намекая, наверное, на то, что и с верою своих предков — похоже, иудейскою — бабулька была не сильно знакома.

— Это тоже наши люди, — спокойно возразила старуха.

— А апостолы? — вежливо заметила ее дочь.

— Они изменили крови: наши учат брать, а эти учили отдавать.

— А Христос? — поинтересовалась девочка.

— Ха! — махнула она рукой. — Этот нам вообще чужой. Он — Сын Божий.

Тут дочка с внучкой натурально изумились тому, что воинствующая безбожница проявила вдруг некую религиозную убежденность.

— Я всегда знала все то, что следует знать, но всегда говорила только то, что следует говорить, — внятно произнесла старуха.

— А чего ж ты в своем Израиле не осталась, раз уж ты такая правоверная иудейка? — набросились на нее дочка с внучкой.

— Там невозможно жить, — обратилась старуха ко мне, словно ища понимания: — там ведь одни евреи — это невыносимо…

— Ну и логика у тебя, бабуль! — изумилась девочка. — И ты с такой логикой сорок лет студентов учила?!

— Да — логика, да — профессор, да — доктор философских наук, а что?.. Что, я вас спрашиваю?.. Теперь будем уезжать не в Израиль, а в Америку.

— Зачем еще? — спросила женщина.

— Как — зачем? И она еще спрашивает — зачем? — старуха снова обратилась ко мне: — От погромов!

Дочка с внучкой стали возмущаться, однако из множества возражений бабушка приняла лишь одно: «Да у них на погромы и денег нет».

— Нет, — эхом согласилась она и тут же энергично воскликнула: — Наши дадут им денег, и начнутся погромы! Что мы будем делать тогда?

— Спрячемся у батюшки, — отвечала дочь, утомившаяся от бесплодного разговора.

— А вдруг места не хватит, у него ведь могут найтись люди и поближе нас.

— Вот и крестись, давай, чтобы оказаться поближе! — внучка рассмеялась.

— А кто у него дома есть? Кто будет нас защищать? Кто…

— Сам батюшка и будет, — оборвала ее женщина.

— Но он же, — задумчиво проговорила старуха, — он же уйдет на погром…

С тех пор покой этой квартиры не нарушался ни загадочным плачем, ни пугающим ночным хохотом. Бабушка, напротив, стала чувствовать себя крайне неважно: она жаловалась, что ее изнутри кто-то «крутит», «корежит», а однажды с ней случился припадок вроде эпилептического, хотя никаких намеков на падучую медики не обнаружили.

В конце концов, она не выдержала и эмигрировала за океан.

## Письма митрополита

Незнакомая старушка подошла после богослужения и сообщила, что некий человек хочет передать мне важные исторические документы. Предприятие осложнялось тем, что человек этот жил в Эстонии, в Москву приехать не мог, а отправлять документы почтой не решался:

— Русские письма пропадают, — объясняла старушка.

Получалось, что встреча может состояться лишь на границе — в Иван-городе.

Как-то зимой выпало три свободных дня между службами, я позвонил хранителю старых бумаг и отправился. Всякому хорошему делу, как известно, сопутствуют искушения. Здесь они начались по приезде в Санкт-Петербург: оказалось, что билетов до Иван-города нет. Пришлось выбираться на трассу и ждать попутного автобуса. День выдался студеный — градусов двадцать пять да еще, как положено в этой местности, — ветер, и потому, не дождавшись за полтора часа нужного транспорта, я запрыгнул в какой-то автобус, чтобы оттаять. Он двигался в нужную мне сторону, однако очень недалеко. Пришлось вылезать и ждать следующего. Следующий, довез меня до половины пути и перед тем, как свернуть с дороги, высадил возле дорожного поста. Я попросил помощи.

— Это можно, — сказали инспектора, — в любую машину пристроим, — но запросили сумму, превышающую мое жалование.

Намерзнувшись вдругорядь на ближайшей автобусной остановке, я зашел в придорожный магазин.

— Окоченел, — определила продавщица. — Чем согреваться будем — водочкой?

— Хорошо бы, — говорю, — чайку с кагорчиком.

— Чаю, так и быть, налью, а кагора у нас отродясь не бывало. Если не желаете водки, возьмите коньячный напиток местного производства.

— Кончину безболезненную, непостыдную, мирную — гарантируете?

— Народ пьет — никто не умер пока.

Расположиться было велено на подоконнике, где дремал белый кот. Я хотел потеснить его и спросил у продавщицы, как зовут альбиноса.

— Зови, не зови — он глухой. Да и что хорошего тут услышишь? Мат-перемат…

Кот на мгновение приоткрыл глаза: один — голубой, другой — розовый, и опять уснул.

Отогревшись, я поблагодарил продавщицу, вышел на трассу, и вскоре предо мной остановился автобус: теплый, с мягкими сиденьями. Благополучно «долетев» до места, я отыскал нужный

дом. Встретили меня обычные православные люди, которые всюду — свои, напоили чаем, вручили пакет и проводили на обратный автобус, так что к ночи я возвратился в Санкт-Петербург, а утром — в Москву.

Пакет хранил письма и фотографии святого митрополита Макария — преданнейшего воина Церкви Христовой, служившего ей семьдесят с лишним лет, из которых, сорок два года — в архиерейском сане. Начав с миссионерской деятельности на Алтае, он был затем епископом Томским, а с 1912 года — последним перед революцией Московским митрополитом.

Душеполезные письма эти были адресованы одной из духовных дочерей владыки Макария, трудившейся сестрой милосердия на Западном фронте. После ее кончины они долгое время бродили неведомо где, пока не осели у того самого человека, который и принес их из заграничной страны: он называл себя монахом Савватием. Каких-либо частных тайн корреспонденция не содержала, а потому просьба хранителя об издании писем представилась выполнимой.

И вот как-то в Троице-Сергиевой Лавре сижу на скамеечке, отдыхаю. Подсаживаются двое семинаристов: у каждого в руках только что вышедшая книжка писем. Один читает: «Жаль, что евреям дана воля смущать простой русский народ: они идут против Христа». Другой: «Во времена нашествия монголов на Русь духовенство и иноки не испытывали столько оскорблений и лишений, сколько испытывают от несчастных христиан, богоотступников нашего времени». Завязался у них философский разговор о богоборцах и богоотступниках и по всему выходило, что предатели и перебежчики — куда хуже врагов. Беда нашему Отечеству…

Тут зазвонил колокол, и мы направились к службе.

## Ночная служба

Он был афонским архимандритом, но когда в Сербии началась война, попросился домой, чтобы собирать народ на молитву. За семь лет постриг сорок монахов и монахинь, восстановил четыре горных монастыря.

Я бывал у него в гостях, жил по строгому афонскому уставу с долгими ночными богослужениями, мы вместе молились. Днем ездили по монастырям, ему вверенным, где отец архимандрит молниеносно решал хозяйственные вопросы, казавшиеся мне обременительными.

Последний день последнего моего визита начался с путешествия в женский монастырь, находившийся под попечением батюшки. Монахини жаловались: луговина зарастает густым, колючим кустарником, который никак нельзя одолеть. Говорили, что даже трактор не может продраться сквозь них. Правда, трактор был маленький, несерьезный, одно название. Батюшка попросил спички, их тут же принесли, и он поджег с наветренной стороны сухую траву. Пал расстелился по луговине, захватил кусты, но горели они никудышно.

— Несгораемая купина, — изумился отец архимандрит и потребовал автомобильную покрышку.

Монахиня сбегала к сараю, прикатила новехонькую. Мы рассмеялись, попросили что-нибудь постарее. Явилась покрышка, истертая чуть не до дыр — самая подходящая. Бросили ее в кусты, она вспыхнула и задымила так, что нас видели со всех самолетов, пролетавших по международной трассе над южной Сербией. Я тревожился, не перекинется ли огонь на деревья — кругом леса.

— Нет, — весело отмахнулся батюшка.

Почему он был так уверен — не знаю, но огонь и впрямь замер у самого леса. А кусты выгорели. Оставалось вспахать гарь «игрушечным» трактором, засеять травой, и жизнь монастырских коров станет еще привольнее.

После обеда отслужили вечернюю службу и отправились в городишко, подобие нашего районного центра, чтобы продать одну машину и купить другую. За те же деньги, такую же старую, но поменьше и с дизельным двигателем, а то бензина в горы не натаскаешься.

Приехали в дом к батюшкиным знакомым. Переговоры проходили в гостиной, и я на них не присутствовал. Мне по протоколу выпало иное послушание: сидеть на веранде и поочередно принимать участников сделок, а также хозяина дома и полицейского. Каждому я наливал рюмку яблочной водки — ракии и произносил тост «за успех предприятия». Потом навестили нотариуса. Он принял нас у себя дома в халате и шлепанцах, поставил печать, выпил рюмку ракии: бутылка была у меня в кармане, рюмка — в рукаве, — и мы расстались. На все ушло полчаса.

После чего отправились куда-то по ночным дорогам, долго ехали, и остановились у подножия горы. Место это я знал — наверху был древний храм Рождества Пресвятой Богородицы, пятнадцатого, если не ошибаюсь, века. В горах Сербии сохранилось немало старинных храмов. Как правило, они не заперты. В них — аналои с простыми иконами, немного свечек. Люди, изредка попадающие сюда, могут поставить свечу и помолиться. Обычно на аналоях даже мелочь какая-нибудь лежит — оставляют за свечки.

Поднялись по каменистой тропинке и встретились с монастырской братией — было их семь человек, причем двое пришли из скита через горы пешком, светили себе фонариком. Иеромонах отслужил при свече Божественную литургию, отец архимандрит достал из портфеля ветхое облачение и благословил меня причаститься. Когда я вошел в алтарь, в узком, словно бойница, окошке на горнем месте открылось солнце. Лучи его осветили каменный престол, священные сосуды, плат, антиминс. Теперь можно было задуть свечу.

После службы вышли из храма, монахи достали термосы, развернули узелки с едой, мы пили чай, ели лепешки, яблоки… Солнце поднималось все выше, освещая склоны украшенных осенью гор с разбросанными кое-где черепичными крышами крестьянских домиков. Потом высветилась долина реки с жухлыми луговинами и, наконец, сама речка, вьющаяся далеко-далеко под нами.

В тот же день я улетел в Москву, не зная еще, что никогда больше не увижу своего друга.

## Дахау

Познакомились мы в читальном зале большого архива: оба запросили одни и те же исторические документы. Соперником оказался немец из бывшей Восточной Германии. Он кое-как изъяснялся по-русски, мы разговорились и, отложив исторические документы, отправились в ближайшее кафе для беседы.

Немец знал всех русских батюшек, служивших сейчас в Германии, называл их по именам и очень обрадовался, когда среди них отыскался один мой знакомый. Затем рассказал о хозяйственных проблемах православных приходов, о ремонте храмов, регентской школе…

Тут уж я говорю: а вы каким, дескать, боком к теме этой прикосновенны? Выясняется, что боком непростым и особенным. Он — историк, занимается изучением гитлеровских концлагерей, а, скажем, в лагерь смерти Дахау ссылали православных священников из Южной

Европы. И не только священников, но и высочайших иерархов: например, Сербского Патриарха Гавриила, епископа Николая Велимировича…

Он рассказал, как в недавние времена в Дахау строили православный храм — деревянный, как рядом с ним сажали березки. Там же построили храмы других христианских конфессий и синагогу. Воздвигли общий поминальный крест, у синагоги — менору-семисвечник. Потом, правда, крест пришлось убрать. Менора осталась…

Наши батюшки консультировали его по вопросам, связанным с церковной жизнью заключенного духовенства: ведь в бараках надо было совершать богослужения, причащаться. Писались прошения, их рассматривало лагерное начальство, иногда разрешало, иногда отказывало. Если разрешало, выставлялись какие-то требования… И все это на бумагах — с подписями, печатями, резолюциями, с точным указанием времени. Немец рассказал, что и на расстрельных актах время указывалось в высшей степени пунктуально: выстрел произведен во столько-то часов, столько-то минут — подпись офицера, смерть наступила через столько-то минут подпись врача.

Так же обстоятельно заполнялись в Дахау анкеты — был даже вопрос о вероисповедании. Скрывать что-либо не имело смысла — все одно смерть. Немецкий историк сказал, что через его руки прошли тысячи дел: подавляющее большинство заключенных — советские офицеры. Почти все они — православные, иногда — мусульмане, никаких других — не было. «Других — не было», — внятно повторил он, и, между прочим, заметил, что войну эту выиграло последнее поколение крещеных русских людей. Потом крестить практически перестали, и все последующие баталии заканчивались не столь впечатляюще.

Тут мы и расстались: допив кофе, он снова пошел в архив — я почтительно уступил ему право на исторические документы.

## Указание

Хоронили старушку. Зимой. Кладбище старое, тесное, между оградками не протиснешься. Худощавые рабочие пролезли еще к могиле, а полнокровный бригадир стоял возле нас, на асфальтированной дорожке. Народу было немного — человек десять. Это вместе со мной и тремя певчими. Служим, а я думаю: как же гроб-то через эти узкости тащить? Да и вообще: для чего оградки существуют? На новых кладбищах их нет, на старинных — тоже, когда ж все это уродство появилось? В двадцатом веке, наверное… Частокол из металлических прутьев, крашенных преимущественно голубой и серебряной краской. Разве что нашему брату удобно — есть куда кадило повесить, оно всегда под рукой.

Пожилая родственница тяжко вздыхает:

— Тесно у вас тут в Москве, — вероятно, приезжая, — в метро — толкучка, в магазинах — толкучка, и покойники — в эдакой-то тесноте…

У певчих — пар изо рта, усы и брови заиндевели. Певчие стараются: один из них — внук старушки, и приятели, не щадя глоток, по-братски поддерживают его. «Со святыми упокой…» Снимаю с ближайшей оградки кадило и только теперь замечаю на камне за прутьями знакомое имя…

Я ведь крестил эту женщину. Лет пятнадцать назад. И было ей тогда немного за сорок. Как-то раз еще она приходила исповедоваться и причащаться. А потом меня перевели на другой приход, и я больше не видел ее и ничего не слышал о ней…

Бригадир шепчет сзади:

— Долго еще?

— Пять минут, — отвечаю не оборачиваясь.

Я понимаю, что он замерз, и работяги замерзли, и провожающим невмоготу: они притопывают ногами, словно пританцовывают на месте. А певчие — хоть бы что: голосят себе, да так чисто, так проникновенно. Я предлагал отпеть у нас в храме, но событие происходило на другом конце города, ехать к нам было очень уж далеко, а проситься к кому-то еще они не захотели.

Вот и все: бригадир вколачивает гвозди и зовет худощавых. Воздев гроб над головами на вытянутых руках, они медленно продираются между оградками…

Оказывается, она уже третий год обитает здесь… Рядом со своим отцом: он был писателем, довольно известным в сороковые-пятидесятые годы. Наверняка лауреат главной тогдашней премии. Здесь же и мать… Помнится, ни мужа, ни детей у моей знакомой никогда не было… Выходит, что у нее вообще никого не осталось? И кто же о ней теперь помолится? Тем более что окружение у нее было совсем не церковным… А то и не православным… Может статься, я один только и ведаю о ее крещении. Но тогда получается, что на всей земле, кроме меня, за нее действительно некому помолиться…

Мы ведь могли служить отпевание чуть сзади или чуть впереди, и я бы повесил кадило на другую оградку… Но остановились, а точнее, были остановлены — именно здесь, потому что, понятное дело, нехорошо, если за крещеного человека некому помолиться. Совсем некому…

С тех пор я и поминаю ее. Неукоснительно.

## Интенданты в ночи

Впору моего детства большинство мужчин были военными. Они только что разгромили сильнейшую в мире армию, и жилось среди них надежно.

Мы легко разбирались в родах войск, званиях и наградах. Наивысшим авторитетом пользовались, понятное дело, летчики и моряки, за ними — танкисты, артиллеристы, пехота, железнодорожные войска, медицинская служба… Энкавэдэшников не любили. Их не любили все. Даже в переполненном автобусе к офицеру в синей фуражке не прикасался никто, и рядом с ним всегда оставалось незанятое пространство — поле несовместимости. Были еще белопогонники, то есть интенданты. Они носили узкие серебристые погоны. К интендантам мы не относились никак, словно не замечали.

В те же времена в бане слышал рассказ некоего фронтовика о том, как в сорок первом он был па сутки откомандирован с передовой в Москву. И когда ночью шел через центр затемненного города, распахнулись вдруг двери знаменитого ресторана, ударил свет, и на улицу вывалилась подвыпившая компания: интендант с группой штатских.

— Эй, фронтовичек, — говорят, — что ж вы Ржев сдали?

Вероятно, слушал я невнимательно, потому что самое интересное в бане — следы ранений: вот пуля, а вот-осколок, синяя сыпь — пороховой ожог, изуродованные ладони и лицо — горел в танке.

Спустя лет десять я попал в один славный дом. Славен он был недавно ушедшим хозяином:

близкие еще вспоминали о похоронах, а по вечерам заходили его друзья — без предупреждения, как прежде. Мы, подростки, были заняты своей легкомысленной дребеденью и мало интересовались жизнью этих прекрасных людей. Отчасти — из-за присущего юности недоумия, отчасти из-за того, что их тогда оставалось еще немало.

Это были поэты-фронтовики. Люди странной породы, сочетавшие в себе качества, которые при обычном порядке вещей в одном человеке не умещаются. А уж как их любили женщины! Впрочем, мужчины никогда не бывают так дороги, как после войны. И чем кровопролитнее война, тем мужчины дороже.

Этих драгоценных людей слушать бы да слушать, внимая каждому слову, а нам — не до них. К счастью, несколько слов, влетевших мне в одно ухо, из другого не вылетели. Дело касалось известного поэта-песенника, который во время войны прилетел с фронта в Москву для встречи с не менее известным композитором. Понятно, что встреча эта случилась не по своей воле, а по благословению главнокомандующего, приказавшего в кратчайший срок написать очень хорошую песню, после чего немедленно отбыть к местам постоянного несения службы, то есть одному — в армейскую газету, другому — в выездную музыкальную бригаду.

Работали они в гостинице «Москва», работали круглосуточно. И вот на этаже поселяется интендант, пригнавший из Ташкента, вагон не помню чего. Этот интендант, вернувшись ночью из ресторана, слышит звуки рояля и требует прекратить музыку. Требует сначала у горничной. Горничная по мере сил разъясняет ситуацию и призывает интенданта послушать: ей нравится песня о солдатах и соловьях. Однако интендант продолжает настаивать, стучит в дверь, дверь открывается.

— Вы знаете, кто я?! — кричит он. — Я сопровождаю вагон, а вы, вместо того чтобы помогать фронту, занимаетесь ерундистикой.

Поэт отвечает ему совсем не песенными словами, и дверь захлопывается. Тогда интендант уходит в свой номер и начинает сочинять жалобы. Жалобы эти долго еще будут плутать по коридорам высоких инстанций, а композитор с поэтом, сдав песню в Радиокомитет, разъедутся к местам дислокации.

И вдруг я вспомнил, что когда-то очень давно мне уже доводилось слышать нечто об интендантах, возникавших в ночи.

К моменту, когда рассказывалось это предание, интендантство как особый род войск было упразднено, да и само слово исчезло из обихода. Кроме того, без сомнения, и среди белопогонников было немало достойных, а может, и героических людей. Дело тут не в цвете погон, а в особом внутреннем устроении человека, напоминающем тараканье.

…Святки. Первый день. Сидим в келье Троице-Сергиевой Лавры. Один — ездил в тюрьму, поздравлял с Рождеством заключенных, другой — служил в интернате для слепоглухонемых, третий — только что из Чечни, где крестил воинов… Четвертый — звонит из Антарктиды: там у нас храм, и наш приятель в дальней командировке. Ближе к полуночи меня разыскивает по телефону знатный чиновник. Некогда я освящал ему загородную усадьбу и автомобиль. Поздравляет с праздником, говорит, что видел богослужение по телевизору, но понравилось ему далеко не все. И начинает журить: дескать, тут вы не боретесь, тут не доделываете, это — из рук вон, а то — вообще никуда…

Интендант.

## Медаль

По окончании стажировки иеромонах Евгений был направлен в глухое село, да еще и жилье перепало за три километра в полупустой деревне. Изба оказалась старинной, большой и поначалу отцу Евгению необыкновенно понравилась: он любил все старинное и традиционное. Правда, начало это выпало на теплую осень, зато зимой, когда углы ветхого сруба покрылись изнутри густым инеем, молодой батюшка загрустил: сколько ни топи, изба вмиг выстужалась. Кровать пришлось переставить вплотную к печи, а спать — в шапке-ушанке, завязанной под бородой. Однако невзгоды он претерпевал стойко: ни одной службы не отменил и на требы ходил безотлагательно. Бывало, заметет за ночь дорогу, а он рано утром — еще и бульдозер не прошел — пробивается через сугробы к храму, торит трехкилометровую тропу. И в этаком геройском подвижничестве молодой иеромонах отслужил долгую зиму, что вызвало у немногочисленных прихожан благодарное чувство. И вот, когда уже началась весна и потеплело так, что изба, наконец, просохла, отец Евгений впервые в священнической жизни своей столкнулся с грубой-прегрубой клеветой, которая показалась ему столь значительной, что он впал в отчаяние.

Его обвинили в сожительстве с некоей Анимаисой.

— Это кто? — растерянно спросил он у старухи-соседки.

— Как — кто? Баба!

— Уже неплохо для нашего времени, — признал иеромонах, — да хоть кто она есть-то?

— А помнишь, в магазине балакала?

— Пьянехонькая такая?

— Она.

— Ужас! — отец Евгений вспомнил безобразно пьяную тетку, которая донимала всю очередь матерной болтовней.

— Ужас не ужас, а ночевать к тебе в четверг приходила.

— Да откуда ж вы это взяли?

— А — говорят! — победно заключила соседка.

И поведала, что муж у Анимаисы сидел, но в четверг преждевременно воротился. А дома у нее был сварщик с газопровода. Муж зарезал сварщика, хотя и не до смерти: одного забрали в больницу, другого — обратно в тюрьму. Ну, Анимаиса к монаху и подалась.

Батюшка представил поножовщину лихих мужиков, лужу крови, врача со шприцем, милиционеров с наручниками и несчастную Анимаису, которая после всего выпитого и всего случившегося отправляется в ночь за три километра пешком, чтобы обольстить незнакомого человека.

— Бред какой-то, — заключил иеромонах.

— А — говорят! — обиделась старуха-соседка.

Отца Евгения эта напраслина так придавила, что он словно постарел. И до середины лета жил придавленным и постаревшим. На преподобного Сергия поехал в Лавру. Поисповедовался, а потом рассказал о своих скорбях. Старенький игумен спокойно сказал:

— Медаль.

— Что — медаль? — не понял отец Евгений.

— Считай, что заработал медаль, — пояснил игумен. — На орден эта клеветка не тянет, а на медаль — вполне. Так что иди и благодари Господа.

— Господи! Как здорово-то! — воскликнул отец Евгений.

Вернулся заметно помолодевшим. Отслужил благодарственный молебен и бросился совершать новые подвиги, навстречу грядущим медалям и орденам.

## Великая формула

На приходе у отца Виктора была достопримечательная прихожанка. Кромешно своенравная и капризная. Конечно, таковые есть на любом приходе, а в масштабах страны их и вовсе не сосчитать, но здесь случай особый, связанный и с чудесами, и с научным открытием.

Начать надо с того, что приход у отца Виктора небольшой — сельцо потихоньку вымирает вместе со всем Отечеством. И внезапности, которые время от времени совершала приходская звезда, буквально потрясали жизнь малочисленной общины. Как-то раз отец Виктор не выдержал и призвал народ к совместной молитве об «умирении Антонины» — таково было ее святое имя, И тогда случилось первое чудо: взбалмошная Антонина пришла в храм и пред всем народом покаялась. Надо было начинать службу, но все стояли и молчали, переживая благоговейность момента.

— Какая же ты все-таки молодец, Тонька! — всхлипнула одна из тетушек.

И тут выяснилось, что покаяние было только половиной чуда: Антонина мрачно поведала, что ей приснился покойный батюшка, который и велел сделать все то, что она сделала. Отец Виктор — священник немолодой и многоопытный — не переносил разговоров о снах и потому, вздохнув, пошел начинать службу.

А между тем покойный батюшка Антонины — протоиерей Никандр — в пятидесятые годы был здесь настоятелем. Детей своих воспитывал он в строгости и благочестии, и старшие все остались при Церкви: сыновья — священники, дочери — матушки, а младшая — Антонина — после смерти отца ступила на стезю общественной деятельности и вознеслась до высот председателя сельсовета. И вот теперь, выйдя на пенсию и овдовев, она принесла в храм диковинную свалку, накопившуюся в ее душе. Она умела читать по-церковнославянски, с детства помнила обиходные песнопения — а голос у нее был чистый и приятный, словно и не поврежденный временем. Все это сочеталось с таким самодурством, что ни о каком послушании, ни о какой кротости применительно к ней и упоминать неловко. Например, разучив с прихожанками какие-то стихиры или тропари, она могла не явиться на службу, будь то хоть двунадесятый праздник, и потом долго не появлялась. Пообещав договориться с трактористом, чтобы на Пасху расчистить снег вокруг храма, она и сама не приходила, и бульдозер не присылала, так что крестный ход брел по насту, проваливаясь в сугробы. Все эти внезапности она объясняла обидами то на отца Виктора, то на кого-то из прихожан, а обиды, известное дело, достойнейший плод тщеславия. Попытки утихомирить ее неизменно

наталкивались на буесловные возражения, дескать, она, не жалея сил, старается для всех, всем помогает, всех выручает, а неблагодарный народ не ценит ее заслуг и не отвечает взаимностью.

Бедствия продолжались до тех пор, пока отец Виктор не призвал приход к соборной молитве за Антонину. Молились-молились и домолились: свершилось то самое чудо из двух половинок. Но хватило его ненадолго: Антонина рассорилась с тетушками из хора, забрала тексты песнопений и снова исчезла. Опять, значит, смута, смятение, скорби. Прихожане усугубили молитвенное прошение, и чудо повторилось: отец Никандр явился своей непутевой дочери в страшном сне и так бранил, так бранил ее, что она не решилась произнести в храме сказанные им слова. Однако и это чудо оказалось весьма кратковременным.

У Антонины от прежней начальственной жизни остался домашний телефон, и ей иногда звонили по церковным вопросам. И вот однажды, не спросив отца Виктора, она назначила жителям отдаленной деревни день для крещения младенца, а батюшка в этот день уехал на похороны. Получилось нескладно. Отец Виктор отругал Антонину, а она в ответ пообещала, что вообще не будет использовать личный телефон для церковных надобностей. На том расстались.

Тяжелое наступило время.

— Уж и не знаю, какие еще молитвы читать для ее окорота, — вздыхал батюшка.

Одна из старух, помнившая давность, убеждала:

— Вся надежда на отца Никандра: уж он кру-ут, так кру-ут был!

— То есть чтобы вас, баб, к порядку призвать, мужики должны уже с того света являться? — оторопел батюшка. — Уже и на том свете нет покоя от вас? Отец Никандр дважды снился ей, и чего?

— Ну, исправлялась ведь, хотя и ненадолго. Думаю, он пока не сильно строжал ее, все-таки младшенькая, жалеет, а надо призвать его для решительного разговора. Кру-утой батюшка был, властей не боялся: ему что райком, что исполком — с паперти мог вытолкать. Они все церковь хотели закрыть — не дал. А потом увезли его на допросы, а возвратили в гробу — такая история. Может, он вообще мученик, просто до него еще черед не дошел: еще с довоенными — разбираться и разбираться...

Опять молились, молились... Дня через три Антонина пришла: лицо землистое, глаза долу. Похоже, на сей раз отец Никандр был решителен. Много чего сказал он своей младшенькой, но главное — вывел формулу. Назвав Антонину «вздорной бабенкой», втолковал, что «вздорность — это дурь, помноженная на энергию, сугубо женское свойство». Прямо так и сказал. И Антонина все это передала приходскому сообществу. Но сообщество нисколько не задумалось по поводу формулы: оно было восхищено новым чудом. А вот отец Виктор задумался. Сжав бороду в кулаке, он тихо произнес: «Великая формула».

Антонина с тех пор не чудила, а отец Никандр ей уже и не снился. Видать, не было надобности.

## Тоскующие по небесам

Освящал самолет. Небольшой, частный, принадлежащий богатому человеку. Самого предпринимателя не было, меня сопровождали его помощники. И вот, когда все закончил и спустился на бетон, проходивший мимо, дядька сказал:

— Ничего себе!

Остановился, осмотрел меня с головы до ног:

— Священник на нашем аэродроме впервые. Полетать не желаете?

— Вообще-то, — говорю, — я часто летаю.

— Так-то пассажиром, а я приглашаю за штурвал…

— Вы серьезно?

— А чего там? Во-он стоит, — он указал на маленький самолетик, — мне его с полчаса погонять надо, вдвоем веселее.

Я спросил своих провожатых — их такая отсрочка даже обрадовала: они хотели провести уборку салона. Правда, взволновались:

— А не опасно?

— Уж слишком, — говорю, — красивая смерть: наверное, не заработал.

Сели в кресла, самолетик затарахтел и поехал. Инструктаж оказался непродолжительным: «Вот так — вверх, а вот так — вниз». Взлетели, дядька кричит: «Бери штурвал!» Сжал я рукоятку, а он снова кричит: «Да не напрягай руку, держи свободно!» После чего откинулся в уголок и что-то поет. Иногда показывает рукой: выше, ниже, я выполняю.

Под нами переполненная автодорога, кварталы жилых домов, высоковольтка. Поворачиваю налево. Надо круче, инструктор дожимает рычаг. Теперь внизу коттеджный поселок: кирпичные дома с башенками. Следующий поворот: брошенные свинарники, зарастающее кустарником поле, потом лес, в глубине которого усадьба с зеленой крышей — вероятно, дача вельможи. Еще раз налево, и вижу наш аэродром, некогда военный, а теперь коммерческий, снова шоссейка, дома… Летаем и летаем по квадрату. Я уже пригляделся к тому, что под нами, смотрю вдаль: видна Москва, хотя мутновато, в дымке.

— Ты по времени, сколько еще сможешь летать? — спрашивает инструктор.

— Пока не кончится горючее, — отвечаю. Пусть, думаю, провожатые не дождутся меня и уедут, только бы летать и летать.

Он согласно кивает, коротко машет рукой, словно отмахиваясь от всего земного, и опять заваливается в угол кабины. Потом вдруг командует:

— Давай на аэродром: диспетчер передал, что сто пятьдесят четвертый садиться будет.

Жаль, конечно, но приходится освобождать зону большому самолету. Нахожу взлетно-посадочную полосу.

— Выравнивай, выравнивай, держи курс.

— Можно сажать? — спрашиваю в шутку, а сам думаю: скажет «сажать» — надо будет как-то выполнять приказание.

— Ишь разбаловался! — и перехватывает рукоятку.

Садимся, заруливаем на свое место, тишина.

— Ты с какого года? — спрашивает инструктор.

Я отвечаю.

— Салага. Я на полтора года старше. Служил на Дальнем Востоке, потом вышел в запас, вернулся домой и теперь катаю и обучаю всех желающих… А ты когда впервые самолет увидал?

— Да был совсем маленьким: жили на Хорошевском шоссе, у Центрального аэродрома, самолеты прямо над головой взлетали, садились…

— Слушай, и я там же!

Оказалось, что мы были почти соседями, однако и дома наши, и школы находились по разные стороны Хорошевки. Он рассказал еще, что через дырку в заборе лазал на Центральный аэродром, чтобы из ящиков, в которые выбрасывали отработавшие свой срок детали, добывать «штуки» — тумблера, маленькие подшипники. Я тоже ходил за «штуками», но не через дырку в заборе, а под шлагбаумом на проходной: отец моего одноклассника был летчиком, и они жили в бараке неподалеку от самолетной стоянки. Я говорил часовому: «К майору Матвееву», — и меня всегда пропускали. Тогда на Ли-2 американское оборудование заменяли отечественным, и выбрасывалось много всякого хлама. Было мне в ту пору семь лет.

— А ты про дыру-то не знал, что ли?

— Не знал.

— Через нее солдаты в самоволку ходили… Ну, тебе, конечно, зачем, если друг прямо на аэродроме жил. Счастливый…

— Это тебе повезло — взлетел, а я, видишь, на земле остался.

— Не скажи: твое дело тоже в небеса направленное, тоска по небу, может, с тех Ли-2 и началась. Слушай, а давай я тебя обучу летать: получишь лицензию, насчет здоровья не беспокойся — медсправку сделаем…

— Хорошо бы, конечно, только добираться до вас — замаешься, полдня потерять надо.

Подъехала машина с провожатыми. Я поблагодарил своего соседа.

Расстались мы как старые друзья.

## Бизон и Фуфунчик

Отец Гавриил совсем стар. Добираться до храма ему тяжело, но он всегда приезжает заранее, минут за сорок. Потом появляется пономарь, следом — диакон, молодые священники, и наконец, перед самым началом службы — настоятель. Отперев дверь, отец Гавриил обходит иконы и перед каждой молится о своих чадах: о недужных, скорбящих, неудобоучащихся, непраздных, пребывающих во вражде… Просит и для себя: кончину безболезненную, непостыдную, мирную. Говорит: «Господи, дай помереть здоровеньким!» Он пока еще может служить и потому считает себя вполне «здоровеньким», притом, что хворей у него — не счесть и лекарства приходится есть горстями. Но эта просьба не главная — главная в алтаре. Зайдя в

алтарь, отец Гавриил медленно и неуклюже — ноги болят — совершает земные поклоны, с молитвой «Господи, прости и помилуй» прикладывается к престолу и начинает зажигать лампадки. Исполнив обязанности пономарские, приступает к диаконским: расставляет на жертвеннике сосуды, находит нужное евангельское чтение, после чего усаживается в уголок и дремлет. Минут пять или десять, пока никого нет. В алтаре тихо, теплятся огоньки разноцветных лампадок, и для старого батюшки это теперь самые счастливые мгновения. Блаженство. «Так бы и помереть», — мечтает отец Гавриил.

Сегодня воскресный день. Пономарь прибегает пораньше, и начинается колготня: надо разжечь кадило, открыть вино, принести просфоры, посмотреть апостольское чтение и прокимен. Он еще почти отрок — только-только школу окончил, но дело знает хорошо — в алтаре с пятилетнего возраста.

— А что, батюшка, — говорит пономарь, — голова после вчерашнего концерта у вас не болела?

— Ужас, — отвечает отец Гавриил, вспомнив, как из-за рок-концерта, устроенного на Красной площади, вчера во время всенощного бдения дребезжали окна.

— Просто — новая культура, — снисходительно объясняет пономарь. — Вам, к примеру, нравится консерватория, а современной молодежи — рок.

— Так-то оно так, только в консерватории после концертов ни шприцы, ни окурки на полу не валяются, да и нужду под себя там никто не справляет. Мне утром встретились соседи из Василия Блаженного — тащили от храма два мешка мусора.

— К ним на территорию во время концертов вроде не пускают.

— Что с того? Поклонники «новой культуры» могут и через ограду перебросить.

Приходит диакон, несет со свечного ящика записки:

— Ну, такого я еще не видал: «О здравии администрации президента» и «О упокоении новопреставленных Фуфунчика и Бизона». Зашел, говорят, прилично одетый человек, написал эти записки, а на ящике заупокойную не принимают — требуют святые имена. А он свое: «Бизон и Фуфунчик — святее быть не может. Правильные, мол, пацаны, но позавчера их застрелили». Отвалил денег и уехал на машине с мигалкой. Похоже, рядом работает — сосед.

Кто-то хочет переговорить с батюшкой. Отец Гавриил выходит: пожилой мужчина просит поменять крестных родителей своего сына.

— Это невозможно, — отвечает отец Гавриил, — а в чем, собственно, дело?

— Колян — крестный отец — завязал, а Надежда — мать крестная — совсем спилась: рюмку хлопнет и под стол валится, так что пить с ними невозможно. Лучше уж Валерку и Катерину.

Батюшка какое-то время втолковывает горемыке насчет восприемников, но тут появляются молодые священники, настоятель, и отец Гавриил возвращается в алтарь: приходит время Божественной литургии.

## Ручеек

В ранней молодости отец Тимофей работал печатником: центральные газеты печатал. И вот как-то появляется под потолком ротационного цеха растяжка: «Увеличим производство на три

процента». В честь очередной годовщины социалистической революции. Тимофей спрашивает начальника цеха, как мы можем увеличить производство на три процента, если тираж изданий строго ограничен и всякий перерасход бумаги приводит к взысканиям и денежным вычетам. Начальник цеха махнул рукой: мол, отстань.

Через неделю добавляется новый призыв: «Увеличим на четыре процента» по поводу съезда не то партии, не то профсоюзов. Тимофей снова спрашивает, а ему снова: отстань.

Однако третье воззвание, появившееся в связи с юбилеем союза молодежи, привело молодого человека в полное недоумение: добавилось еще три процента, и выходило, что в сумме надо было перевыполнить план аж на десятину. Он растерялся: куда выбрасывать тонны лишних газет?

Ему объяснили, что выбрасывать ничего не придется и ни одной лишней газеты никто не напечатает, но поддерживать «передовые почины» надо: глядишь, выиграем «социалистическое соревнование» и получим вымпел. Чистой воды лицемерие и фарисейство. То, что, по мнению отца Тимофея, со временем и развалило социалистическую державу. Однако молодой печатник отказывался понимать общепризнанный политес.

Впоследствии, учась в семинарии, Тимофей познакомился с жизнеописанием Ростовского митрополита Арсения, известного дерзкими выступлениями против императрицы Екатерины, разорявшей монастыри, и очень полюбил этого необыкновенного Владыку. Кстати говоря, для Тимоши отыскалась и своя Екатерина — секретарь комсомольской организации Катька, устроившая собрание.

Наборщица Катька собиралась вступать в партию. И все у нее для этого было: женщина, рабочий класс, из комсомола — прямейший путь без затруднений. Но ей хотелось чего-нибудь возвышенного, громкого, хотелось идеологических достижений. Вот и взялась она за Тимофея. Дескать, был порядочным человеком: организовал клуб туристов и водил молодежь в походы; возглавил эстрадный оркестр, под который проходили все праздники, и сам прекрасно играл на аккордеоне, особенно песни военных лет, — а потом вдруг опустился до предательства. Обличала, обличала его с трибуны, и все очень высоким штилем: насчет морали, идейности, а он, сидя в каком-то ряду, слушал. Потом призвала его встать и спросила:

— Ты что, против линии Центрального комитета нашей организации?

Парень пожал плечами:

— Ну а если эта линия — полная глупость?

И Катька сорвалась на визг:

— Комсомольский билет на стол!

Билета у Тимофея при себе не было, и он молчал, не понимая, что надо делать.

— На стол! — еще раз взвизгнула Катька, глаза ее победно блистали.

И тут в наступившей тишине из глубины зала вылетело:

— Ты, что ль, ему этот билет давала?

Все обернулись: в дверях стояли несколько чумазых печатников совсем не комсомольского

возраста. Собрание было открытым, и они пришли поддержать своего. И вот единственная в этом мужском цеху работница возразила комсоргу. Катька в ответ переспросила:

— А что, ты, что ли, давала? — И это было неосторожно с ее стороны: русский язык, как известно, безгранично щедр на двусмысленности.

Работница вновь:

— А ты давала?

Зал содрогнулся. Это был не хохот, это были рыдания. Причем, как только они затихали, слышались все те же встречные вопросы двух типографских тружениц, и рыдания снова охватывали зал. Тимофей стоял посредине и, поворачиваясь то к одной, то к другой, ждал, чем дело кончится. Народ, исплакавший от смеха все слезы, стал расходиться.

С Катькой случилось то, что случилось бы с полководцем, который, призывая воинов к смертной битве, выехал перед ними на белом коне, указал саблей в сторону неприятеля и вдруг неуклюже свалился бы в грязь.

И хотя собрание завершилось пустым весельем, в протокол было вписано «единодушное осуждение» с передачей личного дела в райком.

Однако через несколько дней, как раз во время Тимошкиной смены, на первых полосах всех газет появилось сообщение об освобождении от должности первого секретаря того самого Центрального комитета, с линией которого Тимофей был не согласен. Печатники хлопали его по плечу, Катька заискивала и шептала: «Ну, если у тебя наверху свои люди, и ты все знал заранее, предупредил бы, чтобы не выставлять меня в неприглядном свете». Но никаких связей у Тимошки не было — он вообще воспитывался в детском доме.

Директор издательства пригласил к себе в кабинет, где у него гостил приятель космонавт. Рассказал о Тимошкиной принципиальности, и космонавт, слегка нагрузившийся коньяком, одобрил:

— Такие люди партии очень нужны — они как прозрачные ручейки, вливающиеся в мутный поток. Я прямо сейчас готов дать рекомендацию.

— Слабый из меня ручеек, — вздохнул Тимофей и попросил отпустить его — надо было работать.

— Твое здоровье, — сказал космонавт, поднимая фужер.

С этого времени Тимошка стал неудержимо стремиться поближе к сущности бытия, чтобы, значит, без фарисейства.

Так, собственно, он и стал отцом Тимофеем.

## Иеромонах Севастиан

Довелось как-то заночевать у сельского батюшки — спросил дом священника, мне посоветовали идти на кладбище: «Там он и живет».

Отыскал кладбище: слева за воротами церковь, справа — домишко похилившийся. Только постучался — зажегся свет, словно меня тут ждали.

Хозяин — тщедушный старичок с седой бороденкой — встретил приветливо, почти радостно. Похоже, он сильно истосковался по общению: «Как хорошо, что приехали, главное — вовремя, а то я собрался с утра в Лавру податься». Вскипятили чаю и под чаепитие познакомились. Звали его отец Севастиан. Когда-то он был женат: «Давно, в дьяконах еще, но недолго», а овдовев, принял постриг и с тех пор монашествовал. Я в ответ рассказал ему о некоторых новостях столичной жизни — он повздыхал, сожалеюще покачал головой и добавил к нашему разговору одну приходскую историйку.

Началась она сразу после войны. Возвращался через это село солдатик. Мужики тогда, известное дело, были в необычайной цене — для примера отец Севастиан сообщил, что от тутошнего лесника, которого по причине преклонения возраста на фронт не взяли, шестеро баб народили детишек. «Что ж поделаешь? — объяснял отец Севастиан. — Население продолжать надобно? Надобно! А мужского полу, кроме лесника, никого нет. Вот они и постановили: мол, будем ходить к тебе, а ты выручай, а то вдруг все мужики на войне сгинут — что же тогда, народу совсем прекратиться?.. В открытую постановили — их мужья к той поре уже сгинули… Он сопротивлялся поначалу — совестливый был мужичок, я еще застал его, правда, совсем уж дряхленького, — но потом вошел в понимание…»

Такая вот была жизнь. И вдруг: солдатик, молоденький, при руках и ногах — заглядение! Бросились на него бабы и девки, а он что — его дело солдатское. Короче говоря, побрел воин дальше, а спустя некоторое время одна юная барышня почувствовала, что «под сердцем у нее бьется еще одно», — слова отца Севастиана. Испугалась красавица — больно лют у нее родитель был: с фронта вернулся перекалеченным, пил, злобствовал — по пьянке вполне убить мог. Да, в конце концов и убил — правда, не дочь, а случайного человека, в тюрьме и помер.

Пока можно было, скрывала, а когда скрывать стало затруднительно, подалась в соседнюю область на торфоразработки — вроде бы за копейкой, отец одобрил. Там народ сбродный, чужой, никому до нее дела не было — потихонечку и родила. Однако домой ребятенка принести не решилась и на обратном пути в мимоходной деревне подбросила. О людях этих знала, что они добрые, живут крепко, а своих детей нет.

Потом женщина эта вышла замуж, родила еще двоих детей, вырастила их… И все это время не переставала секретно проведывать о судьбе подброшенной девочки, а той жилось хорошо.

И вот нынче летом они встретились в поле: рожь высоченнейшая была — столкнулись на тропинке. У дочери уж своих трое, и все — мальчики: старший в армии да двое маленьких — с маленькими она и шла. Встретились, поздоровались, как это принято по деревням, и разминулись. После этого с матерью, а ей недавно исполнилось шестьдесят, стало твориться неладное: бессонница, слезы, вой муж собрался в город ее везти, к докторам, но она отказалась.

И пришла к отцу Севастиану.

Ну, она все это изложила и спрашивает: «Что же мне делать-то теперь? Признаться дочери или промолчать — так и уйти в могилу? Тяжко, батюшка, — говорит, — душа к ней так и рвется, так и рвется. Ведь мое, родное ведь!.. Вылитая я в молодости… Но боюсь, — говорит. — Скажу вот, что она — дочь мне, и вдруг да в ее сладившейся жизни что-то нарушится? А этого, — говорит, — не пережить. Пусть бы прокляла меня, только бы ей хуже не сделалось», — и плачет, плачет.

— И я плачу, — рассказывает отец Севастиан, — ревмя ревем. А что отвечать — не знаю: не открыто мне, не открыто… Вот вы — как бы вы поступили?

Со стороны в столь непростой ситуации решать трудно, я сказал, что, возможно, положился бы на волю Божию.

— Я и сам к тому же склоняюсь. Господь, конечно, распорядится наилучшим образом: надо будет — сведет их, не надо — так все и останется. Но, пока живой, вдруг что-то успею?..

Еще малость поговорили о послевоенном времени, потом — о войне. Выяснилось, что отец Севастиан воевал, трижды ранен, имеет боевые награды.

— Я тогда по-другому звался — Петром, это уж при постриге меня в честь одного святого… Картина знаменитая есть: стоит он, к дереву привязанный, и весь стрелочками истыкан… Во-во, Тициана! Ну а мученик вообще-то начальником стражи служил у заграничного императора — давно, еще в третьем веке. Ну, император его за непоколебимую веру и… того… А я тогда Петром был. В зенитных войсках…

Вот уж было мне интересно, но легли спать: я на диванчике возле печки, хозяин — в другой комнатенке, «в келии».

Встали рано. Опять пили чай. Старик, продолжая вчерашний разговор, сказал:

— Так что не открыто мне, не открыто… Если бы еще они обе ходили в храм, тогда, может, с Божией помощью и разобрался бы, а так — дар прозорливости надобен. Вот еду теперь в Лавру — к отцам. Может, что присоветуют.

— Так вы что ж — за этим и едете?

— Именно, — удивился отец Севастиан моему непониманию.

— Специально?

— Ну да… Не за колбасой же? А если там не помогут, — старик задумался, вероятно, эта мысль только что пришла ему в голову, — если не помогут… придется ехать в Печоры… Да, — твердо заключил он, — тогда — в Печоры.

Прощаясь, он извинился за бедность и приглашал впредь заезжать к нему. Однако попадать в те края мне больше не приходилось.

## Свет

Мой приятель — пожилой московский священник отец Алексий — рассказал мне однажды, как вынашивалось в его душе весьма важное для жизни успокоение.

В детстве Алеша много болел. Врачиха, лечившая поочередно корь, коклюш, ветрянку, краснуху и уважительное число ангин, однажды не выдержала: «Ну что с тобой делать — на помойку снести?» Врачиха была не злой, напротив — доброй, заботливой и, уж конечно, не собиралась выбрасывать на помойку больного ребенка, но спросила так для того, чтобы, думается, построжать родителей. «Знаю, что у вас большая семья, — сказала она еще, — знаю, что ответственная работа, но умоляю: бросьте все и немедленно отвезите его на море». Так впервые Алеша оставил Москву и очутился в Анапе.

Если прежние его ощущения были связаны в основном с тем, что приносили болезни: с горчичниками, уколами, компрессами, с полубеспамятством жара и постельной тюрьмой, то здесь — переставшему наконец болеть — открылась громадность мира, и чувства устремились

познать его. Оттого, верно, приметливость сопутствовала ему в то лето, как, может быть, никогда более во всей последующей жизни.

Было, конечно, в Анапе море, песчаный пляж, тянувшийся к горизонту, полчища белых крабиков на мелководье, базар с виноградом, персиками и ставридой: на рубль — пять рыбин… Был еще дом — старой постройки, кирпичный, в три высоченнейших этажа. Бомба не оставила ни кровли, ни перекрытий, ни окон, ни дверей — только стены. За стенами — груды битого кирпича, крошево штукатурки, и все это поросло сладко пахнущими цветами.

На пляже ржавел остов морской баржи, выброшенной после гибели обстрелянного буксира. Иногда к берегу прибивалась мина: народ разбегался по домам и ждал приезда саперов.

То и дело кто-нибудь да тонул. Вытащенного из моря утопленника непременно пытались общими усилиями «откачать» — воду действительно откачивали, однако Алеша ни разу не видел, чтобы человек ожил. Что уж так отчаянно тонули? Трудно сказать: объяснение всякий раз давалось одинаковое — «дельфин защекотал». Дельфинов тогда у побережья держалось множество: возможно, по причине недопонимания человека они подвигались возвращать его в земную стихию, люди же, недопонимая дельфина, шли от страха ко дну.

В центре города стояла триумфальная арочка — небольшая, но вполне натуральная, сложенная из камней в честь стародавнего воинского успеха. У подножия ее возлежали две старинные пушки.

На высоком берегу, окруженные зарослями кизила и белой акации, сохранялись остатки усадьбы: вереи без ворот, постаменты без статуй, колоны без фронтона, крыльца и даже без самого здания.

В береговых осыпях попадались глиняные черепки — осколки греческих амфор.

Алешины родители были тогда еще сравнительно молоды и любили друг Друга. Но уже и в ту пору случались не лишенные тревожности разговоры, в которых отец просил маму оставить работу и сидеть с детьми, чтобы, наконец «образовался хоть какой-нибудь дом». Однако вздор, благополучно внушенный ей в юности, осенял все без исключения наиважнейшие ее шаги — просьбы отца наталкивались на возрастающее раздражение, и в конце концов семья развалилась. …Когда-то, в семнадцатилетнем возрасте, отрезав косу и повыкидывав из дома родительские иконы, Алешина маменька решительно ступила на стезю деятельности яростной и многотрудной: на знамени, которое она гордо несла через всю жизнь, аршинными буквами было начертано: «общественное» — для слова «личное» места недоставало. Обстоятельство это стоило ей в конце пути сомнений и разочарований.

Но Анапа находилась ближе к середине пути, там отец еще был с ними. Однако если сценки семейной обыденности тех дней смотреть на просвет, знак разрушения угадывался в них, как угадывается водяной знак на ассигнации или почтовой марке.

Для чего же дням этим суждено было запомниться? Уж не для того ли, чтобы однажды обнаружить, что вся остальная жизнь умещается на них, как чашка на блюдце? И вправду: утопленники открыли Алеше ненадежность и хрупкость телесного бытия и одарили не разгадываемой тайной смерти. Ночные разговоры родителей завершились в некоторое время уходом отца, доброту и страдания которого Алексей сумел оценить только тогда, когда родителя уже не стало, после чего, уверяясь, что идет непроторенною тропой и творит нечто доселе невиданное, сын принялся с изумительною точностью повторять череду множественных отцовских ошибок…

Повторив, кажется, все ошибки, Алексей мог делать достаточно достоверные предположения о своей будущности. Путь в эту будущность, по его представлению, начинался с той давнишней поездки в Анапу. Развалины старинной усадьбы, триумфальная арочка и амфорные черепки столь трепетно изобразили прельстительность прошлого, что ушедшие времена сделались для него с тех пор в высшей степени притягательными, а люди ушедших времен словно бы заключили с ним родство. Наконец, руины трехэтажного дома, полузасыпанная песком баржа, саперы на «студебеккерах» — печать войны коснулась и его дней: легонечко, но коснулась, и печать эта несмываема.

Обнаружив, что жизнь наша, сколько ни крутись, ни фантазируй, ни своеобразничай, легко умещается на пятачке раннего детства, он совершил благодатнейшее открытие, свет которого озарял с тех пор дни его и часы.

«Все — суета сует», — учит древняя мудрость. «Не надо дергаться», — говаривал примерно о том же Алешин отец, отродясь не читавший церковных книжек.

## Три главных счастья

Пригласили освятить дом в Женеве. Теперь такое случается: множество наших соотечественников разлетелось по всей земле в поисках лучшей доли. Вот и сестра нашего диакона врач — улетела в Швейцарию. Диакон давно уже уговаривал меня, а я все отказывался и, если выпадали свободные дни, отправлялся отдохнуть в деревню, но тут дал слабину.

— Знаю, — сказал диакон, — что заграница вам до лампочки, знаю, но Швейцария — это не абы что, это — сердце Европы. А самое главное — сестру поддержать надо: нашла она там себе классного жениха — врач тоже, он влюбился, начал разводиться с женой, и вот уже пять лет делят имущество и конца края не видно… Адвокаты встречаются, ведут переговоры: то банковские проценты поменялись, и чего-то там надо пересогласовать, то цена на недвижимость в одном месте возросла, в другом снизилась, и какое-то там несоответствие… Она ему, мол, брось ты все — по новой заработаем, а он не врубается: как так — это же мои деньги, мои дома? Короче: не русский человек — и все тут. А время идет: то ей было двадцать пять, а теперь — тридцать… Можем и порыбачить: там ведь и озеро есть Женевское, и речка, небось, какая-нибудь…

Я попросил его избавить мой слух от «классного», «не врубается» и «до лампочки». Он обещал. Диакон по молодости горазд украшать свою речь словечками не самого высокого штиля, за что иногда и претерпевает от старшего духовенства. В воспитательных целях.

Прилетели. Два дня прошли в переездах: освящать пришлось и дома, и клинику, и машины. То Франция, то Швейцария, то снова Франция — там как-то все рядом, все перемешано… В каждом доме радушный обед, протокольные разговоры о ценах, калориях и холестерине… Нелепые судьбы, витиеватые жизни, иссыхающие русские души… И все оправдываются, сами себя убеждают в своей правоте. Одним не доставало понимания, другим — возможности развивать науку, третьим — жалования.

Бывший университетский профессор объяснил свой переезд тем, что Россия кончилась. Правда, начал он с русской литературы. Сказал, что есть у него приятель — военный дипломат, полковник генштаба: человек образованный, неподкупный и даже верующий. Но случись сейчас кому-то писать «Войну и мир», Андрей Болконский с него не получится — лишь капитан Тушин, человек хоть и прекраснодушный, но простоватый, не утонченный, не аристократичный. А Болконских, Безуховых и Ростовых давно повыбили, истребили, их место заняли те, кого прежде и в курную избу не пустили бы: местечковые куплетисты… Потому-то в

русской литературе теперь одни мужики…

На третий день случился ваканс, и нам было предложено посетить дом-музей свободолюбивого философа, могилу комика и памятник рок-музыканту.

Диакон не по возрасту тяжело вздохнул:

— Ни одного приличного человека… То ли дело у нас: приедешь в Белгород — святитель Иоасаф Белгородский, в Питер — отец Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, в Ярославле, Тобольске, Астрахани, я уж не говорю про Москву, — везде свои люди… Они меня понимают, знают мои грехи, сочувствуют мне, за меня молятся… А тут — даже в земле ни одного приличного человека нету… Что же из такой земли может произрасти?.. Конечно, Александр Васильевич Суворов — человек духовный, не вынес, чесанул прямиком через горы…

— За «чесанул», — говорю, — десять поклонов.

Он парень спортивный, быстро совершил десять земных поклонов, и мы предложили сестре другой план: пусть она отвезет нас в центр города и едет далее в свою клинику, а вечером созвонимся и встретимся.

И пошли мы, свободные люди, гулять по Женеве. В гражданском платье, конечно.

— Я же говорил: речка есть, — обрадовался диакон. — А вон на мосту мужик рыбу ловит, надо спросить его…

Подходим. Пожилой, простецки одетый дядечка, достает из воды свою снасть, озабоченно осматривает нетронутого червяка и задумывается: похоже, у него не клюет. Диакон спрашивает по-французски, какая здесь есть рыба и где есть магазин для рыболовов. Человек не понимает ни слова.

— У тебя, — говорю, — прононс, наверное, какой-то неправильный.

— У меня-то, — отвечает, — как раз самый правильный, я французскую спецшколу с серебряной медалью окончил, а вот у швейцарцев, может быть, прононс и неправильный.

Пока мы переговариваемся, человек напряженно вслушивается. Я повторяю вопросы по-английски — он снова мотает головой.

— А у вас как с прононсом? — уязвляет меня отец диакон.

— Да какой там прононс, — говорю, — я уж не помню, когда и учился. Может, он по-немецки разговаривает… Ты какие-нибудь слова знаешь?

— Ну, фишер он и есть фишер…

— Кирхен, — говорю, — киндер, винтер…

— Короче, — сказал рыболову диакон: — Где нам достать это и это? — и ткнул пальцем в грузило и в червяка.

Тот вдруг как затараторит на непонятном наречии и указывает рукою вдоль набережной, потом куда-то налево.

— Ты кто есть? — говорит диакон.

— Португал, — отвечает рыбак.

— Так бы сразу и сказал. Ну, по-португальски мы совсем не потянем…

— Подожди, — говорю, — он ведь вроде что-то по-русски понимает.

Португалец кивнул, наморщил лоб и сказал:

— Мой жена — русский.

Диакон так возрадовался:

— Вот, сразу почувствовал, что он свой мужик: усатый, и фигура, как у духовного лица, расширяющаяся. Только вот словесностью не богат… У тебя давно жена русский?

— Один год.

— Тогда ничего, — согласился диакон, — для первоклашки неплохо… Ну ладно, португалец, привет супруге, мы пойдем в рыболовный магазин…

А португалец вдруг говорит, что ходить в магазин не надо: рыба, дескать, совсем не клюет, а ходить надо в маленький итальянский ресторан, где собираются его земляки и поют хорошие песни.

По дороге выяснили, кто, чем занимается. Он еще пару лет назад работал в Португалии на фабрике стройматериалов, поставлял товары в Россию. Познакомился с русской женщиной, оба вышли на пенсию и поселились неподалеку от Женевы, поскольку у его родной фабрики здесь есть представительство и оттого случается значительная подработка. Еще обсудили Фатимское чудо, за ним — футбол, наконец, рыбалку, которая то и дело не задается, потому, как ветер всегда меняется, а давление неизменно падает. Дальше уж не знали, о чем говорить, но тут подоспел ресторанчик; тихий, уютный, и народу — почти никого.

Диакон пытался через португальца сделать заказ, даже ходил на кухню, чтобы выбрать блюда, а то названия все непонятные, и оскорбел:

— Дикая страна, — говорит: — нет ни водки, ни соленых огурцов, ни кислой капусты, а селедка — сладкая, хоть с чаем ее вместо варенья ешь… Куда мы попали?.. Причем, водка в принципе есть, — но не сейчас, сейчас — только аперитив… Вечером можно, а сейчас нельзя… Надо просить разрешения у хозяина, а он неизвестно где… Да и водка дрянная — итальянская… Не понимаю: мы с вами — свободные, взрослые люди, честно отработали, хотим выпить по сто граммов водки… Ну, по сто пятьдесят… Не имеем права — днем не принято. И это называется «демократия»? Дикие люди! Придется глушить вино — выбирал португалец…

Потом собрался народ, и стали петь под гитару красивые португальские песни. Мы послушали-послушали, и диакон говорит;

— Благословите, батюшка, я чего-нибудь сбацаю.

— Благословляю, но за «сбацаю» десять поклонов после победы.

— Это как?

— Ну не здесь же тебе лоб разбивать, а по возвращении… Во время войны с летчиками так поступали: он натворит что-нибудь, а под арест его не посадишь — нужен в воздухе. Так и

наказывали: пять там или десять суток ареста, но «после победы». И еще: без фокусов, никакого «папы над Тибром-рекой».

Последнее касалось известного нам обоим случая. Как-то наши собратья были направлены в Италию для совершения особо важного богослужения. После службы они вот так же зашли куда-то перекусить, и там устроилось песенное состязание с местными исполнителями. Отец протодиакон потряс всех мощью своего голоса: народ безудержно аплодировал, а одна старушенция разрыдалась. Ее утешать, а она в ответ, мол, тут даже папа Римский заплакал бы от восторга. И тогда отец протодиакон как заревет: «О чем, папа, плачешь?» И далее до конца. Хорошо, что никто из местных не понимал, — всем понравилось.

— Не будет папы, — неохотно пообещал диакон.

И как начал он петь наши песни, а голос у него чистый, красивый, португальцы расчувствовались, и давай в благодарность вино присылать. Так что домой мы вернулись с двумя ящиками.

Вот, собственно, и все развлечение: с португальцами, в итальянском ресторане, на тихой швейцарской улице. Назавтра улетали. Диакон смотрел в окошко, и когда ярко-красные черепичные крыши Европы сменились под крылом унылым отечественным шифером, подвел итог путешествию:

— Погибла Россия или не погибла — одному Богу известно. А Европа с ее деньгами и обустроенностью — такая тухлятина! Никакой радости в этом нет…

— А в чем, — говорю, — есть?

И он, заработав попутно целую сотню поклонов, высказался в том смысле, что есть только три главных счастья: быть православным, жить в России и в России умереть.

— Но спасаться в сердце Европы легче, чем у нас, — неожиданно заключил он, — искушений меньше. Можете сказать об этом вашим друзьям в Троице-Сергиевой Лавре.

— Почему легче? — не понял я.

— Вы видели там женщин?..

— Ну… наверное, — говорю.

— То-то и оно, что «наверное». А в Москве женщин видели?

— Конечно, — говорю, — видел.

— То-то и оно, что «конечно». Потому у нас спасаться труднее.

## Несокрушимая и легендарная

Ночью выпал снег, и автоматчики, садившиеся в кабину пилотов, сказали:

— Специально к вашему приезду: теперь сверху не то, что человека — любой след видно, хоть заячий. Пороша…

Потом, в вертолете уже, худощавый полковник, стараясь перекричать вой турбин, втолковывал мне, что до сих пор все откладывал крещение, ждал, когда «созреет и осознает», а тут понял,

что надо срочно, надо немедленно…

Ну, немедленно не получалось: мы — толпа военных и штатских — стояли в брюхе транспортного Ми-6, хватаясь друг за дружку на виражах.

Проплывали под нами предгорья с оставленными позициями: на каждой возвышенности — пулеметное гнездо, ходы сообщения. Потом появились батареи врытых в землю пушек и самоходных установок, наконец, полковник, указывая вниз, прокричал:

— Урус-Мартан!

Сели на окраине, возле старого сада. Несколько человек вышли здесь, и вертолет отправился дальше.

— Жена мне сколько раз говорила: «Крестись! Крестись!» — продолжал полковник. — У нас и церковь-то рядом с домом. А я все как-то… «Ты, — говорит, — к примеру, Родине присягу принес? Народ тебя одевает, кормит, а ты выполняешь свой воинский долг перед ним. Крещение, — говорит, — присяга на верность Богу, и с этого момента ты уже не просто воин, а воин Христов»…

— Мудрая у вас жена.

— Да так-то она — самая обыкновенная, но касательно веры — откуда, что и берется.

Нам было по пути, однако он торопился и убежал вперед. Я шел вдоль сада, забитого бронетехникой, вдруг меня окликнули:

— Отец, ты как здесь оказался?

Солнце поднялось над горами, светило прямо в глаза и не позволяло разглядеть лица воинов, сидевших высоко на броне.

— Оказия была, — говорю, — вот и оказался.

Прикрыл ладонью глаза и перешел в сторонку, чтобы увидеть их: один — лет тридцати пяти, другой — мальчишка.

— Отец, — сказал старший, — у тебя минутка есть?.. Я что хотел сказать: здесь быстро все понимаешь. — Он расстегнул ворот и показал крест, висевший рядом с жетоном.

Молодой следом за ним проделал то же самое.

— И еще, отец, — добавил старший, достав из внутреннего кармана сложенный вчетверо тетрадный листок. — Вот мой бронежилет.

Развернул: «Живый в помощи Вышняго…» — девяностый псалом, именуемый в народе «Живыми помочами». Я дал каждому по молитвослову, маленькому, в твердом переплете.

— То, что надо, — сказал старший. — И в карман влезает, и не помнется. А у нас и подарить тебе нечего.

— У меня есть. — Младший тоже слазал во внутренний карман и протянул мне нарукавную нашивку воздушно-десантных войск.

— Для дембеля берег, — уважительно произнес старший, — хотел домой, как положено: при всем параде явиться… Ну, ты уж напиши там, на память батюшке…

И пока тот карябал что-то шариковой ручкой по нашивке, тихо объяснил:

— Я-то механик-водитель, контрактник, а он — пулеметчик, срочник… Сберечь бы мне его да мамке вернуть.

На память мне написали: «ОРБ» — Отдельный разведывательный батальон — и номер…

Потом в шатровой палатке я крестил троих солдат, полковника, у которого была мудрая жена и другого полковника, про жену которого, да и про самого, я ничего не ведал. Тут на нашем участке началась работа: ударили пушки, реактивные установки… Вертолеты то и дело садились неподалеку от палаток и, пополнив боезапас, вновь отправлялись бомбить и обстреливать.

А когда мы пошли вокруг купели — таза, приставленного к буржуйке, наступила вдруг тишина: «Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся, аллилуиа», — петь легко-легко… «Вот, — думаю, — чудеса: пушки, и те замолкли»… Крупнокалиберный пулемет, правда, отстукал несколько очередей, но это для того, наверное, чтобы из-за чудесного молчания артиллерии мне не впасть в прелесть — иначе говоря, в духовный самообман.

Влетает капитан с автоматом:

— Долго вас ждать-то?

Похоже, ему нужны были крестившиеся воины.

— Мы сходим за них, — сказал один из крестных — тоже солдат.

Капитан только теперь, кажется, начал понимать происходящее:

— Не надо, оставайтесь, — и вышел.

Он дождался нас возле палатки, сказал: «Теперь у меня — все крещеные», построил бойцов, и они ушли в сторону гор.

Опускались сумерки — пора было возвращаться.

Дорогой меня нагнал бронетранспортер, остановился:

— Батюшка, у вас нет крестика? — на броне сидел веселый парнишка.

— А что ты так смеешься-то?

— Да раненого сдавали… Крови много потерял, температура — на нуле. Доктор спрашивает: «Что у тебя?» А тот: «Лоб потрогаю, — говорит, — вроде покойник, пульс пощупаю — вроде живой, ничего не понимаю». Как уж мы носилки не выронили…

— А раненый-то жив?

— Куда он денется?.. Во!.. «Корова» летит — Ми-6, значит. Вам на него?

Я кивнул и передал ему пакетик с освященными крестиками:

— Дашь ребятам, кому понадобится…

— Вот за это спасибо преогромнейшее, но вы поспешайте, а то они ночью летать не любят… Как вообще впечатление-то?

— Да у меня, — говорю, — с детства и на всю жизнь одно впечатление: несокрушимая и легендарная…

— Да-а, — задумчиво протянул весельчак, — победить нас, пожалуй, нельзя… А вот предать можно…

Вертолет летел без света в салоне, без бортовых огней, слившись с темнотой ночи.

## Счет

Брату было шесть, сестре — двенадцать. В конце лета их вывезли из Москвы.

Вокзал, ночь, затемнение. Крики, плач. Холодные, неотапливаемые — чтобы не было искр над крышей — вагоны. Ни матрацев, ни одеял. На нижних полках самая мелкота валетом по двое, на верхних — старшие по одному. Наглухо зашторены окна, но свет все равно не зажигают — фонари только у проводников.

Полустанки, разъезды, станции. На станциях — кипяток. Воспитатели заваривают в бидонах чай — морковный, фруктовый, выдают сухие пайки. Семафоры, водокачки, стрелки, тупики, мосты, у мостов охрана, зенитки.

Далекая заволжская станция, колонна крытых брезентом грузовиков, разбитый проселок, лужи, грязь. Лес, убранные поля, среди полей — деревеньки. Снова лес, лес, лес. Наконец двухэтажное здание бывшего дома отдыха.

Среди ночи подъем — «тревога». Директор интерната — лихой, веселый мужчина в морской фуражке и летчицкой куртке, с кобурой на боку — выстраивает в коридоре старших, сообщает, что в районе кладбища высадился вражеский парашютист, которого надо обезвредить, и приказывает: «Вперед! Стране нужны только сильные и смелые люди!»

Гонит их на погост, заставляет ползать между могилами, дает «отбой». Одних благодарит «за смелость и мужество», другим выносит взыскания «за предательское малодушие». «Тревоги» отныне следуют через ночь, по ночам же устраиваются пионерские сборы и заседания совета дружины.

Однажды на легковой машине прибывает начальство — гражданское и военное. Осматривают противопожарный инвентарь, заглядывают в продовольственную кладовку, дровяной сарай, проверяют документы у взрослых, и, к всеобщей неожиданности, интернат оказывается без директора.

— Это недоразумение, — успокаивает он растерявшихся подчиненных, — кое-каких записей не хватает.

— На фронте добавят, — мрачно шутит военный и протягивает руку: — Оружие…

Директор расстегивает кобуру, передает револьвер и стыдливо опускает глаза: «Ненастоящий».

За неимением выбора новым руководителем назначается доставленный из ближайшей деревни бывший конюх.

— Титов? Иван Валерианович? — спрашивает военный, разглядывая конюхову справку.

— В точности так, Аверьяныч я.

— Действуйте.

С тем и уехали.

Первым делом воспитательницы робко поинтересовались, как часто будут теперь устраиваться «тревоги». Аверьяныч, не успевший еще, кажется, осознать, что сталось, обвел всех рассеянным взглядом и тихо сказал: «Пошто зря ребятишек мучить? Да и покойников тревожить грешно…»

Собрали во дворе детей, представили им нового директора.

— Вот что, — проговорил он, когда толпа, обсудив случившееся событие, попритихла. Откашлялся и повторил: — Вот что… Война, по всему видать, к зиме не кончится, стало быть, про дрова думать надо, про харчи. Запасов ваших… наших то есть… надолго не хватит. Так что, хорошие вы мои, жизнь у нас с вами пойдет такая: которые еще совсем малые — не ученики, — тех за ворота не выпускать, не потерялись чтобы. Остальные — и вы, гражданки учителки, тож, извиняйте, конечно, — разделимся на бригады, работать будем: дрова заготовлять, грибы, ягоды…

— Урра-ааа! — закричали дети.

— Поголовье сохранить надобно, — сказал еще он, но этих слов никто уже не услышал.

«Здорово-то как! — подумала сестра. — Жаль, что война скоро кончится». Предыдущим вечером она по просьбе старухи нянечки читала вслух письмо из Ленинграда. Письмо было июльское, читанное не единожды, старуха знала его наизусть и, одобрительно кивая, повторяла шепотом: «Дедушка ваш задерживается… по причине военных действий… дороги закрыты… временно… до октября… от Коли весточки нет… Алеша уехал… учиться на танкиста… Маруся». «Маруся — это невестка моя, — объясняла старуха, — Алеша — внучек, Коля — сынок, он моряк у меня, в плавании, а дедушко, вишь, попроведать внучека поехал, всего на неделю-то и собирался, да вот — по причине, до октября».

Шел сентябрь.

Аверьяныч спешил. Грибов запасли быстро: насолили, насушили, должны были вот-вот управиться и с ягодой: клюквой, брусникой. С дровами дело обстояло куда хуже: работники годились лишь, чтоб собирать хворост. Конечно, начальство обещало прислать на несколько дней пару-тройку леспромхозовских вальщиков, но Аверьяныгч, как всякий бывалый человек, следовал принципу: «На Бога надейся, а сам не плошай». Когда они смогут выбраться, лесорубы-то, да и достанет ли им времени заготовить дров на всю зиму — как-никак плита и четыре печки… Каждое утро, затемно еще, уходил Аверьяныч в лес, валил тонкомерные сухостоины, обрубал сучья, а хлысты выволакивал на просеку, с тем, чтобы вывезти их потом на санях. Пока топили остатками прежних запасов.

Дни становились короткими, темными, снег шел, дождь моросил. Детей теперь не выпускали из дома. Болезни начались. Карантин отделил первый этаж от второго, и сестра, жившая со

старшими на втором этаже, скопив косточек от компота, заворачивала их в бумажный фантик и опускала на нитке к форточке первого этажа — брату, гостинец.

Нянечка получила новое письмо: «Зачем вы только старика своего прислали? И так есть нечего, а тут еще он. Работать, видите ли, не может, только лежит да за сердце держится, а чем я его кормить буду? Знали, что больной, так и не присылали бы на мою шею нахлебника. Будьте вы прокляты!»

— Фашистка! — возмущенно воскликнула читавшая письмо сестра.

— Не знала я ничего, — качала головою старуха, — здоров ведь был, не хворал ведь… Да и войны тогда не было… Дедушко ты мой, дедушко, прости… — Она стянула с головы платок и долго сидела так, в неподвижности, не утирая слез.

Карантин вскоре пришлось отменить — чихали и кашляли сплошняком все. Докторша не успевала ставить банки. Запасы лекарств, и без того ограниченные, иссякли.

— Что у тебя осталось? — спросил Аверьяныч.

— Канистра спирта, литр йода, бинты, — отвечала докторша.

За полканистры спирта он выменял где-то мешок горчичного порошка, за пузырек йода — корзину сушеной малины. Можно было лечить.

Весь вечер жарко топилась плита, пар из кухни валил, точно из бани; с ведрами, полотенцами бегали нянечки, воспитательницы, учителя, директор: понаставили всем самодельных горчичников, понапарили ноги, а потом еще напоили всех чаем с малиной и до утра меняли простыни у малышей. Утром интернат начал выздоравливать.

Но Аверьяныч попросил еще один пузырек йода — на обмен: «Ослабли ребятишки, мясцом бы их подкормить». Однако мяса, против ожидания докторши, он не принес, зато принес дроби, пороху, и со следующего дня самым хилым да хворым стало перепадать по кусочку зайчатины или другой дичины. Потом навалило снегу, и старик охотиться перестал. Однажды еще он сменял двести пятьдесят граммов спирта на раздавленную лошадью курицу, но потом уже и менять нечего стало.

Поехал Аверьяныч в райцентр. Дали ему мешок овсяной муки, подводу картофеля, подводу моркови, бочку керосина, соль, спички, мыло.

Под Новый год Аверьяныч взял на берлоге медведя. Как это было — никто не видел, никто не знал. Когда директор вернулся, руки у него тряслись — не то от усталости, не то от пережитого. Но отдыхать было некогда, следовало поскорей вывезти тушу, чтоб волкам не досталась. И тут же, потемну, взяв с собой самых крепких теток из интернатского персонала, отправился он на санях в лес. Дорогой заставлял напарниц петь погромче, и они усердно блажили, а на обратном пути Аверьяныч, шедший за санями, то и дело поджигал в руках пучки сухих еловых веточек и, дав разгореться, бросал в снег. И уж неподалеку от дома, услыхав вой, он разочек бабахнул для острастки из двух стволов, так и добрались.

Медвежатины хватило надолго, но вот дрова скоро кончились: и прежние запасы, и заготовленные хлысты сушняка. Аверьяныч перевез в интернат собственные — все до полешка. «Январь протянем, — прикидывал он, — там штакетник начнем палить, а потом?» Снова собрался в город, но тут, наконец, нагрянули лесорубы. Не вальщики, правда, а вальщицы — мужиков и в леспромхозе не оставалось. Зато целая бригада: со своими харчами, своими

лошадьми и даже с сеном для лошадей, а главное с бензиновой циркуляркой, которой можно было кряжевать бревна.

Женщины разместились было в интернате, но уже вечером стало ясно, что это ошибка: дети плакали, кричали наперебой: «Это моя мама», «Нет, моя», — просились на руки… Измученные вальщицы провели полночи в слезах и рыданиях. Пришлось переселить их в деревню, в пустующую Аверьянычеву избу. Отработали они неделю без продыху и уехали. Глядя на заваленный чурками двор, директор объявил: «Теперь не замерзнем».

Вскоре после Нового года нянечка получила очередное письмо: «Дедушка умер. Похоронила я его хорошо. В Колину рубашку одела. Помните, ту, с украинской вышивкой, почти не ношенную. На кладбище свезла и даже колышек с дощечкой в землю заколотила, чтобы знать место, а то хоронят там всех вперемешку. Пишу я из Вологды. Меня эвакуировали сюда как тяжелораненую. Во время бомбежки завалило меня и перебило обе ноги. Хоть нынче я и без ног, но все плачу от счастья, что живая. Мама, страшнее того, что я видела и перенесла в Ленинграде, быть ничего не может. После блокады и ад раем покажется. От Коли так весточки и не было, и про их корабль ничего узнать мне не удалось. Да теперь я Коле такая и не нужна. Лешенька писал шесть раз из Москвы, потом там наступление началось и что-то нет писем. Простите меня, мама, за все и прощайте. Адрес свой я вам сообщать не буду».

В конце января докторша ездила на станцию, получила медикаменты, и у Аверьяныча вновь появился обменный фонд, с помощью которого он сумел полностью укомплектовать интернат теплой одеждой и валенками. Не все, конечно, было новым, не все — нужных размеров, и взрослые теперь по ночам шили, кроили, штопали. «Покрепче, главное, — наставлял директор. — Пусть не так баско, но покрепче — нам долго еще тут куковать». Сам он подшивал валенки.

Брат писать еще не умел, он нарисовал отцу поздравительную открытку: танк со звездой. На обороте сестра написала: «Дорогой папочка! Поздравляем тебя с Днем Красной Армии! Желаем перебить всех фашистов! Я сочинила стихотворение: «Жду тебя, и ты вернись, только очень жду…» Заканчивалось стихотворение словами: «Просто я умела ждать, как никто другой». Спустя время пришел ответ: «Хорошие вы мои, дорогие! За поздравление спасибо. За «стих», если вернусь, — выпорю», вот и все, что было в конверте со штемпелем: «просмотрено военной цензурой».

Немного совсем оставалось уже до весны: «Скорее бы таять начало, — вздыхал Аверьяныч. — Тетеревов, глухарей добудем, соку березового попьем, а там, глядишь, утки поприлетят, гуси — все перепадет хоть что-нибудь. Чахнут ребятишки-то… Дотянуть бы до Егорьева дня, дальше легче: хвошипестыши повылазят, другая травка — подлечимся. Бывало, на Егория скотину выгонишь, побродит она по отмерзшей земле под солнышком, подышит ветерком, чего-ничего пощиплет и — где хворь, где худоба?»

Не дотянули: корь, коклюш, скарлатина. Три палаты пришлось превратить в изоляторы, власть взяла докторша: «Полная дезинфекция, марлевые повязки, проветривание помещений…» «Усиленное питание», — чуть было не скомандовала она машинально, но спохватилась и промолчала.

Брат заболел скарлатиной. В палате рядом с ним лежала дочь докторши. Остальные скарлатинники выкарабкались кое-как, а этим становилось все хуже и хуже — не повезло, тяжелая форма.

Наступила ночь, которая должна была стать для них последней. «Сорок и восемь, сорок один и две», — записав показания градусников, докторша вдруг спросила нянечку:

— От вашего сына… ничего нового нет?

— Нет, — отвечала старуха. — Ни от сына, ни от внучека. — И вдруг заплакала. — Невестка писала, что…

Но докторша перебила ее:

— А кто родители этого мальчика… не знаете?

— Этого? Как не знать — знаю, сестра евонная мне рассказывала. Отец воюет у них — командир, а мать… запамятовала, кем она… Одним словом, в Москве, в столице самой… Там рядом и Алешенька в наступлении…

— А мне муж писал, что должен вот-вот отпуск получить, — задумчиво проговорила докторша. — Навестить меня собирается.

— Дак вы уже сказывали мне… Это, конечно, дело хорошее.

— Идите, отдохните немного, скоро светать начнет.

— А вы управитесь?

— Чего ж теперь не управиться? — докторша холодно улыбнулась.

Старуха пошла будить Аверьяныча — Желанный, ты уж подымайся: надобно два домика сострогать, кончаются ребятишки-то…

— Дура! — он свесил с кровати босые ноги, протер глаза. — Городишь незнамо что! Кто ж живым людям гробы робит? Кикимора! Для себя самого еще — куда ни шло, а для других… Да не реви ты, буде, наголосимся еще.

К рассвету девочка умерла. Мальчик же стал поправляться и вскорости совершенно выздоровел.

А муж к докторше так и не приехал — никакого отпуска он получить не успел.

После войны сестра окончила педагогический институт, получила распределение в Ленинград и до пенсии преподавала литературу в детских домах.

Брат стал крупным физиком. Он то ездит по заграницам, выступая на симпозиумах и конгрессах, то катается на лыжах с каких-нибудь солнечных гор. В редкие дни, когда он дома, собираются у него гости, — такие же, как он, ученые люди. Они любят петь под гитару о дождях, комарах, кострах и разлуке, поют отрешенно, самозабвенно. Любят беседовать о «безграничных возможностях человеческого мозга», о «величии силы познания», о том, что «умение считать только и может спасти человечество от катаклизмов». «Главное — счет», — частенько повторяют они.

Давным-давно нет Аверьяныча, старухи нянечки, нет и докторши. Тяжкий ей выпал жребий: в ту далекую зимнюю ночь у нее было двое смертельно больных, а доза пенициллина — чудо-лекарства, присланного из Москвы, могла спасти только одного…

## «Ехал я из Берлина…»

Когда началась война, Борьку пристроили денщиком к важному командиру. Сашку пока не

надо было пристраивать — годов не хватало. А он взял да и убежал. В местечке говорили, что во всем виноват священник, с сыном которого Сашка был дружен. Дескать, ходил к ним в дом, портился, портился и со временем испортился до того, что выкинул этот неумный фортель и воюет теперь на передовой.

Был он балагуром, шутником, слегка разгильдяем, а такие в окопах ценятся. Правда, за достоинства он однажды и пострадал. Прибыв как-то с донесением в штаб, Сашка решил перед обратной дорогой слегка вздремнуть — день выдался жарким, и бойца разморило. Только устроился в тенечке под деревом, подходит офицер: «Ты, брат, с передовой?.. Чего там у вас нового?.. Совсем ничего?.. Жаль… Да мы тут, корреспонденты, сидим и который день никаких новостей — ничего передать не можем, начальство ругается». А по всему фронту тогда действительно было затишье. Уснул Сашка, но его опять разбудили: пришел другой корреспондент. Потом — третий. Разговаривать с ними доблестному воину надоело, и он брякнул: «Фон Бока в плен взяли». Третий убежал. Потом приходили еще какие-то, может, даже первый и второй, переспрашивали, и Сашка, не открывая глаз, сквозь сон отвечал: «Взяли, взяли… Фон Бока… да». А корреспонденты бросились на узел связи, созвонились с Москвой, там проверили, сказали: дезинформация. И тут Сашку разбудили всерьез — двое автоматчиков. Объясняться пришлось в особом отделе. А он только и мог сказать: «Они спать не давали». «Что мне с тобой делать?» — спросил особист. «Отправьте домой, товарищ майор, в смысле на передовую», — попросил Сашка. «Опять шуточки? Отправлю, но сначала сортир вымоешь до полного блеска, а то эти корреспонденты все загадили». — «Разрешите выполнять, товарищ майор?» — «Выполняй. Потом доложишь мне — я проверю».

Война Сашкина протекала, на его взгляд, великолепно: всего три ранения, и те — легкие, он даже в тыловые госпиталя не попадал. И с перевязанной грудью, и с подвешенной на шею рукой, и с костылем дальше медсанбата не отлучался. Заслужил две «Отваги», «За освобождение» и «За взятие» городов и вывел название своей части непосредственно на рейхстаге.

У Бориса баталия оказалась совсем иной: всегда при генерале, при теплых штабах, а уж наград без счету. Но и Борис получил ранение. Обидное — в самом конце войны. Когда их танковая колонна вошла в очередной чешский город и Борис, сидя на броне рядом со своим генералом, готовился ловить букеты цветов, как это было доселе, кто-то открыл огонь. Командующий спрятался в люк, Борис вниз головой нырнул следом, однако карманы галифе у него были набиты всякими боевыми трофеями, и он застрял, так что нижняя половина туловища с дрыгающими ногами осталась над танковой башней. Вражеская пуля попала в такое место, что ранение сделалось вдвойне обидным. Бориса наградили орденом, какового у него еще не было, и отпустили домой. Пользуясь штабной связью, он разыскал младшего брата, и они договорились возвращаться на родину вместе.

Ехали в литерном поезде, в прекрасном вагоне, отдельном купе. Сашка пригласил офицеров и пировал, рассказывая без умолку байки и анекдоты, а Борис ничком покоился на верхней полке, с трудом опрокидывая подносимые стопари. Когда все разошлись и Сашка рухнул, чтобы уснуть, Борис похвастался, что везет с собой целый вагон добра. Свесив голову, он говорил про дворцы и замки, где размещался на постой генерал, про музейные ценности, антикварное оружие, напольные часы, обещал поделиться… Младшему брату это было совершенно неинтересно, и он захрапел.

На другой день празднование победы продолжилось: все так же сидели за столом офицеры, все так же лежал на верхней полке Борис. Он никак не возражал против гостей — гости помогали ему спуститься, когда настигала надобность. И вот в какой-то момент, когда Сашка из купе отлучился, офицеры стали обсуждать слух о проверке, которая будто бы ожидает всех то ли в

Бресте, то ли где-то еще. Дескать, энкавэдэшники устраивают жестокий шмон, и один генерал уже лишился звезд всего за пульман трофеев.

Борис попросил снять его и потихоньку ушел в направлении хвостового вагона. Отсутствовал долго — часа два, так что о нем уже все забыли. Вернулся измочаленный, с двумя сабельками в руках. Сабли затолкали под стол, раненого подняли на полку, и все продолжилось своим чередом. Ночью голова, свесившаяся с полки, заплакала: целый вагон антиквариата пришлось опростать — всех здешних стрелочников до конца дней процветанием обеспечил! Младший брат, не выразив нисколько сочувствия, опять захрапел.

А в Бресте никакой проверки и не случилось.

Борис хотел застрелиться. Офицеры успели отнять наградной пистолет и спрятали его внизу — благо раненый самостоятельно не умел спуститься.

В общем, доехали сабельки да напольные часы, которые не удалось вытолкнуть из вагона по причине болезненности задних мышц.

После войны братья оказались в Москве: Сашка стал водителем автобуса, а Борис — хозяйственником в министерстве. На семидесятилетии старшего брата, когда вспоминали о войне и дошли до возвращения в литерном поезде, Сашка между прочим обмолвился, что это он и пустил слух про шмон. Борис долго смотрел на него с недоумением, а потом произнес:

— Зачем?

— Ты ж мне спать не давал: только глаза закрою, а ты про всякую ерунду.

— Ничего себе ерунда — целое состояние!

— Да пропади оно пропадом, — и зевнул.

И полились на него яростные стенания. Но Сашка недолго слушал, он сказал: — «Спать охота», и уехал домой.

## Лестница

Году в пятьдесят четвертом или в пятьдесят пятом отец ездил по службе в Калининградскую область и, вернувшись, рассказывал матери о поездке. Рассказывал при мне, справедливо полагая, что некоторые подробности не будут поняты мною по малолетству. Я и не понял тогда. Но память, оказывается, запечатлела. Для чего-то понадобилось…

Легковую машину, в которой отец ехал по шоссейке, остановил человек с красной книжечкой и попросил подвезти до какого-то населенного пункта. Дорогой разговорились, человек выяснил все, что его интересовало (люди с красными книжечками имели тогда на это полное право), а потом рассказал, что и сам он — москвич, но с тридцатого года в столице не бывал… Дальнейшие его откровения представляются мне труднообъяснимыми: то ли обида его была столь велика, что пересиливала и страх, то ли наступившее время казалось совсем безмятежным, то ли они с отцом крепко выпили, то ли — все это вместе, однако чекист сообщил, что из Москвы его убрали «за лестницу».

В день гибели Маяковского он — в ту пору молодой солдатик или курсант — дежурил на Лубянке и в числе первых прибежал к месту трагедии — квартира поэта была рядышком, по соседству. И видел лестницу, приставленную к окну с торца дома. Потом, когда он вернулся из

квартиры на улицу, лестницы уже не было. Между тем, окно располагалось очень высоко, и стремянка была столь длинной, что одному человеку ее уж точно было не унести. В тот же день он написал отчет, в котором высказал предположение, что неизвестные могли проникнуть в дом по этой стремянке, причем их должно быть трое, а то и четверо, — и очень сильных физически, иначе эту стремянку не принести и тем более — не поставить к стене, и куда она делась потом — непонятно… И вправду, эти трое или четверо физически сильных должны были куда-то оттащить ее — куда-то совсем недалеко и там спрятать… Назавтра проницательный молодой службист был высочайшим указом отправлен в далекое Забайкалье.

Однажды, встретившись в провинциальной командировке с бывшим сослуживцем, понял, что разбросали их по стране за злополучную лестницу. Впрочем, им еще повезло: кто-то из более опытных чекистов вообще исчез — вероятно, обнаружил нечто непредусмотренное — в самой квартире.

Завершая свои краткие откровения, он сказал, что дом этот скоро взорвут или перестроят, чтобы начисто исключить возможность следственных действий.

Действительно, скоро — не скоро, а в свой час и этот дом, и «Англетер» перестроили, а дом Ипатьевых — тот взорвали.

## Туда и обратно

В тот год Сережа Белов научился плавать. Сначала по-собачьи, потом — нельзя сказать, чтобы брассом, но — похоже и наконец — саженками. Дело происходило в Мышкине, славном приволжском городке, хранившем следы былого провинциального величия в виде двух грандиозных соборов, торговых рядов на главной площади да еще — некоторого числа кирпичных зданий старой постройки: крепких, с украшательной витиеватостью в кладке. Сережа был москвичом — родители его снимали здесь дачу.

Плавал он вдоль плотов, причаленных к берегу. Кто-то из взрослых сказал, что длина плотов — сто метров. Сумев одолеть расстояние пять раз, Сережа решил, что может теперь переплыть Волгу, и начал пристраиваться к ребячьим компаниям, которые время от времени подвигались на это предприятие. Старшие ребята его не брали — он было сунулся к ним, да не выдержал испытания: «Саженками можешь?» — «Могу». — «А по-собачьи?» — «Тоже могу». — «А топором?» — «Нет!» — радостно отвечал Сергей. «Тогда не возьмем». Такое испытание, значит.

Что же до его сверстников — все они находились под присмотром, и заплыв мог состояться лишь в случае удачного соединения обстоятельств, иначе говоря, — при одновременном отсутствии родителей, бабок, старших сестер, дядь и теть. Ведь достаточно было кому-то из них обнаружить детишек удаляющимися от плотов, тут же организовалась бы погоня. Ну и, само собой, готовиться к заплыву надлежало в строжайшей тайне.

Собралось человек пять или шесть, подготовились, то есть стащили по булавке — знатоки утверждали, что от долгого плавания сводит мышцы и единственное спасение — укол. В назначенное время сошлись. Вчетвером: у кого-то не получилось. Поговорив о судорогах и втором дыхании, нырнули.

Похоже, второе дыхание к ним так и не пришло — уж очень долго барахтались. Конечно, боязно было — ведь они лавливали здесь рыбу — и с лодки, и с плотов — и знали, что под ними двенадцать метров воды: темной, непроглядной — лишь на длину опущенных рук просвечивали лучи солнца.

Благополучно разминувшись с караваном баржонок, преодолели фарватер. С кормы последней им что-то прокричал шкипер — Сережа не разобрал что, однако лицо шкипера было приветливым.

Затем путь пловцам пересек рыбак на весельной лодке: он смотрел на ребят пристально и серьезно, но ничего не сказал.

Одолев в последнем отчаянье заросли прибрежной травы, они выползли, наконец, на твердую землю и полегли неподалеку от пристани села Охотино. Отлежавшись, долго еще не решались пуститься в обратное плавание: ходили вдоль берега туда-сюда, завернули на кухню охотинского дома отдыха, где выпросили у поварихи по куску сахара, хотели еще посмотреть кино, но без штанов не дозволялось. Тогда — на кладбище: опять же занятие для храбрецов.

Побродили меж старыми каменными надгробьями, позаглядывали в церковные окна: внутри храма было темно — горели красные и зеленые лампадки и более ничего не было видно. Ни один человек не встретился им — должно, службы в тот вечер не предполагалось.

Потом снова сидели у Волги, рассуждая о карах, которые могли ждать их на противоположном берегу. И тут парнишка один, его звали Юркой, сказал:

— Я нынче и без того уже мать обидел… Она с ночной пришла, поесть приготовила, а я говорю: пахнет от тебя как-то — больницей и уборной, скоро уж весь дом провоняет…

— А она чего? — спросил кто-то.

— Заплакала… «Для тебя же, — говорит, — Юрочка…» Да я и сам знаю: денег не стало хватать, вот и пошла на подработку санитаркой, а я…

— Ничего, матери — они отходчивые, — со знанием дела успокаивали его ребята. — Простит.

— Простит, — согласился он, поднимаясь. — Ладно, плыть надобно.

Далеко впереди мерцали огоньки Мышкина, и было до этих огней не пятьсот, а трижды по пятьсот метров. Очень скоро ребята поняли, что усталость не оставила их, что она лишь затаилась: течение сносило и сносило — хорошо еще сообразили перед возвращением подняться по берегу, насколько позволяла местная география — до впадения реки Юхоти, Тут еще по курсу возник колесный буксир с плотами — приближаться к ним было опасно, и мальчишки, теряя силы, выгребали против течения, чтобы не потерять из виду огни, чтобы не отнесло в далекую неизвестность.

Но вот плоты миновали их — на оконечности пылал костер, освещавший шалаш плотогонов и лодчонку, болтавшуюся в волнах. Глухая, вязкая чернота пала на воду. Сережу охватил панический страх. Судорожно заработав руками и ногами и чувствуя, как силы покидают его, он закричал: «Ре-бя-та!» С двух сторон отозвались. И хотя голоса эти были не менее испуганными, стало спокойнее.

— Плывем! — крикнул он как можно бодрее.

— Плывем! — донеслось справа.

— Ага! — слева.

…Очнулся Сергей от всплесков за своею спиною: оказалось, выкарабкаться на сушу ему

удалось только до половины — ноги оставались в воде и время от времени конвульсивно дергались. Не сразу получилось и подняться: ползает, ползает по песку, а лишь попытается встать — ноги отказывают.

Кое-как доволоклись до дома. Втроем.

А через несколько дней хоронили Юрку. Событие это представлялось несформировавшемуся сознанию Сережи Белова вовсе не тем, чем оно было на самом деле: смешанное чувство восторга и ужаса от сопричастности непостижимому таинству владело мальчиком. Увы, именно так.

Потом, когда сознание распределило все по законным местам, душа не отозвалась — слишком уж много времени прошло, слишком много. Да и бедолагу того Сережа почти не знал — дети, как известно, сходятся легко. «Как тебя зовут?» — вот и приятели. Сходятся легко, легко и расходятся… Так что история эта в целостности своей с годами только тускнела.

Сохранились разрозненные картинки: улыбающийся шкипер, рыбак в широкополой соломенной шляпе и белой полотняной рубашке с распахнутым воротником, пчела, влетающая в окно храма, вылетающая обратно и снова влетающая… Костер плотогонов, лодка в огненных отблесках бурлящей за плотами воды… Картинки запечатлелись хотя и ярко, но недвижимо: фотографии как фотографии. Между тем несколько слов, оброненных случайным прохожим и поразивших Сергея Белова очевидной, как показалось ему, бессмысленностью, облеклись со временем в суровую плоть и с годами стали все чаще, все тревожнее и требовательнее проверять устойчивость его духа: когда провожали Юрку, незнакомый старик, спешивший мимо, поинтересовался, кого хоронят, а услышав ответ, с неожиданною улыбкою заключил:

— Счастливый. Какие там у него грехи? А тут, — он махнул рукой, — живешь, живешь и только добавляешь себе провинностей…

— Ты чего, дед, рехнулся? — грубо спросили его из толпы.

— Не рехнулся, — спокойно отвечал он, — просто устал! Устал от жизни! — и пошел своею дорогой.

## Венец творенья

К концу войны приход за нерентабельностью закрыли — живых людей не сохранилось, и Лукерья, служившая в церкви ключницей, вышла в отставку. Переехала поближе к Москве — купила полдома в деревне Карамышево — и зажила себе, ничего не делая, благо для одинокого сушествования сбережений хватало.

Хозяином другой половины был Иван Тимофеевич Корзюков — человек рукодельный, мастеровой: пчел держал, ботинки чинил, столярничал. Лукерья по долгу бывшей своей службы относилась к умельцам разных полезных ремесел с особенной заинтересованностью, и, вероятно, Иван Тимофеевич смог бы вскорости добиться ее расположения, когда б не одно обстоятельство: сосед имел крайне нескладную конфигурацию. Туловище его сильно вытягивалось вверх в ущерб шее и даже отчасти голове. То есть это был нормального роста человек с очень высокими прямыми плечами, из которых чуть выпирала маленькая, словно обтаявшая, голова. Для придания голове хоть какой-либо стройности Иван Тимофеевич постоянно напяливал на нее шляпу. Держаться шляпе, кроме как на ушах, было не на чем, и уши от многолетнего на них воздействия оттопырились, наклонились и заняли совершенно горизонтальное положение, иначе — сделались параллельны плечам.

На лице Ивана Тимофеевича вполне хватало места для носа и глаз, но лба почти не было, а под носом в неимоверной тесноте лепились рот с подбородком.

— Небогоугодно это, — подозрительно приглядывалась к соседу Лукерья.

Иван Тимофеевич всерьез занимался огородничеством и садоводством. Участок его был так аккуратен, как бывает разве только у немцев или у англичан. Половина же, отошедшая к Лукерье, быстро позарастала бурьяном, а на все замечания соседа о необходимости рыхления кругов под деревьями Лукерья с равнодушием отвечала: «Ежели оно родит — и так родит».

Иван Тимофеевич носил с пустыря конский навоз. Лукерья тащила всякую найденную деревяшку, железку, кусок кирпича и складывала в кучу под вишнями.

— Зачем? — изумлялся сосед.

— Матерьял, — хладнокровно объясняла Лукерья. — Нельзя, чтобы исчезнул.

— Я могу достать для вас хорошего кирпича, досок, бревен…

— На кой? — недоумевала Лукерья.

— Ну, вам же надобно для чего-то?

— Не надобно. Бог дал, — и показывала, к примеру, на кусок водопроводной трубы, — я подобрала. Вот и все.

— А зачем? — возвращался сосед к началу.

— Я ж говорю — матерьял! Что непонятного?

Зимой в «матерьяле» поселилась собака. Лукерья никак не отваживала ее и даже кормила, то есть выбрасывала теперь мусор не в выгребную яму, а под крыльцо, что по достоинству оценили все бродячие псы.

Весной, когда ненатурально ровные грядки соседа покрылись налетом всходов, Иван Тимофеевич объявил собакам войну: расклеил на заборах невесть где добытые печатные объявления об опасности заражения бешенством, вызвал из Москвы «живодерку», которая, правда, из-за распутицы не добралась, стал ходить по деревне с ружьем и однажды гордо похвастался, что «прибил наконец мерзавца, который топтал морковь».

— Так это же мой Трезор! — завопила Лукерья.

— Возможно, — согласился сосед. — Но ведь он — собака, а морковь — для меня.

— Ну и чего?

— А я человек. — Видя, что ход его рассуждений Лукерью не убеждает, вразумляюще заключил: — Венец, значит, творенья.

У Лукерьи глаза вытаращились до того, что стали сухими.

— Венец творенья? — переспросила она. И тут с женщиной случился приступ, вроде астматического: — она даже засмеяться не могла — выла и захлебывалась в этом вое.

— Пусть — не я, пусть — вы, — недоумевал Иван Тимофеевич, — но не Трезор же?..

С трудом добралась она до кровати и повалилась ничком. В конце концов, этот приступ сменился приступом голода — так много сил потеряла Лукерья.

Иван Тимофеевич недолго обижался на смех соседки. В начале лета он попросил помощи: умерла единственная его родственница, и нужно было перегнать из Расторгуева доставшуюся в наследство корову.

Первые километры, пока под ногами была земля, шли споро. Но потом земля кончилась, и животное сбило об асфальт копыта. Во дворе четырехэтажного дома на Мытной заночевали. Иван Тимофеевич подоил корову, привязал к дереву на газоне, попили с Лукерьей молока и, привалясь друг к дружке спинами, уснули на садовой скамейке. Ночью было свежо, но Лукерья, прижимаясь к всхрапывающему соседу, не замерзала. «Все-таки с мужиком хорошо, — оценивала обстановку Лукерья. — Бывало, и печку натопишь, и ватным одеялом укроешься — все равно холодно, а вдвоем даже на улице — и то ничего».

Вся ее «личная жизнь» сводилась к четырем дням замужества, а на пятый — это было в ее родном городке в тысяча девятьсот восемнадцатом — муж, не успев стать ни белым, ни красным, погиб от случайной, предназначавшейся вовсе не ему пули: сшиблись на окраине два отряда, перестрельнулись и разлетелись, а он по улице шел, да там и остался.

Стала Лукерья что ни день в церковь ходить — молиться за упокой души убиенного. Через это усердие на службу к батюшке и попала. Четверть века у него проработала. Строг был батюшка, так что никакой «личной жизнью» она не обзавелась.

Теперь во дворе на Мытной Лукерья с тихой скорбью думала о своем одиночестве и винила себя за бесчувственное и даже, как ей казалось, недоброе отношение к столь теплобокому Корзюкову.

На рассвете корова пощипала травы и, не дав молока, тронулась дальше. Однако вскоре совсем обезножела: поревела, поревела и залегла прямо на тротуаре. Город начинал просыпаться — появились на улицах машины, дворники с метлами и жестяными совками.

— Пропадет животное! — всхлипнул Иван Тимофеевич.

— Снимай сапоги! — приказала Лукерья.

— Зачем?

— Снимай да надевай ей на ноги! Мысками назад!..

В шесть утра на Большой Каменный мост взошел босой Иван Тимофеевич с развевающимися тесемками исподних штанов, за ним плелась на веревочке черно-белая худая корова в кирзовых сапогах носками назад. Причем один был на правой передней, другой — на левой задней ноге. Следом, с фанеркою и ведром, приготовленными на случай внезапности, шла Лукерья. Всю эту команду на спуске с моста остановил милиционер. Долго и небеспристрастно беседовал, но проникся чувствительностью и разрешил пройти: «Чтоб духу вашего через минуту здесь не было!» Может, конечно, дело было вовсе не в чувствительности, а в духе. Но, так или иначе, а пропустил. И корова дошла до Карамышева. Правда, для этого пришлось купить у инвалида-старьевщика еще одну пару сапог.

В те годы по Москве бродило много старьевщиков: «Старье бере-ом, старые вещи покупа-а-ем».

В их огромных заплечных мешках валом лежали новенькие, «ни разу не надеванные» вещи: сапоги от тех, кому обувка уже не надобилась, гимнастерки, шинели, фуражки…

Лето соседи прожили душа в душу. Иван Тимофеевич частенько намекал Лукерье на то, что полдома — хорошо, а дом — лучше, и также — про сад-огород. Лукерья пожимала плечами, томно вздыхала и опускала долу глаза. Но как только Иван Тимофеевич начинал жаловаться, что, дескать, устает, что не успевает управляться с хозяйством, соседка встряхивалась и решительно возражала:

— Ну, уж нет, это уже невозможно: и корова, и поросеночек, и пчелы. И огород, и сад — невозможно.

— Да пчел я уж как-нибудь сам, — робко отступал Иван Тимофеевич. — И огород тоже, и, в общем-то, поросеночка, — заканчивал он, совсем шепотом.

Несколько подумав над этим дипломатическим меморандумом, Лукерья приходила к выводу, что ей предлагается полностью взять на себя заботы о черно-белой корове, половину забот о поросенке и, кроме того, удвоить объем стирки, уборки и прочих домашних дел.

— Нет! — звучало ее последнее слово, и разговор прекращался до следующего раза.

К середине лета Иван Тимофеевич сумел убелить соседку, что «матерьял» пришел в полнейший упадок, и следовало бы от него как-то избавиться, не то, случись искра, вспыхнет пожар.

— Бог дал — Бог взял, — неожиданно легко согласилась Лукерья и, пока Иван Тимофеевич ездил на Ваганьковский рынок продавать мед, наняла двух «умельцев», которые закопали хлам прямо посреди сада.

Вернувшись домой и увидев выросший за лень курган, сосед ахнул:

— Это ж земля! — имея в виду, что загублена территория, пригодная для земледельчества.

— Все из земли вышло и все туда же должно уйти, — отвечала Лукерья, разглядывая открывшиеся с высоты прекрасные дали.

Но, несмотря на полное пренебрежение к агротехнике, яблок, вишен и слив в ее саду уродилась прорва. А у Корзюкова, напротив, был неурожай, одно дерево и вовсе усохло.

— Это все из-за вашего «матерьяла»! — обижался он. — Не иначе — подземными водами заразу какую-то занесло.

Полноте! — отмахивалась соседка. — На моем-то участке ничто не гибнет. Просто вы продыху растениям своим не даете: все что-то пилите, мажете, поливаете — тьфу, право. Им ведь тоже воли охота.

Иван Тимофеевич уговаривал поскорее собрать урожай да свезти на рынок, но Лукерья не торопилась, и в конце концов сад обчистили карамышевские мальчишки.

— Беда-то какая! Ах, беда! — причитал Иван Тимофеевич, ломая на груди руки.

А Лукерья облегченно перекрестилась:

— И мне — польза, и ребятишкам — хорошо.

— Как же вас старостой-то держали? Вы ж растрачивались, наверное?

— Боже упаси! Там ведь добро церковное — как можно?

…Осенью Иван Тимофеевич предложил обшить дом тесом.

— Зачем? — пожала плечами соседка.

— Для тепла.

— Эх, голубчик! Не в том тепло-то! — И отказалась.

К зиме половина дома была обшита свежими досками, другая так и осталась чернеть древней сосной.

Между тем Лукерья сумела вновь накопить горку разнообразного «матерьяла», и в этой горке поселился новый Трезор.

Однажды зимой Лукерья пригласила соседа на день рождения. Выставила бутылку «белой головки», закуску приготовила, пирог испекла. Иван Тимофеевич принес в подарок кагору:

— Вы дамочка церковная, божественная, так что я кагорчику в том смысле, что и сам водки не употребляю.

Подумав и ничего не поняв, хозяйка решительно указала:

— Садитесь!

Выпили винца. Лукерья предложила спеть песню. Сосед стал смущенно отказываться, и Лукерья самостоятельно спела сначала «Шумел камыш», потом «Темную ночь», «Огонек» и наконец «Что стоишь, качаясь, то-он-кая рябина…».

Терпеливо дослушав историю про рябину, которой хотелось перебраться к соседу-дубу, Иван Тимофеевич спросил:

— А у вас, извиняюсь, конечно, сбережений-то еще много осталось?

— Все кончилось, голубь мой, все! Менять нечего, покупать не на что.

— Это нехорошо! Совсем, знаете ли, нехорошо! — И полюбопытствовал: — Огородничеством, стало быть, займетесь? А может, и поросеночка?..

— Что вы? — возразила Лукерья. — Зачем? Я устроилась охранником на строительство моста: ночь дежуришь — ночь дома.

— Но ведь это, — наморщил он переносицу, — совсем мало денег.

— А на кой их много-то? Проживу! У меня их, знаете, сколько было? Мильены, наверное! Матрац был деньгами набит — подумаешь! Батюшка церковные деньги у меня хранил… Чего вы там углядели?.. Да не этот матрац — в этом солома… А нынче взяла я остатки и пошла тратить! Ведь… Ой, щеки горят. Всегда у меня так от кагорчика… Ведь пока есть деньги, их надо тратить, потому что, когда их не будет, нечего будет и тратить, вот…

— Что ж вы приобрели? — осторожно спросил Иван Тимофеевич.

— Ружье. С патронами. У охотника одного.

— Зачем?!

— Хотелось, знаете, себе подарочек какой-никакой сделать, — улыбнулась Лукерья. — Пятьдесят лет все-таки. Попалось ружье. И хорошее, сказали, ружье, да к тому же еще и с патронами…

— Неправильно вы живете, — испуганно заключил Иван Тимофеевич, — очень неправильно.

Она опустила голову, положила ладони на край стола и затихла. Сосед что-то говорил, говорил, но Лукерья молчала. Он обиделся и ушел. Л Лукерья, отставив в сторону недопитый кагор, откупорила бутылку водки.

Поздно ночью она запела. Иван Тимофеевич проснулся. «Фи-и-и…» После каждого «и» она набирала воздуху, так что всякое следующее делалось громче и выше предыдущего. Наконец, достигнув предела возможностей, она сорвалась с этой высоты истошным бомбовым воем: «Фи-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои!»

— Что с вами было? — участливо спросил ее на другой день Корзюков.

Лукерья нахмурилась:

— Это когда?

— Да ночью! Сегодня ночью! Вы не то пели, не то кричали…

— А-а, понятно. Это я напилась. Сроду не напивалась, а теперь напилась. — И, перекинув за плечо ружье, направилась к калитке.

— Куда же вы?

— Пойду потренируюсь: нынче ведь на охрану объекта заступать — мало ли что, а я стрелять не умею.

— Так неужели вы сможете на такое решиться? Вы ведь как-никак дамочка божественная и насчет всего такого-прочего…

Она недоверчиво посмотрела на него исподлобья:

— Да вы что, голубь? Неужели не понимаете? Это ж не огород, это же стройка — дело общественное! Я коменданта так и предупредила: ежели жулик или шпион какой сунется, я его с ходу… Прости, Господи! — и перекрестилась.

— Ну а что, — Иван Тимофеевич поперхнулся, что комендант?

— Валяй, говорит: один раз — в воздух, а потом — валяй. Только вот он ружье казенное даст, а я стрелять не умею, так что потренироваться надобно.

Так и зажила Лукерья: днем спит или тренируется, ночью дежурит или выпьет водочки и поет.

Не выдержав однажды очередного «фи-и», Иван Тимофеевич постучал в стенку.

— Войдите, — вежливо пригласила Лукерья. Никто не вошел. — Чепуха какая-то… Фи-и-и-и…

Он постучал громче. Тут, наконец Лукерья сообразила, в чем дело, и, отрицательно помотав головой, продолжила:

— Фи-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои…

Сосед стал бить чем-то тяжелым. Лукерья раздосадованно вздохнула и, взяв кочергу, ответила. Звук получился дребезжащим, противным. От его неказистости сосед словно бы даже воспрянул.

— Все одно твоя не возьмет, — глядя сквозь бревна, пренебрежительно сообщила Лукерья и сменила кочергу на топор. Удары обухом получились хоть и тяжелыми, но глухими. Выслушав их, Иван Тимофеевич просто зашелся в победном бое. «Чем же это он так? — позавидовала Лукерья. — Громко, четко прям молодец! — Отложила топор, внимательно огляделась и придумала: — Ну, держись!» Через минуту дом содрогнулся от выстрела. Сосед стих.

— Фи-и-и-и-и-ильдеперсовы чулочки, фильдеперсовы мои!..

На другой день пришел участковый.

— Не пущу я вас, — сказала она через дверь.

— Взломаем.

— Стрелять стану.

Он помолчал, обошел дом, переговорил с соседом и возвратился:

— Отчего ж Иван Тимофеевич вам так не нравится?

— А вам нравится?

— Это не имеет отношения к делу. Он человек проверенный, всю жизнь здесь живет. Был первым в деревне колхозником, первым, опять же, ополченцем. Контужен, инвалид…

— Жлоб он, — возразила Лукерья, — для всех — инвалид, а на себя пахать — трактор.

— А вы сами, как нам известно, религиозным дурманом занимаетесь.

— Ну ты вот что, — притомилась Лукерья, — я охраняю стройку коммунизма, а ты меня на пост не пускаешь. Это как понимать? Может, ты враг народа или шпион? Может, напарники твои сейчас объект взрывают, а ты меня тут задерживаешь, а? Тебя, диверсанта, стрелять надо, сейчас я ружье заряжу…

Милиционер ушел.

Отношения между соседями ухудшались. Иван Тимофеевич разгородил сад крепким глухим забором, потом разгородил и чердак. Случалось теперь, что они месяцами друг дружку не видели. Петь Лукерья стала значительно реже — с деньжатами было туго, да и здоровье не позволяло. Сосед тоже прибаливал — несколько раз уже его забирали в больницу. Так и жили, каждый на своей половине.

Однажды весенней ночью Лукерья проснулась с ощущением неопределенной, но сильной тревоги. Пошастав туда-сюда по комнате, она оделась и вышла во двор. Было полнолуние — время призрачных, мрачных теней. Ее вдруг обуял дикий, животный страх. Она бросилась в

дом, закрылась на все замки, взяла ружье, но страх не проходил.

— Иван Тимофеевич! — закричала она.

Он не отвечал.

— Фи-и-ильдеперсовы чулочки! — и ударила в стену прикладом.

Металась она до утра. Утром выяснилось, что Корзюков умер.

Хоронила его одна Лукерья — никаких родственников у соседа не оказалось. Казенный человек объяснил Лукерье, что все свое добро Иван Тимофеевич отрядил в ее пользу: две сберегательные книжки, пачку облигаций и сколько-то там рублей наличными. «Потому как она — венец творенья, хотя и живет неправильно», — оканчивалось завещание.

— Зачем? — сказала Лукерья с горечью. — Ничего этого мне не надо.

— Какое будет ваше распоряжение в таком случае?

— Столько калек, сирот…

Казенный человек обрадовался и предложил подписать соответствующую бумагу.

И накатились на Лукерью кладбищенские заботы: то камушек нужен, то оградка, то цветы. Стала она ездить на Ваганьково каждое воскресенье. Ездила-ездила и доездилась: совершенно в духе домостроевского романтизма уснула однажды прямо на земле — на могилке — и простудилась. А как только простудилась, сразу все наперед и поняла. Для начала зашла в церковь: исповедовалась, причастилась.

Потом продала ружье, разыскала казенного человека и оставила ему сколь было денег.

Наконец, покончив с делами, упросила карамышевскую почтальоншу захаживать по утрам «для контроля» и легла болеть. Покашляв недельку, с чистой совестью умерла.

Казенный человек выполнил ее последнюю волю и похоронил рядом с Иваном Тимофеевичем.

## Царственная

Елена Павловна принадлежала к увядшей ветви старинного дворянского рода. Была отменно красива, и, хотя облик ее с годами претерпевал естественные изменения, красота ни на мгновение не ускользала. Так что в детстве о ней говорили: «Сказочное дитя», в юности: «Очаровательная барышня», в зрелом возрасте называли потрясающей женщиной, а в старости — очень красивой старухой. Однако, кроме красоты, которая, к счастью, в русских женщинах еще не перевелась и может радовать всякого человека, не до конца потерявшего зрение, Елена Павловна обладала качеством куда более редким — исключительным, можно сказать: она была царственной.

Что есть царственность, определить затруднительно. Одно точно: свойство это — сугубо женское. Мужчинам более подходит барственность — царственные мужчины неукоснительно напоминают индюков. Все отмечали ее осанку, поворот головы, а в особенности — способ передвижения: Елена Павловна ходила не так, как другие, — она будто несла себя, несла ровно, неспешно, непоколебимо. При этом была начисто лишена надменности или высокомерия, с людьми общалась на удивление просто и не стеснялась даже самой грязной

работы.

Елены Павловны я не застал: мне рассказывали о ней ее внучки — дамы вполне сознательного возраста. Родилась их достославная бабушка в тысяча девятисотом году и успела получить гимназическое образование, которого хватило, чтобы ее до конца жизни принимали за филолога, историка или искусствоведа. Почему она не уехала из России, никто не знает. Возможно, из-за любви, соединившей ее с молодым врачом: тайком обвенчавшись, они бежали из Москвы в провинциальные дебри. ‘Гам у них родились четыре дочери. Несмотря на сложности тогдашней эпохи, всех детей удалось окрестить. Когда началась война, муж был направлен на фронт. Два года оперировал в полевых госпиталях, затем его перевели в столицу. Так Елена Павловна вернулась на родину. Добавилась еще одна дочка — поскребышек. А потом дочери стали выходить замуж и рожать девочек, девочек, девочек и лишь одного мальчишку. Семьи поразъехались, но детишек то и дело привозили к старикам.

Младшая из внучек рассказывала, как, бывало, подберется к бабушке и с восхищением глядит на нее. А та либо пластинку с классической музыкой слушает, либо читает — русскую литературу очень любила. Наконец заметит, повернет голову — спина прямая, шея лебединая, подбородок высоко и спрашивает:

— Ты кто есть?

— Я — Люся.

— Люся… — бабушка задумывается. — А ты чья? — Мамина и папина.

— Ну, это понятно. А маму твою как зовут?

— Мама Наташа.

— Так ты, наверное, Натальина младшенькая… Ну, ступай, ступай…

И дочери, и внучки жаловались, что с внуком Андрюшкой она общается охотнее, чем с ними.

— Неудивительно, — отвечала бабушка, — с мужчинами интереснее: я у них всю жизнь обучаюсь.

— Чему же ты у них обучаешься, если ты, можно сказать, идеал женственности?

— Идеал — не идеал, но этой самой женственности и учусь: учиться — не обязательно копировать. Глядя на мужа, я собирала в себе качества, необходимые для того, чтобы вместе мы составили единое целое.

— А у Андрюшки ты чему учишься, ему же только пять лет?

— Вы, красавицы, в пять лет могли говорить лишь про бантики, а он спрашивает, почему его не назвали Георгием Константиновичем? Как Жукова. Я ему все объясняю про отчества, про то, что он может быть только Николаевичем, а он послушал-послушал да и говорит: «Ну, тогда Александром Васильевичем». Как Суворова…

— Подумаешь! У нас — бантики, у них — ружья.

— Так, конечно, да не совсем. Ваше внимание было обращено, как правило, на самих себя и прежде всего на свою внешность. А он — только освоился печатные буквы складывать, сразу в

храме записку подал: там и Александр, и Георгий, и еще два десятка имен. Спросила, кто это, он все объяснил: и Нахимов там есть, и атаман Платов — Матфеем зовут… Дело не в мальчишеском интересе к воинству, а в том, что интерес этот может проникнуть незнамо куда. Вот и подумайте, какие качества необходимы, чтобы рядом с таким существом целую жизнь прожить и ему не наскучить.

А когда ее спрашивали, что особо примечательного находила она в дедушке — рядовом хирурге, Елена Павловна отмечала два обстоятельства: во-первых, чрезвычайную ответственность супруга, а чувство ответственности она совершенно справедливо считала главным богатством мужчины, а во-вторых, полетность…

Значение этого слова внучки не понимали, а дочери толковали его как широкую увлеченность. Бабушка рассказывала, что дед изобретал хирургические инструменты, своими руками построил катер, на котором зятья до сих пор катались по Клязьминскому водохранилищу, а в рыбацких и охотничьих путешествиях обошел всю страну. «Вы теперь, кроме курятины, никакой «дичи» не знаете, — говорила Елена Павловна внучкам, — а меня и ваших матушек дед кормил куропатками, рябчиками, тетеревами. И все это он добывал сам». А еще они каждую неделю ходили в консерваторию. Водили и дочерей, и даже обучали их игре на фортепиано — те с отличием заканчивали музыкальную школу, но, выходя замуж, про музыку забывали и через пять лет уже не могли подобрать одним пальцем простенькую мелодию. Впрочем, это обычная история.

После кончины супруга Елена Павловна нанялась в домработницы к оперному солисту Большого театра. Пенсии она не выслужила, а перекладывать трудности на плечи детей — навыка не имела. В доме певца часто бывали гости. Жена и две дочери охотно помогали старушке и накрывали на стол. Иногда глава семьи проделывал шутку: просил, чтобы Елена Павловна принесла то или это. Облаченная в фартук, она появлялась в дверях, и гости вставали… «Царственная», — восхищался хозяин.

Когда Елена Павловна преставилась, он взял на себя все заботы. Прощаясь, сказал: «Не было в моей жизни другого такого человека — и не будет». Дочери плакали, а внучка вспомнила: «Подойдешь, бывало, засмотришься на нее, а она повернет голову эдак и спрашивает: «Ты кто есть?»».

## Новоселки

Добираться туда легко: в девять вечера садишься на поезд, в три часа ночи слезаешь. Полтора километра по шпалам, столько же через лес — вот и весь путь. Брошенное поле, брошенная деревенька, на краю которой некогда стоял жилой дом.

В пору молодости своей, когда я познакомился с дедом Сережей и его старухой, были они уже людьми опустившимися. Не то чтобы совсем потеряли интерес к жизни — нет: что-то ели, что-то пили, слушали радиоприемник, даже мылись, наверное, иногда; однако они позволили жизни своей сделаться безобразною. Сережа уже почти не надевал протез — лежал целыми днями в грязной постели, курил, кашлял, плевался. Бабка хотя и совершала кое-что по хозяйству, но без усердия: посуду она не мыла — суп всякий раз варился в одном чугунке и разливался в одни и те же тарелки. Стирала ли она — не знаю.

Да и все в доме у них было опустившимся: кобель — матерый гончак, — если случалось ему оказаться в избе, мочился на пол; кошки бродили по столу, добирая объедки; тараканов расплодилось такое множество, что они шуршащей коростой покрывали стены и потолок, кишмя кишели в дедовой койке, и он их разве что с лица прогонял.

Электричества в доме не было — отрезала власть, керосина у стариков не водилось, так что жили они без света. Ни разу не слышал я, чтобы вели они между собой человеческие беседы — только ругались, грязно и равнодушно. Сережа — кашляя, бабка — тонким гнусавеньким голоском.

Останавливаться у них не было никакой возможности, предпочтительнее оказывалось ночевать в полуразвалившихся избах брошенной деревни по соседству, но, наведываясь в те края, я всегда заходил к Сереже — оставлял батарейки для приемника и фонаря, чай и, быть может, еще что-нибудь по мелочам.

Жизнь стариков делалась все более мерзостной. Наконец старуха не выдержала и ушла к сестре — в деревню километров за десять. Потом сгинул кобель: самостоятельно гоняя зайца в ночи, он вылетел к железнодорожному полотну и остановился, чтобы пропустить поезд, однако это был не обыкновенный поезд, а снегоочистительный, чего пес по азартности своей не заметил — краем выдвижного бульдозерного ножа его и ударило.

Совершенно одичав от тоски, дед разыскал свою бабку и поджег избу — люди спаслись, но изба сгорела. Был суд: два года тюрьмы и тысячи рублей компенсации. Пустился дел Сережа отбывать срок, старуха же вернулась к кошкам и тараканам. Вскоре она сама выплатила сестре причитающуюся сумму: что-то продала, сколько-то заработала на бруснике, о чем-то она, вероятно, могла договориться и по-родственному. Через год Сережа вернулся совсем блатной, с наколками, покрывавшими чуть ли не все его тело, за исключением, понятное дело, отсутствовавшей ноги.

А еще через какое-то время оба они убрались: дед преставился здесь, и последние его слова были матерными, старуха тихохонько отошла в новой избе сестры.

Печально, конечно, что жизнь этих людей так омрачилась к своему завершению; печально, что не осталось от них ничего — даже тараканов с кошками не осталось. Я был там недавно — на месте дома груда печных кирпичей да несколько поблескивающих хромированным металлом протезов, о которых дел Сережа, помнится, говорил, что они — один другого нескладнее. Всем им он предпочитал деревяшку… Кто и зачем спалил их дом — неизвестно, скорее всего, кто-нибудь из местных: обычно подобное занятие — утеха молодых подвыпивших трактористов. Может, человек и родом из этой деревни был — новоселковский, а вот: чтобы уж никому не досталось ни обогреться, ни переночевать. Горазды мы, как известно, родную землю поганить.

Сидя на валуне, подпиравшем некогда угол избы, я не без растерянности взирал на уголья: как же так — что-то было, а теперь нет… Глупая, конечно, растерянность, да разве привыкнешь — тоскливо ведь. Тут, само собой, воспоминания кое-какие промелькнули, и вспоминалась все одна пакость. Как дед рассказывал про некогда соблазненную им девицу — учителку, присланную из города, — старуха слушала все это с очевиднейшим равнодушием, а потом, широко зевнув, добавила, что «у колхозной булгахтерши трое детей, а обличием все — в гада этого». Как коршун курицу прихватил, а я, увидев, бросился было из дома с ружьем, да старуха не выпустила: «Загубишь курицу!» В конце концов и курица сдохла, и коршун улетел, чтобы потом, в мое отсутствие, извести всех остальных кур. Вспоминал сонмище кошек: Сережа держал их вроде как для промысла — шапки шил.

— Хочу черную шапку сшить, — говорил он мне при каждой встрече. — Кра-асивая будет! Видал, какая у кота шерсть? Блескучая, густая, ворсистая… Надо, чтобы он котят чернявых добавил, тогда я и его в расход пущу — старый, зажился.

Свесив с печи лобастую голову, кот устало и снисходительно щурил глаз: за многие годы он

выдал лишь одного отпрыска своей масти, остальные рождались пестрыми или рыжими — из них-то дед и шил шапки, воротники, рукавицы. Однако как только Сережа помер, косяком пошли беспросветно черные.

Вспоминались и тараканы: бывало, зимой, прежде чем обуться, валенки приходилось вытаскивать в морозные сени. Тараканы из валенок ползут и ползут: доверху доползают, тут в них что-то щелкает — жизнь выключается, и они летят на пол, кошки только успевают подбирать. И что интересно: живых тараканов кошки не трогали, зато мороженых — до драки доходило. Какая тут кулинария сокрыта?..

В общем, одна дрянь вспоминалась, хорошего — ничего. Но почему не покидало и не покидает меня теплое чувство к этим, прозябавшим в мерзости старикам? Что-то к ним притягивало всегда, какой-то свет от них исходил… Не яркий, может быть, но все-таки…

Не знаю, что было его источником, не знаю… Но вот ведь держались они друг друга всю жизнь! И дома своего, и своей земли… Не стало их, и место это обезжизнело. А когда-то, отстояв тягу, сходились здесь у мосточка через ручей охотники — было нас человек пять-семь: из разных городов, в разных деревнях останавливались, а собирались — надо же — именно здесь. Встретимся, постоим, поговорим об охоте, узнаем, кто, как провел год, — осенью и зимой редко кому доведется встретиться, это уж десятидневный весенний сезон вместе всех собирает. Стоим, разговариваем тихонько, потом расходимся кто куда.

А когда дед Сережа ушел, мы и встречаться перестали. Вроде и старик этот не нужен был никому, а вот надо же! И пока еще были живы мы все, и каждый год по весне наведывались в Новоселки, но встретиться друг с другом, как прежде, уже не могли. Стоишь на тяге, слышишь: за высоковольткой ба-ах! — это, стало быть, Петр Сергеевич, дочь его, помнится, рожать собиралась… теперь внук или внучка в первом классе, поди. А вот у реки зачастила пятизарядка Антона Романовича — какие-то у него там сложности в министерстве были, чем, интересно, дело кончилось? Хотя он, наверное, уже на пенсии. А то ночью, поезда дожидаясь, под единственным станционным фонарем столкнешься с небритым мужичонкой: рюкзак у него даже на вид трудноподъемный — пара глухарей точно есть. И в вагоне уже сообразишь: Витюха — шофер из Твери. Он тебя тоже признает, поговоришь, выяснится, что, похоже, остальные ребята были, но это так, по догадкам, по слухам, а видеть он никого не видел. Вот и я никого, кроме него, не видел… И никогда больше не соберемся мы у мосточка через ручей. Впрочем, и самого мосточка давно уже не было: раньше Сережа его подновлял, хоть кое-как, но починивал, совсем нарушиться не давал, а без старика обветшал мосток, иструхлявился, и смыло его весенней водой.

Нет, теплился огонек в этой лампадке: хоть и перепачканной она была, а теплился. И ведь не то важно, что перепачкана, а то, что не угасал, — это важно и удивительно, ведь столько невзгод было обрушено на Сережину мужицкую голову, на Сережины крестьянские плечи: «Жизнь обычная, — говорил он, — как у всякого деревенского, а ногу на войне потерял».

И родни у них на земле не осталось, и могилку их отыскать мне не удалось, вот уже и старухино имя забылось… Однако несправедливо будет, если память о них сотрется, исчезнет совсем, — несправедливо.

## Наводнение

Переполох случился неслыханный: весь день между Нижним Спасом и деревнями, стоявшими подальше от реки, сновали под дождем телеги, тележки и машины — народ развозил добро по родственникам и знакомым. Цапкин эвакуироваться не стал.

— Не верю, — говорит, — чтоб из нашей Ворчалки стихийное бедствие приключилось. В ранешни времена бывало такое? Хоть, к примеру, паводок взять, хоть половодье: у меня — до бани вода дойдет, а дальше не подымается. А чтоб огороды позатопило, тем более дома залило — не верю. Да у нас и во всем районе воды столько не сыщешь.

— В ранешни! — возражали собравшиеся у него на крыльце мужики. — В ранешни всемирного потепления не было, а теперь...

— Дело хозяйское, — отмахнулся Цапкин, — мотайте, а мы с Петровым чихать хотели.

Имя егеря повергло мужиков в тягостное смятение: Сашка Петров — человек серьезный, не то, что балабол Цапкин. В молчании докурив цигарки, нижнеспасовцы побрели грузиться дальше.

Петров в это время плавал в лодочке по затопленным рощам, отыскивая угодивших в беду зверей. Однако оттого, верно, что вода нынче разливалась медленно, зверье успело поразбежаться, лишь еноты опозорились. Ну, тем простительно, те спросонок, ведь шел декабрь: уж и снегу нападало, и Ворчалка замерзла, и вдруг — на тебе, дождь! Да еще как зарядил! Сидели теперь еноты на островках возле затопленных нор, мокли. Лодку увидят, забегают туда-сюда, но в воду лезть не хотят — зябко. Конечно, рычат на человека, зубы скалят, но Сашка их без счету перевидал, не церемонится. «А ну!» — как рявкнет! Некоторые сразу и падают. Другим приходится добавить пинка, но не сильно, чтоб без телесных повреждений: шмякнешь его для острастки, он — брык — и вроде как околел. Бери его за шиворот, делай что хочешь.

Пятерых затолкал Сашка в мешок, шестой не поместился. Пришлось положить его прямо на стлани, а на морду ушанку надеть. Плывет лодка, покачивается, уключины скрипят — страшно енотам, не шевелятся. Если вдруг и заворочается какой, Сашка притопнет: «А ну!» — и мешок вмиг цепенеет. А тот, который на стланях, знай себе мордой в шапку тычет — прячется, стало быть. Выбрал Сашка берег повыше, выпустил зверей — они и поплелись, кто куда: искать незанятые норы, рыть новые. Сашка же дальше поплыл и уже в сумерках обнаружил енота огромного — прямо баран-рекордсмен, разве что на коротких ногах. Тот сам в лодку прыгнул. Тоже, однако, чтобы не колобродил, пришлось в мешок засадить.

Домой егерь вернулся вечером. Развязал мешок и выпустил на пол енота. Жена испуганно вскрикнула, и енот свалился без чувств.

— Вот, Татьяна Борисовна, — устало сказал Петров, — дикий зверь, и тот, как только увидел вас, так и окочурился. Каково же мне с вами бок о бок столько лет жить?..

— Зачем ты его принес, Саша?

— Да берега, понимаешь, твердого в темноте не нашел — все вода, вода, ступить некуда.

— Ну так деревню-то отыскал?

— Отыскал. Хотел выпустить, а тут собак понабежало... Изорвали б в клочья. Пусть в сарае переночует, отнесу его завтра куда-нибудь.

— Ой, отнеси, Саша, уж больно страшный...

За ужином, когда Сашка Петров смотрел программу «Время», явился Цапкин — «полюбопытствовать, не скажут ли чего по телевизору насчет наводнения».

— Твой-то сломался, что ли? — спросил у него егерь.

— На чердак перенес. Бабы бают, что ежели кто не предпримет, стало быть, действия… для спасения добра… ну, имущества… тому могут и страховку не выплатить. Вот я маленько и… Для порядку… Не так, как остальные, конечно… По другим деревням не повез, но на чердак… Вроде как… Ну вот! Вот оно, гляди, наводнение-то!..

— Так то ж в Америке… Понял?.. Штат Колорадо!

— Ну и что, что в Америке? Не слыхал, как погодный мужик рассказывал?

— О чем?

— Теперь все глобально!

— Ты чего, Цапкин? Хочешь сказать, что этот вот разлив и до нас докатился?

— Ну!.. Жук колорадский, он тоже оттуда, а картошку нашу жрет. В общем, ты как хочешь, а я пойду действия предпринимать. По спасению.

Выйдя в сени, он вдруг обернулся:

— Больше всего мне наша молодежь нравится! Тут такое творится, а они в клуб подались. Мой говорит: «В гробу я видал твое наводнение, у меня дискотека сегодня». Раньше за эти танцульки отец мне под зад давал, а теперь: «дискотека»… Вроде как что-то серьезное, не моги помешать! Тьфу! И ушел.

Поужинав, Сашка завалился в постель, жена убрала со стола и мыла посуду.

— А что, Татьяна Борисовна, у вас, поди, тоже сердчишко екает? — спросил задремывающий супруг. Из-за чего?

— Да из-за наводнения.

— Была нужда… Ты-то не боишься, — она перестала греметь тарелками.

— Не боюсь, дорогая Татьяна Борисовна, нисколечки не боюсь: дождь скоро кончится — воздух сегодня стынью пахнет.

— Ты мужикам-то говорил?

— Сказал Цапкину, да что толку? Какие-то все опасливые стали.

— Так добра-то все сколь понакопили — вот и боязно за него, — объяснила супруга, но Петров уже спал.

Проснулся он по охотничьей привычке рано. Глянул в окно: дождь перестал, в разрывах облаков сияли кое-где звезды, на белом шифере цапкинской крыши чернела привязанная к трубе надувная лодка. Быстро позавтракал и пошел в лес определять большого енота.

## Лаврюха обыкновенный

Поздней осенью, когда выпад снег, а вода в реке сделалась непроглядно черной, Лаврюха погнал леспромхозовский катер на ремонтный завод для замены двигателя — старый едва

тарахтел. Кое-как сплавившись по течению до устья, прибился к пристани — подождать рейсового теплохода и, пришвартовавшись к нему, перейти озеро. Но выяснилось, что рейсовый теплоход тоже сломался и будет только через неделю. Если, конечно, к той поре не ударит мороз и не закроется навигация.

Назад Лаврюхе на таком движке не вскарабкаться было, неделю без харчей не прожить, и пришлось отправляться в поселок самостоятельно. «Тьфу, незадача», — раздосадовался Лаврюха, а тут еще начальник пристани пассажиров «навялил»: двух городских теток, возвращавшихся не иначе как от деревенской родни, и мальчишку-дошкольника — своего сына, который, как понял Лаврюха, приезжал к отцу на побывку да из-за того же рейсового и застрял.

Пошли. Не плаванье было — маета: моторишко тянул еле-еле, боковой ветер сносил в сторону от поселка, а когда уж почти перебрались, у самого берега мотор вовсе заглох.

Лаврюха полез копаться, тетки, обрадовавшись тишине, взялись балаболить, продолжая разговор, прерванный, похоже, отплытием.

— Ой, Валь! Палас — три на два с половиной, голубой… Эспадобна, Валь! Как у тебя… Обои — тоже голубенькие, под цвет… Ну все, Валь, прям как у тебя! Стенка, люстра хрустальненькая, Валь: динь-динь — эспадобна! Парке-эт!.. Я, грю, не разрешу в этой комнате танцевать! Как заржали все, Валь!..

Тут Лав рюха обнаружил, что аккумулятор чужой.

— Ну, беда! Говорил же я твоему отцу: не могу оставить аккумулятор — движок дохлый, так хоть зажигание путное… Спер-таки, не удержался…

— Он сказал: все равно ремонт, — растерянно объяснил мальчишка, — там, сказал, поменяют.

— Ремонт-то ремонт, но до него еще добраться надо, а теперь…

— А что теперь? — подхватились тетки.

— Встретим кого — отбуксируют. А не встретим к тому — мысу прибьемся, — указал он, — маячник свезет, поможет.

— Он в поселок переехал, — робко сказал мальчишка, — мотоцикл перевез, дом, моторку…

Лаврюха пристально посмотрел сначала на него, потом за иллюминатор: темнело, над черным лесом вспыхивал огонь маяка. «На автоматику переведен», — понял Лаврюха и спокойно, с некоторой даже ленцой, словно речь шла о чем-то не заслуживающем внимания, заключил:

— Ну и пущай. До шоссейки и пешком доберемся, а там кто-нибудь подбросит, отдыхайте пока.

— Отдохнешь тут: болтает до невозможности, раздраженно бросила Валя.

Волна была небольшая, но, как только суденышко потеряло ход, ветер развернул его и стал раскачивать с борта на борт.

Ни одна моторка не прошла в тот час мимо катера, дрейфовавшего вдоль берега к маяку. И оставалось уж немного совсем, когда Лаврюха понял, что ветер гонит их не на мыс, а левее — на каменистую подводную гряду, уходившую от мыса далеко в озеро.

«И волнишка-то плевая, а вполне можно ни за понюх табаку...» Подумав, он достал из сумки, в которой умещалось все его личное хозяйство, коробок спичек, тщательно завернул их в полиэтиленовый пакет, затем — в другой и спрятал на груди под тельняшкой. Тетки, начинавшие заболевать поморскому, не обратили внимания.

Когда до камней осталось несколько метров, Лаврюха разобъяснил теткам ситуацию, — те стали орать: «За все ответишь!» — оделил их спасательными поясами, сохранившимися, вероятно, лишь потому, что на них сроду никто не обращал внимания, надел пояс на мальчонку. Потом, оборвав идущий к мачте электропровод, одним концом обвязал себя, другим — парня:

— Мы теперь, друг, как альпинисты: связались веревочкой — и по камням! Ты, главное, не давай волне шибко забижать себя, черепок береги, понял?

Тот молча кивнул.

— Не задерживайтесь, бабоньки, сигайте следом, — сказал Лаврюха, — иначе угробит на валунах! — Подхватил мальчишку, шагнул из рубки и прыгнул.

Тотчас раздался за спиной скрежет днища о камни...

В озере и летом не купались, а сейчас вода была настолько холодной, что ноги у Лаврюхи отнялись сразу. «Минут пять продержусь — и кранты». Он пошуровал руками, проплыл до камней, потом, обнимая валуны, пополз к берегу. Волны заливали его с головой, парнишка мотался на привязи где-то сзади. «Только бы не захлебнулся!»

Наконец выбрались. И здесь, уже на снегу, мальчишечка потерял сознание. Лаврюха взял его на руки и побрел к постройкам, стоявшим у маяка: от подворья смотрителя остались дощатый сарай да маленькая, недавно срубленная из сосны банька — видать, не верил старик, что маяк сможет без него обойтись, новую баньку сгоношил, расстарался.

Лаврюха пристроил мальца на полок, отвязался, снял с него начавшую подмерзать одежонку, попытался растереть, но пальцы скрючило, руки сводило... «Огонь. Или пропадем, — понял Лаврюха. — Скорее!» В сарае нашел гниловатую, но сухую сеть, весло. «Выживем». Потащил к баньке, споткнулся, упал, ноги не слушались. «Только бы сетку не выронить — намокнет». К баньке приполз на коленях.

Ткнул в печь сетенку, потом, вытащив из-за пазухи сверточек, добрался до спичек. Кое-как высек огонь, запалил сетку, подал в печь конец весла — размочаленную лопасть, дерево занялось. «Выживем».

Отогрев руки над пламенем, взял окоченевшего мальчишку, подержал его, сколько хватило сил, у открытой дверцы, вновь положил на полок и принялся растирать... Так повторял он и повторял, не забывая подталкивать в печку прогорающее весло. Вслед за веслом пошла вывороченная в предбаннике половая доска.

Парнишка очухался, трясся в ознобе. Лаврюха, не переставая, грел его, растирал, мял. «Выживем. Теперь выживем...» Но огня было мало, и воздух в баньке теплее не становился. Лаврюха снова сходил в сарай: подобрал несколько щепок. Потом в куче мусора на том месте, где прежде стояла изба, попытался отыскать какую-нибудь железку, годную д ля расщепления досок. Ничего не нашел. «Пропадем», — прикинул Лаврюха. Постоял, постоял на снегу посреди двора, подумал... Складывалось так, что лишь один выход оставался: подошел Лаврюха к сараю, двумя руками поднял с земли здоровенный камень и бросил в сколоченную из

горбыля стену. Снова поднял и снова бросил, еще раз, еще и еще. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. Он сел на снег, привалился к стене, отдохнул — и снова…

Одна из досок треснула. Лаврюха принялся за вторую, потом за третью. «Теперь выживем». Вскоре огонь в печи полыхал, сделалось заметно теплее, мальчонка перестал дрожать, но зябнул еще, поеживался. «Тогда так», — решил Лаврюха и понатаскал в котел воды: ведерко, к счастью, в баньке имелось.

Потом опять ломал, крошил стену сарая, подбрасывая обломки в печь; плескал волу на каменку и добился: ежиться парнишечка перестал, распарился, ожил. И — уснул. «Выживем», — заключил Лаврюха и только теперь вспомнил: «Бабы!» То есть мысль о тетках, оставленных на катере, не покидала его, но спасать и мальчишку, и теток одновременно никакой возможности не было, и Лаврюха занимался мальчишкой. Тетки же, по его разумению, могли и должны были выбраться на берег. Лаврюха ждал их, надеялся на их помощь, но они не появились, и теперь он забоялся: волны могли перевернуть катер, свалить его с гряды на глубину…

По своим следам Лаврюха добежал до того места, где выполз на берег: катер торчал в камнях. Волны поднимали его, опускали, скрежетало мятое днище, но сидел катер крепко.

— Бабы! — заорал Лаврюха. — Ба-а-бы-ы!

Из-за дверцы высунулась голова.

— Давайте сюда-а!

Тут судно снова бросило вниз, и голова исчезла. Лаврюха подождал-подождал: «Убились они там, что ли?» — и шагнул в воду. «Не сдюжить. Околею от холода».

— Ба-бы-ы! — Бабы не отзывались. — А! Была не была! — И прыжками побежал к катеру. Но тут же подвернул на камнях ногу, упал и далее добирался прежним способом — не то ползком, не то вплавь.

И, уже ухватившись за борт суденышка, подумал с досадой: «Зря поперся. Случись что — парнишка один останется, застынет совсем». А случиться что-нибудь вполне могло: ни рук, ни ног Лаврюха уже не чуял.

Бабы были в кровище — сильно побились. На сей раз они попрыгали за Лаврюхой, но у каждой оказалось по два чемодана.

— С ума сошли? — заорал Лаврюха. — Бросайте, бросайте все!

Они упорно ташили за собой поклажу до тех пор, пока чемоданы не наполнились водой и не утонули.

Тетки ругались, а Лаврюха прикидывал: «Эти — толстые, не должны простудиться. Эти отогреются быстро, мальчонка вот…»

На берегу тетки, обогнав его, бегом бросились к баньке. У Лаврюхи же, пока он дошел, одежка заледенела. «Холодает, — машинально отметил он. — Ночью мороз будет».

Бабы стояли возле печи, клубились паром.

— Сымайте с себя все, не то подохнете, — сказал Лаврюха.

Но они, кажется, и сами поняли, что в мокрых платьях, рейтузах и свитерах им не отогреться.

— Отвернись, бесстыжая морда!

— Шли бы вы... — Склонившись к огню, он ждал, когда его одежда оттает.

Потом все трое сидели нагишом на полке, дрожали. Мальчонка спал.

Отогрелись. И тут с бабами случилась истерика; они столкнули обессилевшего Лаврюху на пол, стали бить кулаками, ногами. Сверкая золотыми зубами, они орали про тыщи долларов: «Норка! Выдра! Бобер!» И Лаврюха сообразил, что в чемоданах были меха, скупленные у браконьеров. Устав молотить, бабы навалились, смяли, придавили Лаврюху. «Все, — подумал он. — Убит титькой».

Огонь вдруг погас, вспыхнул, перекошенный рот блеснул на миг металлическими зубами, огонь снова погас, сделалось темно. Бабы отпрянули и затихли. На полке испуганно всхлипывал проснувшийся мальчуган... Лаврюха, расправляя ребра, вздохнул, поднялся и, пошатываясь, побрел к сараю.

Взошла луна, подмораживало.

Скрипнул за спиной снег. Лаврюха обернулся: озаренные лунным светом, стояли на снегу голые бабы.

— Ну, чего вам? — испуганно прошептал Лаврюха. Бабы молчали. Подождав несколько, он, словно опомнившись, судорожно прикрыл руками низ живота. Бабы тоже прикрылись.

— Ты уж не бросай нас, дядечка! — попросила Валя и, должно быть, улыбнулась — в отсвете маяка блеснули ряды зубов.

— Извиняемся! — сказала другая.

— Ладно, — не удержавшись, махнул он рукой. — Шут с вами. — И пошел себе.

Но тетки догнали.

— Да за дровами я, — объяснил Лаврюха. — Куда ж я среди ночи уйду? Да еще голый... Во дают!..

— Ну, мы поможем хоть что.

— Валяйте, — согласился. — Вот камень, вот сарай — валяйте.

Но бабы не смогли поднять камень.

— Небось на пакость какую-нибудь сил хватило бы. Дуйте-ка лучше назад, — предложил он, услыхав металлический перестук челюстей.

Когда Лаврюха, прижимая к груди обломки досок, ввалился в жаркую темень, с полка донеслось:

— И занавесочки, Валь, достала — ну как у тебя, эспадобна, Валь!..

«Порядок, — оценил обстановку Лаврюха. — Стало быть, оклемались». Он снова развел огонь, забрался на полок. Мальчишка не спал, но дышал ровно, спокойно. Бабы пристали к Лаврюхе с расспросами о семье, он отвечал, что женат, что двое детей-школьников. «Все, бабы, извините, я спекся», — просунулся к стенке, отодвинул от бревен мальчонку, услыхал: «Я овощным заведую, а Валя — универсальным», — и далее ничего не слышал, потому что мертвецки спал.

Ночью мальчишка захотел пить и разбудил Лаврюху. Тот сходил за водой — в котле была ржавая, поставил ведерко греться, запасся дровишками, напоил мальца, уступил бабам свое место, а то они, так сидя и дремали, сам лег на нижнюю — шириной в одну доску — ступеньку полка. Переночевали.

Утром оделись, вышли к шоссе и на автобусе добрались до поселка: объяснили водителю ситуацию, и он подбросил бесплатно — денег ведь ни у кого не было. Лаврюха отвел мальчонку домой — тот не чихал, не кашлял, — сдал матери. Потом на почте разрешили — опять же бесплатно — позвонить в леспромхоз. Лаврюха сообщил об аварии.

— Напился! — определил директор причину аварии.

— Нет, — оправдывался Лаврюха, — не пил я, нисколько не пил.

— Справку из милиции, иначе — не рассчитаешься.

В милиции Лаврюхе поверили;

— Пожалуйста, дадим справку, зови свидетельниц.

Он выскочил на крыльцо, где оставил свидетельниц, но их не было. Вернулся на почту, забежал в магазин, в сельсовет — теток и след простыл. Наконец на автобусной остановке ему сказали, что тетки тормознули шедшие из города «Жигули», коротко переговорили с водителем, сели, и машина повернула обратно в город.

Лаврюха повинился перед милиционерами и отправился на ремонтный завод просить буксиришко: «Рассчитаюсь там или не рассчитаюсь, а катерок вызволять надобно».

## На овсах

Впервые я попал па медвежью охоту еще в юности: как взял ружье, так и пошел на медведя — Колобан пригласил.

Ленька Колобан — светлоглазый и светловолосый — был единственным мужиком в деревне, если, конечно, не считать деда Семена. А деда Семена считать вовсе не следовало: он хоть и героического прошлого человек, но теперь неделями не выходил из избы. Выходил лишь затем, чтобы, перебросив через плечо связанные веревкой валенки, отправиться босиком по пыльной дороге «на германскую» или «на японскую» — то есть был уже, как говорится, совсем плохой.

У Колобана в тот день сломалась машина, и починить ее было никак нельзя, потому что нужной детали в мастерских не обнаружилось. Механик подался в город, а Колобан — ко мне.

— Ты когда-нибудь на овсах охотился?

— На овсах — нет, — признался я, хотя и чистосердечно, но с такою значительностью в голосе, которая могла означать лишь, что уж прочие виды охот мне совершенно знакомы. В действительности дело обстояло иначе, и хорошо еще, что Колобан был начисто лишен

лукавства, а то спросил бы меня об охоте на ячмене, скажем, или на пшенице, и я бы, вполне возможно, ответил: «Как же, как же, случалось, и неоднократно». Он посмеялся бы тогда надо мной, а мне бы всю жизнь за тот вздор было стыдно. Но Колобан по причине своего природного простодушия в подробности вдаваться не стал.

Он привел меня на маленькое поле, отделенное от больших, окружавших деревню полей, неширокою лесною грядою, взобрался, как по стремянке, по ветвям старой ели на пятиметровую высоту, ладно устроился там — сел на один толстый сук, ноги поставил на другой, — а мне указал осину, стоявшую напротив:

— Не чихать, не кашлять, не шелохаться, пока я не свистну, понял?

Я кивнул с небрежностью бывалого человека, перешел полосу и влез на осину. С того вечера я крепко запомнил, что у осины в отличие от елки или сосны ветви для сидения приспособлены плохо — растут под острым углом к стволу.

Через полчаса одна нога у меня затекла, через час сознание начало помрачаться — мне показалось, что по лесу шастает дикое сборище: лошадь, собака, поросенок, утки, козел, — кто-то фыркал, хрюкал, скрипел, крякал, взлаивал, ветки трещали…

Однако Колобан молчал, и я — не «шелохался».

Потом, в непроглядной уже темноте возвращаясь домой, мы высветили фонариком у ручья следы медведицы и двух медвежат — той самой компании, которая бродила вокруг поля и которую я на слух по неопытности своей принял за собрание домашних животных. Увидав след, я, помнится, взвел курки и опасливо оглянулся.

— Сторожкая, — вздохнул Колобан, — причуяла. Теперь — далеко, увела медвежаток. А где сам-то?.. Прежде медведь ходил, у того след куда больше, а этих я и не видывал…

Он попросил меня «шибко-то» не расстраиваться и обещал, что уж завтра медведя мы непременно возьмем.

— Не иначе на чужое поле переместился, — вслух соображал Колобан. — Подманить бы его, да чем?

— Медом, — машинально предложил я, вслушиваясь в шорох листвы.

— Где ж его напасешься столько, меду-то?.. Это ж надобно, чтоб медведь километра за три дух и словил… А что еще они жалуют?

— Рыбу, — вспомнил я документальный фильм, в котором камчатский медведь промышлял горбушу.

— Ну! Это другое дело! Рыбы мы завтра сколько хочешь добудем: у меня бредень — сто метров, пошли… А чего ты хромаешь-то? — Он осветил меня фонариком. — Да ты с заду вроде как треугольный сделался — вот интересно… Я эдакого и не видывал никогда… — В голосе его не было и намека на насмешку. — Завтра дощечку с собой прихвати — какой-никакой лабаз получится.

На другой день мы добывали рыбу. Один конец бредня привязали к кусту, отплыли на плоскодонке — я греб, а Колобан аккуратно опускал в воду «пудоши» — грузильца из обожженной глины — и следил, чтобы сеточка не запуталась и не перехлестнулась. Заведя

бредень, причалили к берегу и взялись тянуть — бредень не поддавался.

— Р-раз, два, взяли! — скомандовал Колобан.

Мы усердно рванули — бредень пошел легко, — и вытащили одну лишь верховую веревочку с пробковыми поплавками. Колобан посмотрел на веревочку, на озеро, на меня и шепотом изумился: «Мать честна-а, а где же пудоши-то?» Отчего уж так удивило его отсутствие грузов, когда исчез сам стометровый бредень, — не знаю. Помолчав, Ленька спокойно сказал:

— Тут на дне лесина лежит, еще когда-а в воду упавши…

— Тогда зачем же мы… тут?..

В задумчивости он пожал плечами, и ясный взгляд его нисколько не потускнел.

А на овсы мы с ним больше уж не попали — снова сбежал дед Семен, и сбежал впечатляюще: искали его всей деревней, искали день и другой. На третий — мы с Колобаном нашли. В старой риге километров за десять. Повели домой, и дорогою дед не переставал недоуменно бормотать:

— И чего им неймется? И чего враги все-то лезут на нас?..

— Ты про кого? — спрашивал Колобан.

— И тыщу годов назад, и пятьсот, и сто, и тридцать…

— А ты что — все помнишь? Сколь же тебе самому-то, дедушка?

Счет его годам был безвозвратно потерян.

— И при царях, и когда еще царей не было, и при нашей власти… И чего им неймется, и чего они лезут на нас?..

— Да про кого ты?

— Вот! — Он достал из кармана сложенный обрывок газеты и протянул нам: — Международное положение… почитайте!..

— В нужнике, что ль, нашел? — поинтересовался Колобан, разворачивая газету.

Дед Семен обиделся, не ответил.

Только завершили мы эпопею со стариком, как привезли Колобану запчасть, починили машину, и поехал напарник мой выполнять очередное задание. А в скорости пришла пора мне возвращаться в Москву.

— Ну вот, — сказал Колобан на прощание, — медвежью охоту ты теперь знаешь, в следующий раз займемся волками. — Был он совершенно серьезен.

Дед Семен той же осенью ушел воевать против очередного «захватчика», и более уже никто и никогда его не встречал. «Пропал без вести во время осенней кампании», — шутят и доныне его земляки.

## Дядя Вася

Был у меня дядя Вася. Не родственник, а старый приятель моего отца.

Отца давно нет, но приезжает вдруг дядя Вася и говорит: «Таисья пропала». Таисья — его жена. Стало быть, тетя Тая. Сколько-то времени уходит у меня на то, чтобы постигнуть суть происшедшего, — не видел я дядю Васю много лет, не видел, не слышал, и вдруг… Да и почему ко мне? У пего сын есть, внуки… Насчет сына выяснилось быстро — в командировке, а со снохой дядя Вася «раздрызгался». Что же до всего прочего — обнаружилась полная неразбериха: дядя Вася сумбурно и путано громоздил одну на другую какие-то истории, так что мне пришлось совершенно в духе криминалистических изысканий докапываться до первопричины, чтобы затем, отталкиваясь от нее, расположить события в разумной последовательности.

Начать, вероятно, следовало бы с того, что дядя Вася, сколько он был мне известен, «не любил» выпить. Впрочем, это — общее для всех дядей Васей свойство, а уж, отчего так — судить не берусь.

В пору моего детства, когда принято было каждое воскресенье либо принимать гостей, либо отправляться в гости, когда каждый праздничный день заканчивался дружным, хотя и не вполне стройным пением «камыша» и «рябины», дядя Вася частенько бывал у нас, да и мы наезживали к нему в Перерву. Теперь это Москва, а тогда — полвека назад — там еще водились рябчики, тетерева, да и зайчишки иногда попадались, так что к приезду нашему дядя Вася неуклонно добывал дичь. Работал он инженером на легендарной станции аэрации — ее знает всякий москвич, не имеет права не знать: отец мой, выбрасывая в унитаз окурки, привычно напутствовал их: «К дяде Васе»…

Тетя Тая принадлежала к известной фамилии: батюшка ее и дед в свои времена достойно поусердствовали на ниве отечественной живописи. Унаследовав от предков доброе предрасположение, она вела теоретический курс в художественном училище, при этом еще немножко «красила» и сама. Какой-либо оценки ее творениям — даже самой неграмотной — я дать не могу, так как видел их только в детстве и плохо помню. Сдается, правда, что работы ее были, безусловно, реалистичны. Однажды я сам наблюдал, как в писанные се рукой гладиолусы бился шмель. В другой раз дяди Васин гончак впрыгнул всеми четырьмя лапами в траву, изображенную на пейзаже, — пейзаж этот, подготовленный к выставке, был вынесен из дома и дожидался погрузки в автомобиль. Но, несомненно, лучшим подтверждением реалистичности ее холстов являлся случай, о котором любил рассказывать мой отец. Будто бы дядя Вася, вернувшись как-то с очередного ристалища, очень долго оправдывался: мол, не пил и не думал, да и вообще ни в одном глазу, ну, может, только так — кружечку пива, ну что ты молчишь, скажи хоть что-нибудь, — пока наконец не обнаружил, что беседует с автопортретом жены.

Тетя Тая была женщиной тихой, неразговорчивой и, как понял я с течением времени, довольно замкнутой.

Единственного сына их, а он был старше меня лет, наверное, на семь, я тоже не видывал с детства. Помню, как он, выучившись для необъяснимой надобности играть на самой большой трубе, демонстрировал мне свое умение: разложил ноты, два раза дунул, перевернул страницу, дунул вновь, теперь уже один раз, после чего вытер лоб и внушительно объявил: «Варяг». Тем же манером он исполнил еще несколько заветных вещей. Окончив школу и училище, стал офицером, служил все где-то далеко, и лишь выйдя в запас, вернулся в Москву. Тут-то и произошел «раздрызг» со снохой — насколько мне удалось понять, причиной тому послужила

неуемная захватническая страсть этой жен шины: проще говоря, она попыталась выжить стариков из квартиры.

Это все — предыстория. А история того события, которое привело дядю Васю ко мне, начиналась с позднейших времен. Постигая ее, я между тем названивал в милицию, морги, но безрезультатно.

…Выйдя на пенсию, дядя Вася решительно заскучал: прежде, бывало, он с приятелями чуть не каждый рабочий день завершал в шашлычной, а тут вдруг мир ограничился стенами квартиры, для «выходов» же остались одни юбилеи да поминки. Он уж и выпивать почти перестал — здоровье не позволяло, но по гостям хаживал, случая упустить никак не мог. Хаживал пообщаться, разговоры послушать, любил, чтобы послушали и его. Дяди Васины рассказы я помнил с детства.

Про то, как ехали на аэродром — в Боровичи, кажется. Опаздывали, а машина то и дело ломалась. В конце концов, не поспели — «Дуглас» взлетел у них на глазах. Дядя Вася набросился на шофера, дело дошло чуть ли не до расстегивания кобуры, но в это время раздался взрыв — самолет упал. Шоферу потом, винясь, флягу спирта отдали. «Полнехонькую», — подчеркивал дядя Вася.

Другой эпизод касался выхода из окружения. С одним сержантом перебирались по гати через болото — дело было под утро: сумерки, туман. Слышат — навстречу немцы идут. Ну, сползли в топь — с головой, а руками за бревнышки ухватились. Немцы прошли, не заметили. У дяди Васи один палец так и не разгибался с тех пор — крючком, сержанту же отдавили кисть — пришлось ее ампутировать, а потом он и вовсе помер от гангрены.

Третья эпопея происходила в какой-то европейской столице уже после подписания капитуляции. Дядя Вася брел по ночной улице и обнаружил «виллис» со спящим водителем: «Пьян мертвецки! Голова на руле, руки обвисли!» Растолкал. Объяснил, что ему надо в штаб, поехали. А когда подъехали к КПП, где горели яркие фонари, дядя Вася увидел на капоте машины огромную белую звезду: «Американец! И как он понял, куда меня отвезти? Ну, малый! Ну, силен! Выгрузил — и опять отрубился!»

Был у дяди Васи еще сюжет — про возвращение с японской. Он приехал в Перерву на белом коне, к седлу которого была приторочена фисгармония, а на поясе самого дяди Васи болтались три огромнейших пистолета. Пистолеты потом пришлось сдать. Правда, сдал дяля Вася только два — третий тетя Тая утопила в Москве-реке. Вместе с сотней патронов. Коня конфисковали по закону о раскулачивании, а фисгармония сохранилась, и тетя Тая с удовольствием играла на ней «Баркаролу» Петра Ильича Чайковского.

Все это дядя Вася обычно и рассказывал гостям юбилеев и поминок. Тетя Тая его путешествий не одобряла и сама никогда в них не участвовала. А тут получилось трое поминок подряд — дядя Вася аж в Саратов гонял, и тетя Тая не выдержала: перед третьими похоронами обиделась. А когда гуляка вернулся, — и ездил-то на один денек, третьи поминки недалеко были, в Мытищах, — супруги на месте не оказалось: «Таисья пропала!»

Ее не было день, ночь, а наутро дядя Вася начал метаться и попал ко мне: он пребывал уже в полной растерянности и ничего полезного придумать не мог.

Звонили десяткам знакомых — близких, полузабытых и забытых совсем, опять в морги… Наконец в одном из них нас «обнадежили»: поступила сбитая автомашиной женщина без документов. Впрочем, тут же и выяснилось, что ни по одежде, ни по внешности, ни по

возрасту, несчастная ничего общего с тетей Таей не имела.

Не берусь теперь восстановить ход своих мыслей, только в какой-то момент я поинтересовался у дяди Васи, не могла ли супруга его по собственному ее желанию прилечь в больницу? Оказалось, могла: знакомая врачиха давно уже уговаривала ее пообследоваться на предмет повышенного давления, почек и чего-то еще, но тетя Тая пожимала плечами — у нее не болело ну совсем ничего.

Отыскали больницу, тут же и супруга нашлась. Старики маленечко побеседовали, дяде Васе велено было немедленно возвращаться домой и встречать тетю Таю. Так закончился этот нервический эпизод. Я звонил в милицию, полузабытым родственникам и знакомым, виновато давал «отбой», а дядя Вася возбужденно и весело мешал мне.

— Представляешь, — рассказывал он, едва сдерживая радостный смех, — она спрашивает: «Ты все-таки поехал к Пучкову?» Я говорю: «Поехал». А она: «И Валентина там была?» Я говорю: «А как же!» Она тогда: «Ну и как она?» Я говорю: «Почти не изменилась». Таисья аж чуть не взвыла. «Ты, — говорит, — и прежде ей шоколадки покупал, а мне ландрин»… Ну, ничего, обошлось…

— Какая Валентина?

— Не помнишь, что ли? А! Это до тебя было. Когда мы в Москву приехали, у Таисьи подруга завелась, Валентина, ну она и давай меня к этой подруге ревновать — та уж и замуж вышла, а эта все… Ландрин какой-то…

— Когда ж это было?

— Это?.. Году, наверное, в двадцать восьмом.

— И что, с тех пор так и тянется?

— Ну да: то к Валентине, то еще к кому. Валентины-то я лет пятьдесят не видел — она теперь согнутая вся, с клюшкой, а тогда — ничего была.

— И не тяжело, дядя Вась?

— Чего?

— Ну, терпеть все это?

— А чего тут тяжелого: жена — она и есть жена, мы с ней уже седьмой десяток вместе живем… С ней-то легко, а вот со мною… Я же одно время знаешь до чего допился?.. А-а, то-то же. В общем, стали ко мне являться лукашки да окаяшки. Как надерусь, они и являются.

— Что, с копытами и рогами?

— Насчет этого не скажу: на ногах — штиблеты, а волос у них кучерявый, так что не разглядел, да и хвостов не видал — при костюмах ведь, но в остальном — носатые и серой воняют, вот, брат!.. Один, кстати, сильно похож был на председателя худсовета, которому Таисья картины сдавала. Он все пейзажи не любил, заводы все требовал, фабрики… да. Ну, это так, к слову. Однажды я, знаешь, психанул на них, а они народ такой, все, бывало, посмеиваются да ухмыляются, — ну, психанул, стало быть: схватил топор и ка-ак хрястну! Что тут бы-ыло!.. Искры, огонь, дым… Оказалось, по телевизору саданул. Ну, выкинул телевизор. И этих, знаешь,

сразу же поубавилось. Сильно поубавилось… Вот, брат… Так что несладко ей со мною пришлось, несладко. Однако шестьдесят лет прожили. Это вы — нынешние: чуть что не так — побоку, разошлись, как в море корабли. А чего расходиться-то? Это ж — крест: взвалил на себя — и неси, до упора неси, до конца. Чего его сбрасывать-то? Увидишь какой поменьше, думаешь: о, возьму его! Сбросишь свой, новый подхватишь, а он хоть и поменьше, зато из чугуна. Потом глядь — еще меньше: цап его — а он вовсе свинцовый. Сменяешь на пенопластовый, — а тот орясина — за все кусты задевает. Снова какой-нибудь деревянный подберешь — ан весь в занозах… Так что тащи, что дали, и не рыпайся: браки совершаются на небесах — это мне Таисья сказала, когда я начал ее… это… уговаривать… Мы ж с ней на дороге лесной сошлись: я из дома сбежал, учиться двинул, а у нее родителей шлепнули, вот и шастала, неприкаянная… Было нам тогда по пятнадцать лет. Ну, на небесах, говорю, так на небесах: зашли в церковь, обвенчались, вот и живем с тех пор. А насчет разных там выкрутасов, вроде больницы этой, — ерунда, на ход поршней не влияет. Как наставлял меня тот священник — ну, который венчал нас: «Женщина — сосуд слабый, немощный, ты уж побереги ее». Так что извини и спасибо.

Мы попрощались, и дядя Вася ушел. Через несколько минут позвонила мне тетя Тая. Попросила прощения за то, что «по своей бабьей глупости» — ее слова — доставила столько хлопот мне и Василию — «человеку великодушному и благородному». «Вы знаете, — сказала она, — кроме меня, никто и не ведает, как он прекрасен и чист — я ведь и мизинца его недостойна…»

Так что же соединило этих столь непохожих людей на весь их жизненный срок?.. Во времена, когда семья все более и более напоминает собой поле бессмысленной и жестокой битвы, супружество дяди Васи и тети Таи изумляет своею едва ли не фатальной надежностью.

Дело тут, думается, вот в чем: они верили, что браки совершаются на небесах, потому их брак на небе и совершился.

## Шел третий день…

Маленький этот институт занимал первый этаж старого арбатского дома. Собственно, институт давно уже был присоединен на правах филиала к другому, значительно более солидному, но благодаря, вероятно, территориальной автономии сохранил свой уклад и свою вывеску с длинным названием.

Человек, впервые попавший сюда, — скажем, новый курьер из министерства или провинциальный командированный, — распахнув двери, застывал обыкновенно на месте, пораженный богатством и разнообразием флоры: цветы пышно вздымались на подоконниках, гирляндами ползли по стенам и потолку, свисали со стеллажей и шкафов.

Спросив прощения, новичок выходил на улицу, вновь вчитывался в облезлую вывеску и, пожав плечами, решался на вторую попытку. Когда, еще раз поздоровавшись, он робко интересовался, не здесь ли находится институт с тем самым названием, шесть женщин, которых он поперву в этих джунглях и не углядел, наперебой начинали заверять его в том, что он действительно не ошибся.

Гостя усаживали в продавленное кресло, тотчас же включался электрический самовар, извлекались из сумок конфеты, сухарики и печенье. Гость порывался было объяснять, зачем он здесь, но на него махали руками: потом, потом!

Тут появлялись еще какие-то женщины, начинали рассказывать про дела магазинные, кто-то исчезал, потом возникал вновь… И скоро уже гость совершенно путал сотрудников института с

жильцами дома, его уже кормили домашними пирожками, сырниками, винегретом, в который раз поили свежезаваренным чаем, приглашали в двенадцатую квартиру «на собственную наливочку», в двадцать восьмую — «принять под грибки», а пудель с четвертого этажа уже плясал на задних лапах лезгинку… Тут вдруг призрачным видением из-за лиановых зарослей являлся мужчина, передавал пакет секретарше и вновь исчезал. «А кто это?» — изумлялся освоившийся гость. «Это же Карцев!» — с не меньшим изумлением объясняли ему.

Посетитель, подумав несколько, вспоминал, что именно к этому Карцеву он и приехал, что именно этот Карцев и должен завизировать какую-то важную бумагу: сводку, справку или отчет. Продравшись к месту, где только что промелькнуло видение, гость обнаруживал традиционнейший коридор: прокуренный и неимоверно голый.

Найдя дверь с нужной табличкой, он виновато стучался, входил, и взору его представал усталого вида мужчина лет сорока пяти — Владимир Иванович Карцев, директор филиала. Оторвавшись от бумаг, Владимир Иванович здоровался, снимал очки, мял отекшие веки, выслушивал посетителя, вновь надевал очки и, просмотрев поданные документы, расписывался.

Карцев служил в этом учреждении с тех пор, как оно стало филиалом: начальник главка уговорил отложить докторскую и года два, пока будет проходить реорганизация, «посидеть в кресле». Карцев проработал два года, проработал третий — замены не находилось. Он жаловался, ругался — его просили, умоляли «ну хоть чуточку, хоть немного совсем», устанавливали «крайний» срок, потом «последний», потом «окончательный». Так время и шло. И все дальше за спиной оставалась не доведенная «до ума» докторская, все труднее становилось Карцеву устоять на ногах в бумажном ворохе отчетов, сводок, справок и отчетов об отчетах.

Нельзя сказать, что руководимый Карцевым филиал не делал совсем ничего. Делал. Приносил какую-то пользу. Так, по крайней мере, полагали вышестоящие инстанции. Они же, надеясь, что польза полагаемая может превратиться в ощутимую, и проводили перманентные реорганизации: то, скажем, отнимут у филиала собственную бухгалтерию, то наоборот — возвратят, то упразднят должность инспектора по кадрам, то восстановят. Однако сколь-нибудь заметного роста полезности добиться не удавалось.

Карцев же, воспаряясь иногда мыслью к интересам общегосударственным, всякий раз обнаруживал, что контора его более всего принесла пользы, когда б закрылась. Но, понимал он, рассуждения эти из области утопических: за три года он, как ни бился, не смог уволить и одного бездельника, что уж тут говорить о закрытии целой конторы — так, грезы… Словом, служилось ему безрадостно.

Семейные обстоятельства Карцева были такими, какими они, к сожалению, куда как часто бывают: дети становились все более любимыми, жена — все более раздражающей.

И нет, пожалуй, ничего удивительного в том, что подчас жизнь делалась для него попросту невыносимой. Случалось, в тяжкие минуты прихватывало сердце, и Карцев подумывал о скором инфаркте; случалось, сильно болела голова, лопались в глазах сосуды — Карцев начинал подумывать об инсульте; бывало, что и голова и сердце болели сразу. «Интересно, — гадал он, — от чего же все-таки помру — от инфаркта или от инсульта?»

Отдыхалось Карцеву лишь на рыбалке. Причем уставал он сильнее всего зимой, и оттого, по-видимому, рыбалку предпочитал зимнюю.

Заранее наметив день, Карцев тщательно готовил удочки, укладывал их в ящик, собирал продукты, правил лезвие коловорота, запасался на «Птичке» мотылем — и в яростной, угрюмой сосредоточенности устремлялся к какому-то безымянному водоему, на льду которого по выходным дням собиралось меж тем такое значительное множество подобных Карцеву беглецов, что лед, случалось, и не выдерживал.

Как-то среди зимы, в глухую, по рыбацким понятиям, пору, когда рыба ловится совсем плохо, Карцев оказался километров за триста от Москвы на маленьком полустанке, какие теперь редко где встретишь: с одиноким домиком смотрителя, с полуразрушенной — вероятно, еще в годы войны — водокачкой, с железным, вручную переключаемым семафором, с занесенным снегом полотном тупика, с ненынешним фонарем стрелки, за стеклом которого неровно и тускло мерцал керосиновый фитилек.

Железная дорога пересекала здесь незначительную речушку, на которой Карцев и предполагал порыбачить. Приехал он ночью. Спрыгнул в снег — поезд сразу же тронулся. Дождался, когда скрылись вдали красные огоньки хвостового вагона, и стихла поднятая составом метель, прошел на лед и еще затемно насверлил лунок, установил брезентовый тент-шалашик, словом, вполне угнездился.

Время от времени проползали вверх по реке грузовики-лесовозы. Метровый лед сухо и неопасно потрескивал, свет фар выхватывал из темноты берега, где — пологие, заснеженные, где — обрывистые, с частоколом сосен.

Рассвело. Поклевок не было. Карцев взялся сверлить новые лунки, пробовал на блесну, на поплавочную удочку, на мормышки: светлые, темные, тяжелые, легкие, «капелькой», «дробинкой» — весь арсенал перебрал. Менял насадку, прикармливал мелким мотылем, панировочными сухарями — безрезультатно. Он, однако, был рыболовом со стажем — знал, что не ловится рыба куда чаще, чем ловится. Унынию не поддался — свернул брезент, спрятал его в рюкзачок и отправился искать рыбу. Шутки ради просверлил лед под мостом — а у быков давление обычно повыше, — из лунки ударил фонтан, вода разлилась широким озером, а Карцев пошел себе дальше, насвистывая какую-то песенку, благо не было рядом жены, которая враз бы: «Не свисти! Денег не будет!»

«Ну и шут с ней, с рыбой — думал Карцев, — пусть не клюет. Все равно домой только в воскресенье поеду». А пока была лишь только пятница.

Сорок девять дыр насверлил Карцев: на глубине, на отмелях, на фарватере и в заливах. Из пятидесятой — «юбилейной» — извлек меленького прозрачного ерша. Подержал на ладони: «Ежели с полусотни лунок будет ловиться по одной штуке, то, чтобы на ушицу, — коловорот до рукоятки сточится», — и отпустил рыбешку.

Тут возник на берегу мужичок. Подошел, поздоровался, поинтересовался уловом. Карцев представил исчерпывающие объяснения и узнал, что «рыбы ноне совсем в реке нет, совсем: летось электроудочками повыбили».

— Теперь весны ждать надо! — заключил мужичок. — Как новая вверх пойдет.

— Понятно. — Карцев огорчился всерьез, и вовсе не из-за того, что весны надо было ждать долго, а из-за того, что опять, в который раз за последние годы, попал он на водоем, загубленный браконьерскими электроудочками.

— А ты сходил бы на озеро, — предложил мужик.

— Так это опять возвращаться, поезда ждать…

— Зачем? Поезд крюка дает, на поезде аж сорок километров будет, а прямиком, — махнул он рукой, указывая направление, — километров семь-восемь.

— А там есть, где переночевать?

— Поселок там, я и сам там живу. Ты вот что: как дойдешь, попадется тебе завод спервоначалу — забор, проходная, ветка железнодорожная — увидишь. Балки там делают, ну… вагончики блескучие для лесорубов. В четыре часа рабочие домой пойдут, ты поспрошай, пустит кто-нибудь, народ у нас добрый, приимчивый. Я бы тебя к себе пригласил, да в деревню иду за лошадью, в деревне, видать, и переночую…

К четырем часам Карцев добрался до поселка, нашел завод. Из проходной вышли несколько женщин. Выбрав посимпатичнее, Карцев с ненатуральной игривостью в голосе попросил:

— Хозяйка, не дай замерзнуть приезжему человеку, возьми переночевать!

Она в ответ лишь усмехнулась и покачала головой. Но приостановилась.

— Да я серьезно, — сказал Карцев, сердясь на самого себя. — Из Москвы на рыбалку приехал, а переночевать негде. Я заплачу.

— Дело не в этом, — снова усмехнулась она, но на сей раз, как показалось Карцеву, уже мягче, добрее. — Семья большая, детей полон дом… Валь! — остановила она проходившую мимо женщину. — Кто у нас рыбаков пускает?

— Максютиха, — ответила Валя, — Татьяна Фролова, кто еще? Зойка Пальникова… Во, Зойк! Поди сюда!

Подошла еще одна женщина.

— Зойк! Возьми рыбака, — попросила ее симпатичная, — а то у меня, сама знаешь, детский сад целый, да у Колюшки еще и ухо болит — настыл где-то…

— Да где ж? — возразила Валя. — Говорю тебе, в хоккей гоняли, он шапку сбросил — запарился, видать, — а на озере ветер… Я уж кричала, кричала ему, а он — ноль внимания.

— Приду сейчас, устрою ему «ноль внимания»!

Карцев, глядя то на разговаривавших, то на Зойку, ждал.

— Идемте, — хрипловатым голосом сказала она.

Сначала шли вчетвером: женщины наперебой рассказывали о своих ребятишках, Карцев молча тащился сзади. Потом оказалось, что им с Зойкой сворачивать. Карцев поблагодарил женщин за заботу. Попрощались.

Зойка жила на втором этаже бревенчатого коммунального дома. Войдя в квартиру, она зажгла свет и, не оборачиваясь, устало проговорила: «Раздевайтесь, разувайтесь, мы с дочерью — в маленькой комнате, вы — в большой: хоть на кровати, хоть на тахте», — повесила пальто и пошла растапливать печь.

Карцев снял тулуп, валенки, заглянул в большую комнату, которая оказалась совсем в общемто

не большой, и обнаружил порядок невероятный: занавесочки, покрывала, салфеточки — все чистенькое, беленькое, отутюженное…

— Мне б лучше всего на пол, — рассудил он, — у меня вот и тулуп есть…

— На пол — это когда много народу, — все тем же усталым голосом сказала хозяйка, — а один — чего же?

— А дочка у вас взрослая? — поинтересовался Карцев лишь для того, чтобы хоть что-нибудь говорить.

— В детском саду. Ужин приготовлю и схожу за ней. Да что вы там стоите? Проходите, садитесь — небось намаялись. Чайку сейчас вскипятим — на газу быстро. Печку — это я для тепла.

Карцев вытащил из рюкзака продукты, прошел на кухню:

— Я вот тут… — он стал вытаскивать из пакетов задубелый хлеб, каменно твердую колбасу, сыр, консервы.

— Да пригодится вам еще, — мельком глянув на стол, сказала хозяйка.

— Тут хватит. К тому же ледяное все.

— Ну, пускай остается, — согласилась она.

Потом Карцев искал место, где можно было бы пристроить до утра мотыля: чтобы и не замерз, и не запарился. Пристроил на лестнице ближе к первому этажу. Хозяйка уверила, что жильцы в доме насчет рыбалки грамотные и мотыля не тронут.

Наконец пили чай. Карцев вспомнил про пакет пастилы и угощал пастилой хозяйку.

— Жена небось положила?

— Нет, — возразил Карцев, — сам. — Понял, что сказал это зря, что теперь могут последовать какие-то новые вопросы, и свел все к шутке:

— Она фигуру мою бережет, — неуверенно улыбнулся, — так что это я сам себя побаловал… Да вы ешьте, не стесняйтесь, пожалуйста, — тут он смутился совсем, — я ведь терпеть не могу сладкого, это — так… подвернулось перед отъездом — взял. Девочку угостите, — и отодвинул пакет от себя подальше, к другому краю стола.

Пока хозяйка ходила за девочкой, Карцев изучил последние номера районной газетки, зевнул, осмотрелся и машинально, без всякой цели, определил: «Мужика, пожалуй, и не было — некрасивая. И девочку, наверное, так прижила, без мужа… Девочка в детском саду, хозяйке — за сорок, родила она, значит, лет в тридцать восемь — тридцать девять… Последний, можно сказать, шанс использовала… Какая-то уж совсем неухоженная: волосы патлами, нерасчесанные, двух верхних передних зубов не хватает, да и нижние не все. И уж, похоже, давно так: почти не шепелявит — приноровилась… Какой уж тут муж?.. Живет теперь для дочери — в доме порядок, чистота, и дочка, скорее всего аккуратненькая, чистенькая девочка. Ну и все правильно, молодец мамаша. Может, она лучшая работница на своем заводе…»

Чай, тепло, телевизор разморили его, он прилег на тахту, уснул и проснулся только тогда,

когда все передачи кончились: хозяйка выключила телевизор и легонько тронула Карцева за плечо. Он смущенно поднялся: «Вы уж извините, пожалуйста». Она попросила говорить тише, Карцев сообразил, что уже поздно, что девочка спит.

— Идите пока на кухню, покушайте, я вам постелю.

Он вспомнил, что до сих пор так и не ужинал, сел к столу. Тут пришла и хозяйка, занялась мытьем посуды.

Завалившись в кровать, Карцев слушал, как хозяйка прибирается на кухне, моет посуду — слушал, задремывал, но не засыпал: «А что, если она, домыв посуду, разденется да и ко мне, а?.. Не красавица, конечно, но вообще-то бабешка спокойная, добродушная… Душевность какая-то в ней, конечно же, есть, так что… И потом: что я — не живой человек? Сколько можно жить монашеской жизнью?..»

Супруга его принадлежала к числу тех женщин, для которых мужчина — не более чем компаньон в деле продолжения рода. Обрушив когда-то на Карцева поток страсти, она благополучно произвела на свет двоих детей, а затем, отметив, что Карцев накрепко к сыновьям привязался, стала решительно пренебрегать своими обязанностями. Карцев иногда робко интересовался, намекал, но жена отвечала ему так, как, наверное, отвечала бы в людном месте на домогательства чужого мужчины. «Как не стыдно?!» — восклицала она с гневным недоумением и, поостыв, начинала рассказывать об очередном производственном совещании. В конце концов, Карцеву действительно стало стыдно, он переселился на раскладушку и полюбил книги об отшельниках и монахах. Время от времени задавался целью найти «бабешку», но для этого необходимо было хоть ненадолго вырваться из круга суетной каждодневности, но где там! На рыбалку бы раз в год попасть! И вот попал: и рыбалка тебе, и женщина…

В этот момент она и явилась. Карцев сжался, отодвинулся к стенке, но хозяйка прошла мимо, в свою комнату, и прикрыла дверь. Карцев подождал, подождал и вдруг, к стыду собственному, обнаружил, что раздосадован…

Среди ночи возник непонятный шум, зажегся свет. Карцев встал: все двери настежь. Оделся, вышел на лестницу. Оказалось, что стало худо старухе соседке. Хозяйка побежала за фельдшерицей. Карцев сел возле старухи — присмотреть. Вид у нее был безжизненный.

Явилась заспанная фельдшерица, сделала старухе укол, та очухалась. Вздохнула и, ни к кому не обращаясь, тихо произнесла: «Всего-то и жизни было — три дня. День — в девчонках побегала, — день в девушках погуляла, день — все остальное: работала, растила детей…» Слова эти произвели на Карцева тягостное впечатление: он давно уже — лет в тридцать — понял, что жизнь коротка необычайно; частенько, словно из-за угла подсматривал он быстротечность времени. Он засекал его стремительность, прежде всего по изменениям в лицах знакомых, родных, в своем лице; потому, что все чаще и чаще вспоминал в разговорах о событиях, происшедших двадцать пять, тридцать, а теперь уж и сорок лет назад; но более всего изумляли Карцева старые стенные часы: в детстве ему казалось, что бьют они чрезвычайно редко, теперь же они били почти без перерыва. Да, но чтобы всего три дня?..

— Я ведь уже оттуда гляжу, — прошептала старуха, обращаясь, как и прежде, ни к кому. Карцев понял, откуда она глядит.

— Позавчера — девчонка малая, — продолжала старуха, — вчера — с Колюшкой своим миловалась… Колюшка, он уж сколь годов в земле лежит, меня дожидаючись… А потом —

сенешний день — и все, закрыла глаза. — И все...

Между тем приближалось утро, Карцев отправился на озеро.

Он прошел мимо огромной проруби, возле которой лежал черпак с длинной ручкой — здесь, очевидно, местные рыбаки намывали себе мотыля; прошел мимо одинокого рыболова, устроившегося не иначе как возле прикормленных с вечера лунок: прошел далеко и в каком-то непонятно почему приглянувшемся месте остановился: «Нет, я все понимаю, — поставил ящик, снял с коловорота чехол, — но чтоб три дня...» — и начал сверлить.

Вяло поклевывали мелкие окуньки — «матросики», изредка брала небольшая плотва — Карцева это вполне устраивало. Оказалось, однако, что в других местах не клюет, к Карцеву стали сползаться рыбаки, его «обсверлили», засветили воду через множество лунок, и сторожкая рыба ушла. Пришлось перебираться еще дальше. Поначалу его преследовало несколько человек, полагавших, наверное, что он знает удачливые места, но, постепенно, разочаровавшись, отстали. К этому времени он оказался уже на противоположной стороне озера.

Погода стояла тихая, пасмурная, клева не было. Карцев от нечего делать решил посмотреть, что творится подо льдом, лег на брюхо, сунулся в лунку и замер, увидев опухшее от недосыпа лицо. «Тьфу, рожа!» — плюнул в лунку, поднялся, побродил вокруг, гася вспыхнувшее раздражение, потом прилег прямо на снег, благо был в тулупе и ватных штанах, и уснул нездоровым, тяжелым сном.

Проснулся от холода. Стало сумеречно, задувал ветер. На озере не было видно ни одного рыболова. Вдалеке неспешно трусили по льду две собаки. Следовало бы возвращаться, но Карцевым овладело гнетущее, мутное безразличие: «А ну их всех...» Никого не было рядом, никого — вокруг: «И хорошо, здесь и останусь. Вот он, мой третий день... Какая разница — длиннее он или короче будет, важно, что старуха права: всего три дня, третий — последний... Никого... А никого мне и не надо...»

Приподнял голову — собаки подошли ближе и теперь стояли, повернувшись к Карцеву. «У меня и угостить-то их нечем. Небось на гулянку... или с гулянки...» И вдруг он, не успев еще осознать происходящее, рывком поднялся, схватил коловорот и замер в животном страхе. Хотел крикнуть и не сумел — горло, челюсти свело, словно параличом. И только теперь Карцев услышал бешеную скороговорку крови в висках: «Вол-ки, вол-ки, вол-ки...» Только теперь смог осмыслить и оценить ситуацию.

Звери стояли неподвижно: спокойно и терпеливо выжидали. Карцев, опустив руки, наклонился — это движение всегда безотказно отпугивало бродячих собак, — но волки не пошевелились. Подняв пустую бутылку, он швырнул ее в сторону животин. Не долетев нескольких шагов, бутылка упала на слежавшийся снег и скользнула вперед. Волки чуть отпрянули и снова остановились. Тогда Карцев, захлебываясь в истошном крике, бросился на волков. Оставалось совсем немного: он уже замахнулся коловоротом, готовясь крушить налево и направо, покуда хватит сил... Потом он понял, что зверей не напугал — они не вздрагивали, не поджимали хвосты, но, похоже, яростное желание защитить свою шкуру произвело на волков впечатление: отвернувшись, они легкой рысцой — шаг в шаг, след в след — направились к поселку. Карцев вздохнул было с облегчением, но тут же сообразил, что делает это преждевременно, что угроза столкновения вовсе не миновала. Становилось уже совсем темно, надо было двигать в поселок, но именно туда пошли и волки... Взяв ящик, Карцев заспешил вслед за ними. Шел он быстро, почти бежал, сжимая в руках полутораметровую железину коловорота. Опасаясь нападения сзади, оборачивался, озирался по сторонам. Запыхавшись, остановился, сел на ящик отдохнуть,

отдышаться и услышал вдруг:

— Тпрру! Здоров, рыбак! Дня не хватило? — Подъехали сани, в санях — вчерашний мужик.

Карцев торопливо и сбивчиво стал рассказывать.

— Да знаю я! — отвечал мужик. — За собаками ходят. У меня и ружье всегда с собой взято, — он откинул рогожу, показывая ружье, — да вот не попадаются разбойники! Залезай, вместе поедем… Прямо на мешок и садись — в нем рыба мороженая, не раздавишь.

— Откуда столько рыбы?

— Да это мы сетью для магазина ловим. Хочешь — покупай: сдадим сейчас в магазин, там и возьмешь. Сел?

Поехали. Карцев, не переставая, рассказывал и рассказывал, как он принял сначала волков за собак, как бросил бутылку, как бежал. «Ну, совсем не испугались: отвалили в сторонку, и хоть бы что…»

— Чего им бояться? Хозяева! На ферме сколь телят порезали, сколъ собак — всем кранты вышли! Одна Буська их не боится — кошка, стало быть. На ферме она живет. Сама черная — жуть! А башка белесая, вроде как седая. Ну вот… Волки придут, а она по крыше носится, воет: дразнит, значит, их, бармалеев. Они обсердятся и тоже, значит, взбрехивать начинают. Ну, сторожиха, бывало, услышит да трансформатор, что для электродойки, как включит! А он ревет, будто много бомб сразу падают… Ты под бомбежку не попадал? Не?.. Ну да, малой еще совсем был. Хотя и малым доставалось. Стало быть, повезло… А волки, значит, и утекают. Такая Буська… Случалось, с крыши слетала — по нечаянности, конечно. На волков прямо. И ничего, сберегалась, а как — кто ж ее знает.

— Вы бы покараулили волков, — предложил Карцев.

— Караулили, — махнул рукою мужик. — Пока караулишь — их нет, только уйдешь — тут как тут…

Въехали на берег, на улицу. Сдали рыбу в магазин, и Карцев купил пять килограммов. «Будет теперь с чем в Москву возвращаться, — весело говорил он, укладывая окуней в полиэтиленовый пакет. — А то обычно: пустым приедешь — жена спрашивает, где был; мелочи привезешь — говорит: «Возись сам». Мужик еще и довез его до Зойкиного дома. Там началось: «ах», «ох», да «где ж это вы пропали», да «мы уж переволновались тут». Карцев снова определял мотыля, снова смотрел телевизор, ужинал.

Но в этот вечер прекраснодушие ни на минуту не покидало его. Он любил сейчас всех: не только детей своих, жену, хозяйку и ее дочь, любил спасителя-возницу и оклемавшуюся соседку, любил местных рыбаков… Он любил всех. Любил безоговорочно, безоглядно.

Укладываясь спать, увидел в трюмо свое отражение: глаза блестели, щеки пылали, губы расплывались в улыбке. «Вот что значит свежий воздух, вот что значит рыбалка!» — выключил свет, лег и в темноте: «Особенно если с волками и если идет третий день», — не удержался от соблазна осадить самого себя.

И тут же почувствовал, что кровь начинает отливать от щек, глаза становятся суше. «Интересно, как выгляжу я теперь», — с холодной иронией подумал он, но вставать и зажигать свет поленился.

## Охотники

В молодости, когда я много охотился, были у меня в районном городе С. два компаньона: дядя Миша и Николай. Друг на друга совсем не похожие — и внешне, и по своему внутреннему укладу, и по восприятию предмета нашего интереса. То есть любили они охоту одинаково горячо, но при этом подход к ней был у каждого неповторимо своеобразен.

Надо признать, что пары совершенно разнородных охотников, относящихся друг к другу уважительно и пребывающих при этом в постоянном соперничестве, встречались мне неоднократно. Как правило, их состязательность начисто лишена перспектив, поскольку каждый усердствует на своем обособленном поприще, и сравнивать их достижения нет возможности. Вероятно, так случается потому, что охота во всей ее полноте — понятие сверхобширнейшее и в одного человека никак не вместимое. Вот люди и преуспевают лишь в отдельных частях всего состава: один увлечен меткой стрельбой, — другой натуралист-созерцатель, третий влюблен в старые ружья, четвертому веселую компанию подавай, пятый — добытчик и всегда рассчитывает на прибыль, шестой любит путешествия с приключениями, седьмой — собачник… можно продолжать и продолжать…

Дядя Миша был стар и глух. Но что самое примечательное — невероятно суеверен. Ни до, ни после я никогда не встречал человека, в котором суеверие было бы доведено до такой высокой степени совершенства. Впрочем, обо всем этом я узнаю несколько позже, а предстал он предо мной в ореоле самого многоопытного охотника всего здешнего края.

Утром, еще затемно мы выходили из лома и направлялись к окраине — тогда по улицам этого города можно было свободно ходить с расчехленным ружьем. Тут из каких-либо ворот выходила баба с метелкой, чтобы подмести перед своими окнами земляной или деревянный тротуар, дядя Миша испуганно вздрагивал и мы, развернувшись на месте, поворачивали в обратную сторону. Потом нам попадалась баба с пустым ведром, потом — с распущенными волосами, наконец, черная кошка, подбитая ворона, хромой щенок… Все это могло иметь исключительно неблагожелательный смысл, и мы метались по городу взад-вперед, влево-вправо, пока не оказывались на аэродроме или на кладбище.

Кладбище там старинное, сплошь заросшее березами, черемухой, и бузиной, так что однажды я заплутал и начал аукаться, но дядя Миша, который тоже запутался в лабиринте оград и кустов, по глухоте своей меня не услышал. Зато услышал священник, вывел из дебрей и для отыскания моего напарника помолился Иоанну Воину и мученику Трифону. Дядя Миша скоро нашелся, но время близилось к часу обеденному, и батюшка пригласил нас к себе домой. Погостили мы замечательно — до позднего вечера. Во время обеда дядя Миша много и с мечтательностью рассказывал о настоящей охоте, какая случалась в старые времена.

— Как же ты сквозь баб за околицу выбирался — или их тогда меньше было? — спросил священник.

— Нет, просто я примет меньше знал.

— Потому и охота у тебя складывалась. А теперь дребедени набрался и пугаешь ружьем покойников. Первый устав российского флота повелевал за суеверие — в мешок и за борт. Понял, безбожник?.. Вот Николай, твой бывший приятель, человек несуеверный, на праздники в храм ходит, исповедуется, причащается, так к нему зайцы сами под ноги бегут…

Впрочем, несколько раз нам удавалось вырываться из города, и мы охотились на опушках вокруг деревень: один из нас шел полями вдоль леса, другой — чуть в глубине, среди деревьев,

мы нагоняли друг на друга тетеревов, рябчиков, глухарей. Дядя Миша хорошо знал угодья, и охота была фартовой, но без манер, беспородной какой-то.

Однажды, не помню уже при каких обстоятельствах, познакомился я с Николаем, которому дядя Миша по причинам мне непонятным, определенно завидовал, и с тех пор я ездил уже к нему. Николай тоже был весьма великовозрастным, но моложе приметливого суевера. К дяде Мише он относился вполне добродушно, жалел его и молился за него. Николай во всем любил обстоятельность, ценил традицию и уклад. Он держал гончих, и мы удачливо охотились по чернотропу.

Рано утром, еще в темноте, с ружьями и собаками мы пешком уходили за городские окраины, весь день бродили по окрестным полям, вечером так же пешком возвращались домой. Измотанные собаки устало брели по деревянным тротуарам, уступая дорогу редким встречным прохожим, которые приветствовали нас и весело поздравляли «с полем».

Николай кормил собак, хозяйка кормила нас, наконец, мы усаживались на диван под картиной с подписью Юлия Юльевича Клевера, изображавшей весенний десной пейзаж с тянущим вальдшнепом, и отдыхали. Николай уверял, что полотно действительно принадлежит кисти дореволюционного академика и висело раньше в какой-то дворянской усадьбе. Вот по этому полотну и воздыхал дядя Миша, утверждавший, что в прежние времена у каждого настоящего охотника была картина художника Клевера. Мне, правда, казалось, что краска как-то уж слишком свежа для девятнадцатого столетия, клюв у вальдшнепа великоват, да и сам он несоразмерен, но все равно радостно было сидеть под такой картиной.

Приходил кот — черный, большой, с истрепанным в битвах ушами: садился на полу против нас и слушал наши беседы. Поначалу — внимательно, то, переводя взгляд с одного на другого, то, задумчиво опуская его долу, словно участвовал в разговоре. Потом зажмуривался, начинал урчать и перебирать когтями льняную дорожку. Наконец, неопределенность положения надоедала ему, он вспрыгивал на диван, устраивался между нами и засыпал.

Первым ушел Николай, успевший перед кончиной подарить дяде Мише завидную собственность. Однако тот недолго любовался художественным творением...

Батюшка отпел их обоих, и они упокоились рядышком на дремучем погосте, где так славно было плутать с ружьем.

## Сапоги из Трапезунда

Не желая кого-либо обременять, я спросил ближайшую брошенную деревню и к вечеру стал однодворцем. Рядом располагалось еще несколько изб, но все — негодные для ночлега, так что рассчитывать на мелкопоместность не приходилось. Хотя в иных случаях мне доводилось коротать время не только в совершенно справных, разве что опустевших деревнях, но даже и в натуральных селах: с соборами и прочими одинаково обезлюдевшими сооружениями как казенного, так и частного предназначения.

На другой день погода выправилась: стих ветер, дождь перестал, и можно было пускаться дальше, но тут я познакомился с прежним хозяином дома, Павлом Степановичем Мешалкиным, и лишний раз убедился, что обстоятельства, сбивающие нас с намеченного пути, сулят подчас куда более заманчивые последствия, чем достижение цели.

Я прожил в этой деревне неделю. Неделю — разбирая бумаги, оставленные бывшими жильцами за ненадобностью. Меня ждали некоторые дела, и следовало поскорее отправиться

дальше, но Павел Степанович не отпускал.

Сначала он показался мне обыкновенным занудою: в ворохах бумаг часто встречалось каллиграфически выведенное слово «жалоба», иногда «прошение». Скоро, однако, обнаружилось, что самих «жалоб» и «прошений» не столъ уж и много, зато писаны они во множестве экземпляров: перерабатывая и дополняя, автор, должно быть, стремился к некоему совершенству. Так, датированный 1923 годом текст «Прошения о перестании полагать товарища П.С. Мешалкина недоимщиком по уплате сельхозналога» имел четырнадцать вариантов, а отдельные страницы преобширнейшей «Жалобы на соблазнительное поведение сборщицы сельхозналога В. Лепетяевой» переписывались до тридцати раз, и оттого вполне позволительно утверждать, что Павел Степанович кое в чем сумел превзойти самого графа Толстого.

Следующее наблюдение и вовсе смутило меня: в то время как Мешалкин даже под черновики жертвовал прекраснейшую бумагу, дочь его решала арифметические задачи про жнейки, стога и пуды на страницах печатной продукции. Были тут брошюры с таблицами займов, с постановлением «О порядке разрешения трудовых конфликтов, возникающих на почве применения наемного труда в крестьянских хозяйствах» от 1924 года, «Законодательство о трестах» 1925 года, «Выращивание сои на севере СССР», «Как устранить яловость животных?» и другие издания не меньшей значимости. Несколько самодельных тетрадей было сшито из рекламных афиш «Крестьянской газеты» и цветастых плакатов, объявлявших «волостные торги недвижимостью» и «сдачу лесов в аренду». Такая, между прочим, была жизнь в нэпманские времена.

То есть определенно писание жалоб являлось для Павла Степановича занятием чрезвычайной, ни с чем не сравнимой важности.

Узнал я еще, что в годы гражданской войны Мешалкин служил делопроизводителем 29-го красноармейского этапного батальона, и счел было свое исследование завершенным, как вдруг на чердаке среди пыльных березовых веников, разобранных кросен, мятых чайников, кастрюль, самоваров нашелся странный пред мет — долбленый деревянный пенал цилиндрической формы. Сняв крышку, я обнаружил плотный свиток бумаг, касавшихся неизвестного мне периода жизни Павла Степановича.

Документ с сургучной печатью оказался послужным списком «чиновника военного времени Карского крепостного интендантского управления П.С. Мешалкина». Так я узнал, что Павел Степанович имел счастье явиться на свет в 1881 году, а в 1910-м был зачислен в писарской класс при Управлении здешнего воинского начальника. Пройдя курс наук, попал в распоряжение штаба Кавказского военного округа и с 1914 по 1918 год служил в Карсе писарем, старшим писарем и, наконец, помощником бухгалтера.

За четыре года бравый воитель успел наградиться тремя медалями, к этому же периоду относились и особо яркие проявления кляузнического таланта Павла Степановича. Чего стоит хотя бы его докладная о прапорщике 296-го пехотного полка Борисове, который при обстоятельствах, изображенных не очень внятно, назвал Мешалкина «драным (на литеру «с») кавалером и дураком». «Докладывая о вышеизложенном господину делопроизводителю Управления Карского крепостного интенданта», Мешалкин просил «ходатайствовать перед господином полковником Карским крепостным интендантом о разборе инцидента по нанесению нетактичного оскорбления».

Господин делопроизводитель, подчеркивавший прочитанное карандашом, дошел лишь до фразы: «Прапорщик Борисов спросил меня: «Ты знаешь, кто ты есть?»». Не ознакомившись с

доходчивыми разъяснениями прапорщика насчет мешалкинского кавалерства, делопроизводитель перескочил к концовке и, подчеркнув несколько строчек, оставил следующую резолюцию: «Некоторые офицеры 296-го пехотного полка всякими вопросами нетактично отвлекают писарей от исполнения прямых обязанностей, которые и без того чрезмерны ввиду малости штата».

Господин полковник, просматривавший резолюцию делопроизводителя, подчеркнул в свою очередь лишь слова «штат» и «нетактично» и препроводил бумагу в 296-й пехотный полк с требованием «провести тактические учения, так как офицеры полка имеют столь слабую подготовку, что по всяким вопросам справляются у писарей, словно штатские». То есть из-за устойчивой невнимательности отцов-командиров докладная в итоге попала к тем, против кого и была направлена, — к офицерам 296-го пехотного полка, и они не замедлили рассчитаться с виновником неурочных учений: спустя несколько дней Мешалкин жаловался на офицеров, которые, посетив канцелярию, передвинули табурет, в результате чего Павел Степанович, державший в руках бутыль свежеразведенных чернил, сел мимо.

Получив, однако, серебряную медаль на Аннинской ленте с надписью «За усердие», писарь прекратил битву.

Но все это дело оказывалось совершеннейшим пустяком в сравнении с продолжительной тяжбой о сапогах.

В мае 1917 года некий титулярный советник господин Лукьянов докладывал, что из шкафа, стоявшего в комнате писарей, пропало пять пар сапог. Павел Сергеевич отписал: «Куда девались пять пар казенных сапог, мне неизвестно, о чем могут подтвердить сослуживцы мои, писаря Голик, Гладский, Марющенко, Хряк». Стало быть, на пять пар пропавших сапог — пятеро свидетелей…

Затем чиновник Лукьянов находит у себя в кабинете три пары сапог, но вместо того, чтобы вдумчиво принять дар, объявляет это событие «началом раскаяния неизвестных злоумышленников» и сдает сапоги на склад. Лукьянов, выполнявший, по-видимому, ревизионную миссию, был человеком, без сомнения, деликатным: уповая на совесть, имен прохиндейских не называл. Однако раскаяния не случилось. Более того, Голик, Гладский и Хряк избили Марющенко и Мешалкина и отобрали у них две пары будто бы «законных сапог, выданных еще формуляром 1915 года». Запутанная эта математика весьма прозрачна: писаря сговорились вернуть Лукьянову все пять уворованных пар, а Мешалкин с Марющенко сотоварищей своих надули, через что и телесное наказание понесли, и с добычей расстались.

Бухгалтер управления — «зауряд-военный чиновник» по фамилии Неборачко, — стремясь угасить раздор, добивается награждения каждого из пятерых серебряной медалью на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и переводит Голика, Гладского и… мешалкинского друга Марющенко в Трапезунд, иначе говоря, разрушает и перемешивает начавшие враждовать группировки.

Тут приходит пора получать новые комплекты обмундирования, и Мешалкину с Хряком, оставшимся в Карсе, недостает сапог. На официальный запрос писарей Неборачко официально же и отвечает, что их «сапоги по причине ошибочности свезены в Трапезунд». В том, что это случилось не по злому умыслу, а от обыкновенного разгильдяйства, убеждает ответ Марющенко, у которого Павел Степанович попросил дружеского содействия: «С обувачкою здесь слободно, но с портками зато полное безобразие, так что Гладскому с Голиком не хватило». В обмен на две пары форменных брюк прибывают из Трапезунда даже не две пары, а одиннадцать штук сапог, но все — левые. Мешалкин в следующей докладной грозится

пожаловаться аж самому государю и требует командировки в Трапезунд, чтобы «на месте восстановить справедливость по вопросу правых сапог». И хотя государь вот уже год как находился вдалеке от престола, зауряд-военный чиновник Неборачко все равно дрогнул: спроворил Мешалкину золотую медаль на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и дал разрешение «посетить Трапезунд по служебной необходимости».

В это время Марющенко присылает другу очередное письмо: «Яс удовольствием бы отсюда уехал. Дело в том, что здесь какие-то пауки называются скорпионами. Их здесь много, и укус ихний для человека смертелен. Кроме того, хотя наше управление помещается на горе и с малярией, говорят, у нас неплохо, но в городе нанизу летом страшная малярия». И Мешалкин, испугавшись гибели от пауков, остался. А вскоре весь гарнизон был эвакуирован в Тифлис.

Долго скрывал Павел Степанович ратные эпизоды молодости своей. Лишь в 1945 году, разрабатывая прошение о награждении медалью «За победу над Германией», он назвал себя во едину строку «участником гражданской войны и героической обороны осажденного Карса». Он правильно рассуждал: историю свою мы знаем куда как плохо, и к сорок пятому году в здешней глуши никто ничего про Карс не помнил. Да и вообще не до того было.

Вот, собственно, и все, что удалось мне узнать о Мешалкине за несколько дней. Отправившись дальше, я в первой же населенной деревне принялся выяснять мнение земляков о знатном кляузнике. Все, кто знавал его, а Павел Степанович умер тому лет эдак двадцать назад, в один голос твердили, что он был печником. «Может, когда чего и случалось, — говорили они, — но если только давно. А после войны, все знают, Павел Степанович ложил печи, причем от денег отказывался — задарма дожил».

Я вспомнил, что последнее найденное мною «прошение» относилось по времени действительно к концу войны. Просмотрев еще раз «биографию жизни» Мешалкина, датированную 1925 годом, нашел я и пропущенные ранее строки об учебе на печника и о работе печником в Петербурге с 1906 по 1909 год.

Все кругом дружно хвалили мешалкинские печи и пожимали плечами при словах «жалоба», «Карс», «Трапезунд». Составленное мной представление никак не вязалось с образом печника-филантропа. Допускать, чтобы одно благополучно соседствовало с другим, никак не хотелось: вышло бы, что недобрые дела можно преспокойно творить рядом с добрыми, потому как первые непременно забудутся, а это — безусловная несуразность.

Прояснили картину родственники Мешалкина: его внук — колхозный бухгалтер и жена внука завскладом. По их утверждению, «дед когда-то был ничего — копейку имел, но потом — не враз, конечно, а постепенно — свихнулся. И хотя врачи этого не подтвердили, вся родня знает. Стал печки ложить, деньги на церкву порастратил — церкву восстанавливал, а в наследство одну-единственную бумажоночку только и оставил — перед соседями срам».

Я попросил, и мне показали завещание Павла Степановича, написанное все тем же виньеточным почерком, — уж не гусиным ли он пользовался пером?

«Единственное достояние людей на Земле — ушедшее время, — начал я разбирать вслух. — Будущего нет...»

— Точно, — подтвердила Внукова жена. — Эти ученые доведут Землю до края. Не войной, так химией.

Далее Павел Степанович корявыми канцелярскими фразами, воспроизвести которые затруднительно, рассуждал в том смысле, что будущего не существует физически, что его либо

еще нет, либо, осуществляясь, оно уже становится настоящим, а осознанное настоящее — собственно прошлое и есть. Дескать, одно только прошлое реально, дескать, оно с нами всегда: «в житейском опыте, в воспоминаниях и болезнях, в нераскаянных наших грехах».

Затем, бесхитростно сравнивая жизнь с «хождением в неведомое», Павел Степанович настоятельно советовал для определения курса оглядываться назад, на «вешки прошлого», и проводить от них через себя прямую линию, то есть употреблять прошлое как геодезический репер.

Наконец он признавал, что лишь к закату «начал понимать в жизни», но, тем не менее, решился круто переменить весь ее ход, дабы последние поставленные им вешки подсобили потомкам. «Хотя слишком поздно, а потому навряд», — прозорливо завершал Павел Степанович.

Я хотел было отдать документы, обнаруженные на чердаке, но родственники замахали руками: «Вы что?!» И поинтересовались, мне-то для чего понадобился «этот мусор»? Я не знал, как объяснить.

Никому не докопаться уже до мыслей и чувств, которые «не враз, конечно, а постепенно» изменили внутренний облик Мешалкина, превратив кляузного писаря в бессребреника-печника. Так преобразить человека может только раскаяние. Однако с чего все началось? Что пробудило в нем покаянные устремления? Никто теперь не расскажет. Философские заветы самого Павла Степановича тоже не касаются трепетных движений его души. Но при всем том именно сокровенная жизнь души оказалась в этой «зауряд-военной» истории самым большим богатством.

Ведь нельзя же всерьез утверждать, что сапоги из Трапезунда могут представлять сегодня хоть какой-нибудь интерес? Тем более что все они на одну ногу.

## Краузе

В конце марта 197… года ударила вдруг жара. Снег в два дня растаял, и степь залило водой. Кое-где потоки перехлестывали через шоссейку, но были они все неглубоки, и УАЗик преодолевал их без затруднений. «Это — несерьезно, ~ говорил Саушкин, сбрасывая газ. — Это нам… по колено, — и снова можно было придавливать акселератор».

По радио объявили полдень.

— Пять часов пилим, — подсчитал Саушкин.

— Четыре пятьдесят две, — уточнил с заднего сиденья Краузе.

— Мы ведь выехали ровно в семь, — Саушкин вопросительно посмотрел на меня, я только пожал плечами.

— Ровно в семь ты включил двигатель, а потом начал искать права. В семь ноль восемь ты нашел их.

— А-а, правильно, правильно, было.

— Сколько до моста? — спросил я.

— Немного осталось, — отвечал Саушкин. — Вон за тем поворотом… Или за следующим…

— До моста семь с половиною километров, — сказал Краузе.

— Семь так семь, — согласился Саушкин. — В прошлом году там такая беда… А кстати, почему ты не приезжал в прошлом году?

— В прошлом? — взялся я напрягать память…

— Он ездил в командировку на Дальний Восток, — объяснил Краузе, — и на обратном пути из-за нелетной погоды застрял в Хабаровске.

— Точно, — вспомнил я, — в Хабаровске. Я ведь вам оттуда звонил!

— А-а, да-да-да, — припомнил и Саушкин, — звонил. Денек мы тебя подождали, а потом поехали, было… Мы-то проскочили нормально, а на следующий день воды прибавилось и здесь автобус перевернулся: и шофер вроде опытный, а вот… Шел посередке, да глубоко и тачка-то длинная — корму с насыпи и снесло. Народу человек тридцать погибло — беда-а…

— Двадцать семь, — сказал Краузе.

Вскоре мы скатились в низину, и путь нам преградила натуральнейшего вида река: мутный поток волочил через дорожное полотно вывороченные с корнем кустарники, вороха соломы, обломки досок, деревянные ящики и прочий хлам. По берегам потока стояли десятки машин, а трактор «Кировец» сновал туда и обратно, перетаскивая желающих. Краузе сходил на разведку:

— Ширина разлива — сто двадцать — сто тридцать метров, глубина над мостом через ручей один метр, справа и слева от моста, рядом с насыпью, глубина достигает… может достигать четырех метров.

В эту минуту трактор буксировал «Запорожца». Дойля до самого глубокого места, легковушка оторвалась от земли, подвсплыла, и течение отнесло ее в сторону.

— Вот там, где сейчас находится «Запорожец», глубина и может достигать четырех метров, — заметил Краузе.

— Туда автобус и завалился, — Саушкин не отрывал взгляда от «Запорожца». — Тонет…

Машина действительно начала погружаться в волны.

— Давай! Скорее! Давай! — закричали с берега трактористу.

Но, похоже, он и сам хорошо знал свое дело: оставив опасное место позади, плавно добавил скоростенки — легковушка подтянулась к обочине, вползла на асфальт, а тут уж и выкатилась на сухое место.

— У него хоть какая-то герметизация, а мы при своих щелях — потонем, — и Саушкин покачал головой.

— Можно ехать так, — заявил Краузе.

— Как «так»?

— Так. У тебя есть кусок шланга?

— Ну, есть… наверное.

Краузе вставил один конец шланга в выхлопную трубу, другой загнул вверх и привязал к застежке брезентовой крыши УАЗика. Потом приподнял капот, снял ремень вентилятора, наконец, сел на свое место:

— Можно.

— А ты уверен?

— Вполне. Скорость — первая, обороты — предельные, поехали.

— Поехали так поехали, — и Саушкин нажал на стартер.

— Только, пожалуйста, педаль не отпускай, — попросил Краузе, — ни на миллиметр, а то заглохнем. И возьми прицел: совмести щетку дворника с автокраном — вон, на подъеме стоит. Держись этого курса, а на воду не смотри: дороги не видно.

Мы уходили все глубже и глубже, в какое-то мгновение вода подступила к ветровому стеклу, но тут же сбежала с капота — начинался подъем. Мотор натужно ревел, и Саушкину было жаль его, но педаль он не отпускал. Переехали…

— Теперь машине надо полчаса отдохнуть, — сказал Краузе. — Потом трогаемся: через двадцать семь километров заправка, возьмем сорок литров бензина.

Насчет километров Краузе не соврал — в точности так и оказалось, однако по поводу литров пророчество его категорически не сбылось: мартовский бензин кончился, а апрельского еще не завозили.

— Фантастика, — растерялся Краузе.

— Да брось ты, старичок, — тягостно вздохнул Саушкин. — В сравнении с отечественной реальностью любая фантастика — детский лепет… Ну, что будем делать?

— Я не знаю, — спокойно признался Краузе.

— То-то же… Это тебе не километры считать… Есть тут председатель один — Перебей нос, я про него писал как-то… Может быть, помнит…

Отыскали грязное степное сельцо. Перебейнос помнил:

— А як же?! Товарищ Саушкин в нашей областной газете таку гарну статью про меня написал, что ой-ой-ой — разве можно забыть?.. Присаживайтесь, дорогие гости, присаживайтесь… Горпина Нечипоровна!.. Горпиночка! Це друззя мои, так ты того… сама знаешь… и сала…

С этого момента путешествие наше стало обретать характер новый и непредсказуемый. Через полчаса сильно раскрасневшийся Перебейнос кричал:

— Та вы шо?! Яка така охота?! Яки таки гуси?! Таки гарны хлопчики, та шоб я отпустил вас? Ни! Горпиночка, скажи там внукам или еще кому, шоб навертели гусакам шеи… Скилько? Ну скилько вам надо тих гусей? По три штуки хватит?.. Хватит?.. Горпиночка! Нехай они десять гусей тащат… Кушайте сало, хлопчики.

— Три на три — девять, — исчислил Краузе.

— Ну, девять. Та еще и по курке в придачу, а? На кой оно вам сдалось: тащиться куда незнамо, там, мабуть, и хаты неякой немае?.. Верить сало, за ку суйте...

Хорошо еще, что Саушкин не пил. Однако гостеприимный хозяин добрался и до него:

— А ты чего не пьешь, хлопчик? Я ведь тоби все равно бензину не дам, так что пей, корреспондент, пей... А вы угощайтесь... От так и живем-товарищ Саушкин знает: я уже семнадцать рокив район вытягиваю.

— Это точно, — подтвердил Саушкин. — Иногда даже и область...

— Та-а! По зерну план заваливается — к Перебейносу, молока недобор — опьять, кормов нема — сюда же... Та вы кушайте, кушайте, не стесняйтесь... Горпиночка, принеси еще сала. А Горпина Нечипоровна у меня заслуженная учительша — прапюе директором...

— А учить женщине не позволяю, — отчеканил вдруг Краузе.

От неожиданности все замерли.

— Дюже мудро, — восхитился Перебейнос. — Дюже! С них таки ж учителя, як с мене балерина.

Краузе внимательно осмотрел фигуру хозяина, словно желая удостовериться, что балерина из Перебейноса — никудышная. На всякий случай поинтересовался:

— А сколько вы весите?

— Та-а... пудов девьять, мабуть... чи десять.

— А рост?

— Кто его знает? В армию призывался — сто шестьдесят пьять було, так то ж когда...

— Когда?

— Та уж с полвеку, мабуть.

— Не получится балерина, — признал Краузе и, тяжело вздохнув, повторил: — А учить женщине не позволяю.

— Дюже умно! — Перебейнос был потрясен. — Який добрый хлопчик.

— Это не мои слова, — сознался Краузе, — это сказал апостол Павел.

— Дюже умно. Горпина Нечипоровна, слыхала такого?.. Ни?.. О то ж! Они такого не проходют. Слухай, корреспондент, товарищ Саушкин: оставь мне цього хлопчика, а? Бензину дам — хоть залейся. Таким добрый хлопчик!.. Ты чего умеешь робить?..

— Лесничий он, — отвечал Саушкин, пока Краузе собирался с мыслями.

— Лесничий? В степу?

— Лесопосадки, вдоль дорог, — объяснил Саушкин.

— Ну шо ты там маешь?.. — полюбопытствовал Перебей нос. — Я буду платить тебе против того

вдвое, ты мне тильки мораль читай.

— Под моим руководством высажено шестьсот сорок четыре тысячи различных деревьев и кустарников, — сообщил Краузе.

— Да хай вони, ти кусточки, цветуть и пахнуть! — хозяин решительно отмахнулся. — Кусточки и Горпина Нечипоровна нам посадит. Кто б взял на себя усю эту мораль, усю… як ее… нравственность. Словом, душевность…

— У меня специального образования нет, — скорбно произнес Краузе.

— Ой-ой-ой, делов-то! Учиться пошлем! Где цьому учат?

— Этому, пожалуй, в семинарии, — предположил Саушкин.

— А нам шо? — вскинулся Перебейнос. — Пошлем и в семинарию. Пока я, — он ткнул себя пальцем в грудь, — кормлю область, а не область меня… Эх! Та шо область? Перебейнос усю Европу бы накормил, он бы вам о тут бананы вырастил, тильки бы кто-нибудь прийшел людям на пидмогу, тильки бы кто взявсь отвечать им на их душевни потребы… Кто б растолкував, як надо жить, чтобы не обижать дружка дружку, чтобы никто никому не мешал… А то… возьмем, к примеру, колхозы… Слухай, хлопчик, а шо ты можешь сказать насчет колхозов?

— Насчет колхозов? — вяло переспросил Краузе.

— От именно: насчет колхозов.

— А! Вздор! Не может худое дерево принести доброго плода.

— Та-ак, а насчет Госплана?

— Если слепой ведет слепого — оба упадут в яму, — влепил Краузе не задумываясь.

— Так-так-так… А насчет… — он оглядел всех, словно собираясь задать самый важный вопрос, но не успел — грянул ответ:

— Если это дело от человеков, оно разрушится.

— О то ж и я думаю, — горестно кивнул Перебейнос, — но в чем же тогда шукать опору?

Краузе забормотал что-то, похожее на песню, да вдруг как взревет:

— Победы на супротивные даруя-а-а-а!..

— А-а-а! — могучим басом присоединился хозяин и ударил кулаком по столу.

Как ни умолял, ни упрашивал нас плачущий Перебейнос, Краузе мы ему не оставили.

— Он нам самим нужен, — завершил разговор Саушкин.

— Понимаю, — легко согласился хозяин. — Як не понять?.. Но — жалко. Я бы ему и хатку дал, и скучно бы ему тут не было — у меня тут и немчики е… Кого тильки у меня нет — всякие нации. — Он вытер слезы: — Есть еще така нация, у которой и названия нема — один матерный язык понимают. От через них-то, скоришь всего, я ридну мову и подзабув: добри слова десь хоронятся, а пакость всякая так и прет, так и прет. — И, внезапно озаботившись,

поинтересовался: — Не видели по дороге — боронуют где-нибудь?

— Не обратил внимания, — отвечал Саушкин.

Я вспомнил, что где-то попадались нам работающие трактора, а Краузе ровным голосом сообщил:

— Два трактора вели боронование на сто двенадцатом километре справа от шоссе…

— Колхоз «Заря», — определил хозяин.

— И один — на триста тридцать девятом, тоже справа.

— Это — «Восход», та-ак, — он задумался было о своем, но, вскинув восхищенные глаза на Краузе, снова всхлипнул: — Это ж надо!.. Углядел, запомнил — такий хлопчик… Та шо ж вы сало не кушаете?

— Кушаемо, — возразил Краузе.

Потом мы долго тряслись по проселку. Так долго, что почти весь хмель из нас выбило.

— Куда это тебя занесло? — спросил Саушкин.

— Не занесло, — сказал Краузе. — Просто мне хотелось сказать о самом важном, — и замолчал. Похоже, однако, что остатки давешней красноречивости в нем еще сохранялись — недолго помолчав, он приступил к разъяснению:

— Среди моих предков были люди разных профессий, но каждый из них делал работу, которую считал главной для русской земли, — это закон нашей фамилии, нашего рода. Уже двести четырнадцать лет. Отец мой отдал меня в Лесотехническую академию, потому что считал профессию лесничего перспективно самой необходимой. Он говорил, мы так вырубаем лес, что скоро не останется кислорода.

— Он был прав, — оценил Саушкин. — Экология сегодня…

— Он был не прав, — перебил Краузе, — он ошибся: самые важные проблемы сегодня — другие, те, о которых говорил Перебейнос..

— Что ты имеешь в виду? — обернулся Саушкин.

— Через тридцать метров канава… — И мы чуть было не влетели в канаву, вырытую поперек.

— А это еще зачем? — прошептал Саушкин в бессильном недоумении.

— Раньше дорогу тут размывало — помнишь, какая грязь была? — спросил Краузе.

— Ну и что, что грязь? Проползали ведь?

— А то, что каждый год приходилось подсыпать полотно. А теперь они сбросят воду через канаву, засыплют ее — и все: целесообразно.

— Так ведь проехать нельзя!

— Нельзя, — заключил Краузе. — Ширина — два метра, глубина — тоже два метра, причем

один метр — вода.

— Ну уж нет, — рассердился Саушкин, — так дело не пойдет, — и задумался. — Погодите-ка! Где-то нам щиты попадались? Которые для снегозадержания…

— Километрах в трех. Нет, в четырех отсюда. Но из них ничего не сделаешь, да потом — скоро уж темно станет.

— Попробуем…

Мы привезли два щита, положили их один на другой через канаву, поразбросали нарытую экскаватором землю, чтобы машина могла въехать на мост, а если выпадет фарт, то и съехать. Краузе походил по щитам и остался недоволен:

— Прочность этого моста не рассчитана на массу этого автомобиля.

— Я и сам знаю, — сказал Саушкин.

— Мой отец не дал бы здесь никаких гарантий.

— Я тоже никаких гарантий дать не могу.

— Зачем же ты собираешься ехать?

— А что мне, — взорвался Саушкин, — у канавы и куковать? Я сюда чего ради за четыреста километров тащился?..

— Четыреста тридцать два.

— Гуси будут где-то, а я буду здесь? Или обратно поедем, к Перебейносу? За домашними гусаками и курками?! Тоже мне, «добрый хлопчик»… Зря тебя не оставили… Рассчитана — не рассчитана… Что с того, что не рассчитана? Ехать надо? Надо! Ну вот…

— Одно условие: дай мне аптечку.

— Возьми… погоди, а где она есть-то? Может, у меня ее и нету?.. А! Вот она, держи! — Он захлопнул дверь, машина подпрыгнула, рванулась и замерла уже на другой стороне. Мы с трудом перебрались по деревянным обломкам.

— Сколько осталось? — осведомился Саушкин.

— Шесть с половиной километров.

Дальше ехали при свете фар. В каком-то месте свернули с проселка в степь, проползли сколько-то без дороги, наконец Краузе сказал: «Здесь стоп». Саушкин остановил машину, выключил двигатель, откинулся к спинке сиденья и тихо так попросил:

— Мужики, налейте там чего-нибудь, а то ведь не усну — так и буду руками дергать да ногами на педали давить.

Потом мы расстелили палатку, бросили сверху спальные мешки, залезли в них и мгновенно уснули.

— Три часа четыре минуты, — разбудил нас Краузе все в той же кромешной тьме.

— Так мы — чего, — не разобрал Саушкин, — ложимся или встаем?

— Конечно, встаем! — удивился Краузе. — Ложились мы в ноль часов четыре минуты.

— Обалдеть можно, сколько спали, — вздохнул Саушкин. — Все спим, спим… Эх, Краузе, ошибся в тебе товарищ Перебейнос, ох как ошибся! — Саушкин протяжно зевнул. — Ну, какой из тебя проповедник? Ты ведь умные слова городить можешь только «на кочерге». А закалки у тебя под это дело соответствующей нет…

— Тсс…

— Что тсс?

— Тсс…

— Да что тсс?!

— Гуси…

Я затаил дыхание: донесся издалека хрипловатый гогот гусиной стаи.

— Так ничего же не видно, — изумился Саушкин, повертев головой. — На кой ты нас разбудил-то?

— Через восемь минут начнет светать, — сказал Краузе, — как раз подойдут гуси.

И мы выскочили из спальных мешков.

## В пустыне, на берегу озера

Было это в далекие времена. Одноклассник мой стал к сорока годам значительным инженером и уехал в Среднюю Азию инспектировать газопровод. Освоившись, пригласил меня поохотиться — сам-то он не охотился, у пего такого интереса вообще не было: он гонял вдоль трубы на машине или на вертолете, а я уж мотался за ним с удочками и ружьем.

Должен признаться, что никогда более не доводилось мне промышлять в столь обширных угодьях — от Саратова до Хивы. Однажды произошло даже так, что завершалась утренняя охота в трехстах километрах от места ее начала.

Напарники мне попадались самые разнообразные: и местные жители, и строители-сибиряки, и генерал из заядлых московских стрелков; генерал, кстати, вполне демократичный — через час мы с ним на «ты» сделались. Осязательнее прочих запомнился мне компаньон по фамилии Пучкин: и фамилия вызывающая, и вид у него сплошь несоразмерный, и характер занимательный, да к тому же мы в приключение с ним попали.

Привез меня приятель очередной раз в незнакомое место: пустыня не пустыня, скорее — степь, вагончики стоят, за вагончиками — тугай, кустарниковые поросли. Среди кустов бродит верблюд. Вдруг он резко поворачивается, отбегает в сторону, вновь останавливается, а подождав несколько, бежит на прежнее место — какой-то мальчишка, пытаясь поймать, то и дело гоняет его, однако через кусты плохо видно.

Приятель зашел в вагончик и быстро договорился: на крыльцо вышел человек в черной спецовке.

— Пучкин! — крикнул он в направлении скачущего верблюда. — Оставь в покое животное! Никуда оно не денется! Иди сюда!

Мальчишка вышел.

— Собирайся на охоту. Возьми моторку и вон, — указал в мою сторону, — земляка, понял?.. И чтобы три дня — до выходного — духу твоего здесь не было, понял?.. На выходной понадобишься. Все. Здравствуйте, — сказал он еще мне на прощание и скрылся в вагончике.

Пошли грузиться. Мальчишка по рассмотрении оказался мужичком лет пятидесяти-пятидесяти пяти. Только что очень меленьким. Зато большеухим. Как его звали, я так и не узнал: Пучкин и Пучкин.

Моторка стояла неподалеку — в коллекторе, по которому могуче неслись ядовитые стоки с полей. Мутный стрежень привел нас, в конце концов, к заросшему тростником озеру. Мы то скреблись по узким протокам, то, пригибаясь, вползали в сумрачные туннели — неба сквозь высоченные заросли не было видно. Мало-помалу вода начала светлеть, а потом и вовсе очистилась до совершенной прозрачности — на трех метрах глубины всякая водорослинка различалась. Тут и тростник поредел. Пучкин добавил оборотов винту, и вскоре огромнейшая гладь открылась нашему взору. Если до этого момента лодка вспугнула лишь с десяток лысух да одну длинноносую чомгу — товар, не заслуживающий внимания серьезных охотников, то здесь увидели мы и множественные стайки утей, и большие гусиные стаи, кроме того, кружили в воздухе бакланы, пеликаны, цапли, лебеди и прочий неохотничий вздор. Внезапно выключив двигатель, Пучкин хрипло сказал:

— Бесчинство водоплавающих.

Ожидая развития мысли, я молча кивнул, однако Пучкин принялся заводить мотор снова — вероятно, разговор был исчерпан. Дергал, дергал он за стартер, и что-то у него не получалось, а я тем временем прикидывал, как бы да в каком месте устроиться перед вечерней зарей, а то ведь это только издалека их — тьма, а встанешь неудачно — и либо вообще ни одной уточки не увидишь, либо так и будут они над тобою по поднебесью свистать. Наконец поехали.

В другой раз мы остановились, чтобы я мог услышать:

— А дело к вечеру. — Теперь движок не заводился куда дольше прежнего.

Ну а потом он заглох сам по себе, и, поклацав инструментами, Пучкин сообщил:

— Заправиться-то мы забыли...

Вечерняя охота не удалась: в слишком уж неприглядном месте прервалось плавание — на открытой воде. Ночь мы провели не на острове у костра, специально для которого везли саксауловые дровишки, а прямо в лодке, на стланях. В лодке вообще-то спать хорошо — вода покачивает, убаюкивает, однако больно уж холодно было, так что мы почти и не спали и, едва дождавшись утренних сумерек, устремились спасаться. Я — греб, Пучкин занимал пост штурмана.

— Так держать, — направлял он. — Если будем держать вот так, выберемся к плато, к людям. Назад нам без мотора не проскрестись, а в другие стороны — твердых берегов и вовсе нет: пески да болота — заболоченные пески. И жилья нет — пустыня...

Грести было неудобно: борта высокие, алюминиевые весла коротки и легки — кое-как

цепляешь поверхность воды, суденышко туда-сюда рыскает...

— Левее, правее, так держать! — командует Пучкин и тут же: — Левее, правее, опять левее...

А я уж давно и сам знаю: я взял лысину сидящего на корме штурмана в створ с одиноким тростниковым колком и стараюсь придерживаться. В те мгновения, когда колок занимает место короны, Пучкин и орет: «Так держать!» При этом голова его дергается от напряжения, корона спадает, тут еще и катерок наш уныривает куда-нибудь в сторону, и снова начинается: «Правее, левее, правее...»

Налетали иногда утки. Сначала мы постреливали, но вскоре от занятия отказались: очень уж много времени уходило на судоводительские маневры к подбитой дичи — то в сторону, то вообще назад, да поближе подплыть, чтобы дотянуться удобно было.

Взошло солнце.

— Вон, видишь, плато?! — воскликнул Пучкин.

Я обернулся. Впереди, за тростниковыми островами, казавшимися отсюда сплошною стеной, виднелась тянущаяся вдоль горизонта возвышенность с плоским, словно по линейке отчерченным верхом.

Опять пошли заросли и становились все гуще. Мы путались в лабиринтах и, теряя из виду берега, ориентировались по солнцу. Несколько раз попадались рыбацкие сети. «Во! — приободрялся Пучкин. — Уже близко!» Но час проходил за часом, а тверди не было.

Озеро стало мелеть, наконец лодка и вовсе увязла — я вылез и поволок ее за собой. Пучкина пассажирская роль заметно смущала, однако помочь он при своей малорослости ничем не мог: мне самому едва не захлестывало за отвороты бродней. Дно делалось все более илистым, и тут Пучкин не выдержал: скинул сапоги, босиком махнул через борт и погрузился в топь чуть ли не с головою. Потащили вдвоем.

— Ил — из-за того, что ветром пыль с плато надувает, — изрек Пучкин.

Он был прав — теперь уже оставалось немного. Сначала мы увидели знак — тур, сложенный из плитняка на вершине утеса. «Держать туда», — указал штурман. Потом разглядели и постройки. «Я же говорил! — обрадовался он. — Люди!»

Вода кончилась. Бросив лодку, мы пробрели сколько-то по грязи, потом — по белому, словно снег, соляному налету, и у подножия плато нам открылась езженая дорога. «Спасены», — заявил Пучкин, и мы попадали в иссеченную протекторами дорожную пыль...

Поселок, расположившийся на склоне, был мертв. Переходя от строения к строению, мы обнаруживали всюду следы разрушения и тлена: осколки стекла, ржавые кровати с матрацами, рассыпавшимися в прах от одного прикосновения, ветхую выгоревшую одежонку. Стемнело. «И переночевать негде», — вздохнул Пучкин. Переночевать, хотя бы прилечь, действительно было негде.

Мы прошли поселок насквозь до того места, где с плато спускалась к нему дорога. Фонарики наши высветили колеи, поросшие жухлой травою, закрытый шлагбаум и рядом со шлагбаумом — столбушок с жестяным щитом. Обойдя столбушок, Пучкин посветил на шит и вслух прочитал: «Лепра»... «Слышь, — спросил он меня, — а что это такое?» Я начал было объяснять, но Пучкин перебил: «А! Знаю, это — «больной поселок», он брошен, где-то рядом должен быть

«здоровый поселок», и там кто-то живет: не то рыбаки, не то пастухи не помню, но кто-то есть, мне рассказывай».

Пройдя вдоль берега, нашли мы и «здоровый поселок», тоже, впрочем, разрушенный, но одно саманное строеньице сохраняло вполне жилой вид и оказалось населенным: только торкнулись, только отворилась нам дверь, как начались приготовления к праздничному ужину. Мы, кажется, и познакомиться с хозяином не успели, а он уж спросил:

— Барашка? Индюшка?

— Верблюд, — отвечал Пучкин, располагаясь на кошме.

— Нет, верблюд, — повинился хозяин.

— Тогда уйду, — пригрозил Пучкин, но смилостивился: — Так и быть, валяй индюка.

— Зачем? — спросил я его, когда хозяин ушел. Мы же не голодны, не съедим, да потом — столько ждать, уснем ведь.

— Уснем так уснем, — сказал Пучкин. — Если бы мы отказались, он бы до утра не отставал, все уговаривал бы.

Сделав необходимые распоряжения, хозяин вернулся с чайником и пиалами — началось… Мне уж доводилось попадать на дастархан, и я знал, что это не столько принятие пищи, сколько вожделенное времяпрепровождение уважающих себя восточных мужчин: «Рай — это вечный дастархан», — объяснял как-то прежний напарник мой, профессор тутошнего университета.

Керосиновая лампа, стоявшая на полу, едва светила — друг друга-то мы, конечно, видели, но разглядеть лицо хозяйки, возникавшей время от времени из кромешной тьмы, долго не удавалось.

Выяснилось, что хозяина зовут Ложка.

— Лешка? — переспросил я.

— Нет, — и отрицательно покачал головой, — Ложка.

Было у него и другое имя — настоящее, но очень уж труднопроизносимое даже по восточным понятиям. Родители явно перестарались: в одно имя собрали все свои мечтания и надежды — натуральнейший манифест. Нынешнее же имя было, по сути, прозвищем. В молодости, браконьеря с приятелем, они додумались окликать друг дружку не по имени, а, чтобы запутать инспектора, «секретными словами»: приятель законспирировался кличкой Вилка, а хозяин наш обозначился соответственно Ложкою, да так на всю жизнь Ложкою и остался.

— Мой жена зовут Анна Ивановна, — гордо сказал хозяин. — Он — русский.

Мы, понятное дело, «как» да «что»?.. Тут наступил черед водки, следом вроде бы пошел арбуз… или сначала индюшка, а потом арбуз… или все вместе… Ну да неважно, важно то, что мы разговорились с доверительностью наипервейших друзей. И Ложка поведал нам, что и Анна Ивановна, и он сам — лети прокаженных, родившиеся без признаков неисцелимой болезни. Когда здешний лепрозорий закрыли, — а закрыли его из-за того, что озеро засолилось и пресной воды не стало, — родителей перевели в другой, там они и поумирали. Ложка с Анной Ивановной, попытав счастья на строительстве трубопровода и прокладке каналов, не приросли

ник какому месту и возвратились назад. Малая артелька долавливала здесь остатки рыбы, которой суждено было сгинуть в отраве, приносимой с полей. Супруги содержали и обихаживали базу этой артельки: строеньица, лодочки, сети, погреб-ледник… Раз в неделю приезжала машина, снабжала продовольствием, водой и забирала рыбу. На зиму они перебирались к дочери — она жила с мужем в поселке газовиков.

Явились сазаны, жаренные в хлопковом масле. После сазанов Пучкин заснул: приносят суп в огромнейших пиалах, а он спит… Мы с Ложкой продолжаем возлежать, бодрствуя, хотя сознание мое уже угасает, а на пищу я даже и смотреть не могу. Помню еще фотоальбом: юный Ложка стоит возле механизма дизельной электростанции («Моторист работал»), Ложка в солдатской гимнастерке («Москва служил: метро «Краснопресненская», потом туда, где солнышко садится»), дальше шли цветные пейзажи, вырезанные из журналов («Новгородская область — родина Анна Ивановна предки»), фотография Богородичной иконы («Анна Ивановна мама»). Я поинтересовался, кто же у нее на руках?

— Анна Ивановна брат, — спокойно отвечал Ложка. — Старший брат. Он был очень хороший и умер давно-давно. Там в комнате есть еще такие картинки: и мама, и брат…

Тут и я уснул. Среди ночи проснулся. Свет не горел, Пучкин тихо рассказывал:

— Трезвый-то он у меня — ничего, а вот как выпьет…

— А он ростом-то невысок? — спросила откудато Анна Ивановна.

— Очень невысок, — признал Пучкин.

— Тогда конечно, — и Анна Ивановна вздохнула. — Мелкие мужички, они завсегда гоношливые.

— Да-а, — неуверенно согласился Пучкин. — Но так-то он — ничего, а вот как выпьет… Да в общем-то тоже ничего, только что выражается витиевато.

— Как? — не разобрала Анна Ивановна.

— Питиевато, — повторил Пучкин. — В том смысле, что не всякий его выпившего поймет… Например, бутылку ставит на стол и говорит: «Момент — и постамент», а разольет по стаканам, уберет пустую под стол и всегда скажет: «Момент — и монумент».

— Ну и что? — спросила хозяйка.

— А то, что не все это понять могут, иной возьмет и подумает, что здесь какая-то каверза… В общем, выпивали они да разодрались. Да друга своего он ножом и зарезал… Потом, конечно, когда протрезвел уже: мол, как я мог такое совершить?.. Плакал, винился, нет мне прощения, говорил… Восемь лет дали. Ну, я не смог в поселке-то оставаться: мы ж с отцом этого парня — зарезанного-то — вместе в депо работали. Он, правда, электрик, а я слесарь… Подался на газопровод. С тех пор здесь и болтаюсь. В отпуск к нему езжу — он в Коми республике отбывает. Не слыхали про Коми республику?.. Это на Севере — очень уж там комаров много… Ложка, не спишь?

— Нет, — отозвался Ложка. Он, оказывается, находился на кошме рядом с нами, тоже полег, где ел.

— А как тебе с русской женой-то живется?

— Хорошо живется, — удивленно отвечал Ложка. — Русский жена — хороший жена, умный жена, научил меня не жить, как другие жили…

— Это в каком смысле?

— А у нас, знаешь, приписки был, взятки был, воровать был… Анна Ивановна не разреши мне. Теперь, знаешь, всех жуликов — суд… Вот директор совхоза здесь — хороший человек был: Золотая звезда, депутат — недавно повесился… Много миллионов было — милиционеры целый день в саду банки выкапывал.

— Какие банки? — не понял Пучкин.

— Трехлитровый, с деньгами. А жена, Анна Ивановна, научил меня не делать так: мы, конечно, бедно живем, зато честные.

— Поня-атно, — задумчиво протянул Пучкин.

И тут прямо под окном завыл волк. Пока в темноте искали ружья да выбирались из дома, волк ушел. Недалеко, правда, но уже не достать было: мы сделали по удаляющемуся вою несколько выстрелов, с тем и вернулись,

— Много волк есть, много шакал, лисица, кот дикий, хищный птица орел, — перечислял Ложка.

— Они у тебя скотину-то не крадут? — спросил Пучкин.

— Какой скотина?

— Ну, барашков, индюшек, чего там у тебя еще есть?

— Остался один барашка, — сказал хозяин, — индюшка мы уже съели.

— Так у тебя по штуке всего, что ли?

— Да, по одна штук — для дорогой гости. Теперь попрошу машина еще индюшка привезти…

За краткое время нашего отсутствия Анна Ивановна успела расстелить на полу матрацы с одеялами, а сама снова исчезла: похоже, за занавесочкой был ход в маленькую комнатенку, вроде чуланчика, там хозяйка и обитала.

— Анна Ивановна! — изумился Пучкин. — Ну, ты даешь! Настоящая восточная женщина: шуруешь-шуруешь, а на глаза не показываешься — это Ложка тебя так приучил?

— Привыкла, — донеслось из-за занавески, — да и правильно это: зачем бабе о мужскую компанию лезть? Обязательно встренешь с разговором и обязательно — невпопад, только рассердишь.

— Здорово вы устроились, — позавидовал Пучкин. — Ему — русская жена нравится, ей, понимаешь, восточный муж.

На этом, кажется, все уснули.

Утром приехали рыбаки.

— А где же они живут? — спросил я Ложку.

— Земля-земля, кругом вода, — отвечал он.

-На острове, — перевела Анна Ивановна. — Там будка есть, газовая плита, баллоны завезены… Отсюда уж больно далеко до глубоких мест, так что они живут на острове, а два-три раза в неделю, по улову смотря, привозят рыбу.

Ложка долго беседовал с рыбаками; их было двое — приветливые, улыбчивые, они наговорили нам много слов, но, кроме «салам алейкум», мы ничего не поняли.

Горючего у рыбаков не оказалось — они гоняли лодку шестом, на глубине — веслами. Машина ожидалась лишь в понедельник — это Ложка сказал нам еще вчера. Оставалось надеяться на случай — вдруг заедут какие-нибудь охотники. Однако Пучкину велено было сегодня попасть домой, кроме того, с завтрашнего дня непременно начнется розыск — сколько же напрасных тревог принесем мы и пучкинскому начальнику, и приятелю моему.

— Пойдем пешком, — сказал я Пучкину. — Как-нибудь за день доберемся. Потом приедете на машине, заправите лодку, и отгонишь ее назад.

Он кивнул. И вдруг вершители наших судеб засуетились — над озером появился самолет.

— Пиши! — закричал Ложка, указывая на дорогу. — Пиши! Пиши, что случилось!

Мы оцепенели от недоумения.

— Какой у тебя участок? — спросила Пучкина Анна Ивановна.

— Сто двадцать четвертый, а что?

Схватив стоявшее у стены вес\о, она подбежала к дороге и принялась выводить в пыли саженные буквы: «сооб»…

Самолет кружил над озером и почти не приближался.

— Может, это нас и разыскивают? — предположил я.

— Нет, — отвечал Ложка. — Зачем вас? Птица смотрит: утка разная, гусь — кто-то охотиться будет: обком, райком, исполком — начальство…

«Сообщите 124», — написала Анна Ивановна.

Самолет пошел прямо на нас. Летел он низко, и мы видели склонившееся к стеклу лицо летчика. Развернувшись, Ан-2 сделал еще один заход со стороны озера.

«Сообщите 124 лодка полом…»

Сделав успокаивающий жест рукой, пилот повернул машину вдоль берега и над тем местом, где сидела в грязи моторка, покачал крыльями.

— Пешком не надо, — сказал нам Ложка. — Отдыхать надо, чай пить надо, дастархан надо.

Подошла хозяйка, поставила на место весло.

— Спасибо, — поблагодарили ее мы с Пучкиным.

— Чего там, — отмахнулась она, — велика радость пятьдесят километров по пыли топать.

Пока хозяева принимали рыбу, мы сходили к моторке и нагрузили по рюкзаку — у нас все ж и утки были, и кое-какие харчи, так что мы вполне могли сделать достойный вклад в очередное пиршество. На соляном насте прочитали следы недавней охоты. Подкараулив в камышах возвращавшегося с водопоя сайгака, волк выскочил из укрытия и обежал сайгака кругом, чтобы не позволить ему прыгнуть в сторону, а то ведь раз прыгнет — и уже не догнать. Задавил и, взвалив тушу на спину, уволок — рядом со следом волка тянулись две полосы от задних копытец козлика.

В этот раз Анна Ивановна делила трапезу с мужской компанией: мы пригласили. Ложка не возражал. И даже вполне по-российски опрокинула стопочку.

Потом примчалась машина. Лодку заправили, и Пучкин, приняв в подарок мешок свежей рыбы, благополучно отбыл. Мне же велено было дожидаться другого транспорта: приятель дела свои завершил, и следовало возвращаться в столицу.

Ну а пока я опять уснул. Произошло это точно после жареной утки, после шашлыка из змееголова — диковинной местной рыбины, обличием своим напоминающей налима, но, думается, перед ухой...

Ложка осторожненько разбудил меня:

— Эй!

— Что случилось?

— Возьми Анна Ивановна Россия.

— Как это?

— Он никогда не видел Новгородская область, грустный из-за этого, хочет посмотреть.

Анна Ивановна, нарядно одетая, стояла в дверях.

— Потеплее бы надо, — посоветовал я. — В Новгородской-то, поди, уже снег.

— Все взяла, — с покорностью отвечала хозяйка.

У дверей лежали сумки, узлы — ничего этого прежде здесь не было. Договорились, что в Москве я посажу Анну Ивановну на поезд, а дальше уж она поедет сама. Нужную станцию она знала, название деревни помнила. Неизвестно было, сохранилась ли сама деревня, а если и сохранилась, есть ли там кто-нибудь хоть из самой отдаленной родни: последние письма приходили давным-давно.

— А если никого нет?

— Неважно: посмотрю — и назад, мне бы только увидеть, — смущенно сказала Анна Ивановна и спряталась за занавесочку.

— Родной земля постоять, — вздохнул Ложка. — Надо.

Вечером на УАЗике приехал приятель мой. Хозяин начал настаивать на барашке, но ценой невероятного труда удалось ограничить ужин зеленым чаем. Когда стали грузиться в машину,

Анна Ивановна отозвала меня и тихо сказала:

— Такое дело, что… боюсь: вдруг да останусь там, в России.

— Может, вам и оставаться не у кого?

— Все равно: приеду да в чистом поле так и останусь… Либо в лесу… Она мне всю жизнь снится, земля эта, хоть и не видала ее никогда… Нет, нельзя. Нельзя Ложку обижать — он добрый. Мы ведь с самого детства рука об руку: и в лепрозории, и на воле… Нельзя. Да и осталось-то всего ничего, — и Анна Ивановна улыбнулась. — Теперь если уж начудишь, так на исправление и времени не хватит. Простите меня… Христа ради…

Выезжали мы поздней ночью. Когда взобрались на плато, приятель мой попросил шофера остановиться и выключить фары. Мы вылезли из УАЗика и подошли к краю обрыва — жуткая, зачаровывающая картина открылась нам: внизу, освещенное холодным светом луны, расстилалось бескрайнее озеро. Где-то под нами, в непроглядной ночной черноте, ютились Ложка и Анна Ивановна.

— Не видать ничего, — пожалел я. — Как будто и нет их.

— Наверное, спать легли, — предположил приятель.

— Огонь! — воскликнул шофер.

Там, далеко внизу, вспыхнул огонек керосиновой лампы и, покачиваясь, поплыл — хозяева вышли проводить нас.

— Ур-ра-а! — закричали мы в три глотки. — Ур-ра-а!

Чего уж мы так обрадовались?

— Возьми ружье, — попросил приятель, — устрой салют — хоть волков распугаешь!

Сколько высадил я патронов — не помню, я и не считал: заряжал да лепил в небо. И все смотрел на крестообразно плавающий огонек, которым осеняла нас благословляющая рука.

## Рыбалка в Финляндии

Известно, что и самые близкие родственники подчас столь разительно отличаются друг от друга: и внешностью, и характером, и привычками, и вкусами, и укладом, — что сам факт их родства — очевидно неоспоримый — представляется чем-то загадочным и странным. О различиях между соседями и говорить не приходится.

Те же закономерности распространяются и на целые семьи, племена и народы. Взять хотя бы наших исторических, давних соседей: Китай, Японию, Турцию, — совсем другая культура, другие традиции. Не случайно русская эмиграция не смогла прижиться на этих землях и рассеялась: кто в Австралию, кто в Америку, кто в Париж.

Рассуждения можно было бы продолжить и на примере множества новых соседей, в особенности — нашего ближайшего родственника, однако страны эти еще очень молоды, то и дело хворают, оттого для серьезного сравнения употреблять их неловко. То ли дело Финляндия. Государственности — почти сто лет, народ живет в покое, равновесии и достатке. И хотя наша непохожесть общеизвестна, история, случившаяся с компанией отечественных рыболовов,

может дополнить ее несколькими, пусть и малозначительными, штрихами.

Началась эта достопамятная рыбалка на Кольском полуострове. Ловили на реках, озерах, потом собрались было отправляться через Санкт-Петербург в Финляндию, но встретились с пограничниками. Те сказали, что не надо ездить так далеко, потому что рядом, на нашей территории, финны рубят лес, и там есть пропускной пункт, и все проблемы решатся.

Пропускной пункт прошли легко, но на лесосеках поплутали: то к харчевне заехали, то контору начальника приняли за финский пограничный форпост. Финны, ничуть не обескураженные появлением четырех джипов с российскими номерами, указывали куда-то руками и что-то говорили почти по-русски. Наши поняли только два слова: «даалекоо» и «аасфаальт».

Сообразили пристроиться за груженными лесовозами. Те выехали на асфальтированную дорогу и остановились перед светофором. Сразу за светофором был железнодорожный переезд и будка, какие обычно сооружаются в подобных местах. Наши подождали-подождали поезда, но он так и не появился. Тут красный сменился зеленым, лесовозы тронулись, джипы — за ними. Возле будки стоял полицейский автомобиль, и у рыбаков возникли было некоторые подозрения, но слова, которые в представлении финнов означали, что надо проехать «даалекоо» — километр по бездорожью до «аасфаальт», где и находился пропускной пункт, наши восприняли совершенно иначе. Они поехали по асфальту, и поехали далеко.

Дорога была отличная и позволяла вести машины со скоростью сто шестьдесят километров в час. Знак с названием населенного пункта на иностранном языке несколько поколебал уверенность рыбаков, но не сильно. А вот когда они увидели на тротуаре двух женщин в велосипедных шлемах, прогуливающихся с лыжными палками в руках, все резко затормозили, едва не побив друг друга.

Справившись с потрясением, рыболовы выбрались из машин и после мрачноватых раздумий вынуждены были признать, что находятся совсем не в России. Один сказал, что теперь это оздоровительная мода — ходить с палками, чтобы разгружать ноги. Другой возразил, что палки могут помогать лишь при скольжении на лыжах, качении на роликах, при подъеме в гору, но никак не при ходьбе по равнине. Третий не мог понять, зачем велосипедные шлемы. «А откуда и куда они собираются падать»? — растерянно вопрошал он. Кто ж ему мог ответить? Остальные тоже мало что понимали. Однако надо было возвращаться к границе.

На обратном пути встретилась им полицейская машина, но они даже не разобрали, едет она или стоит.

Когда подкатили к будке, там находился один солдат. Выяснилось, что офицеры поехали в населенный пункт, где нарушившие границу четыре джипа превысили скорость. И рыбаки поняли, что полицейская машина двигалась, а не стояла. С помощью жестов и хаотичного нагромождения русских, английских и немецких слов попытались узнать, отчего же офицеры не остановили их. Оказалось, не успели осмыслить. Но потом осознали и будут теперь возвращаться. Но сначала заедут в поселок, где у местного полицейского возьмут данные о превышении скорости нашими автомобилями — тот все зафиксировал радаром. «Если они будут так гонять, — поняли рыболовы, — ждать придется часа четыре. А то и все шесть». И расположились на отдых. Кто гулял, кто спал в машине, а один, открыв дверцу, боком присел на сиденье, грыз воблу и запивал ее пивом из баночки.

То и дело подходили груженые лесовозы, останавливались на красный свет, солдат что-то отмечал в журнале, включал зеленый, и русский лес отправлялся в Финляндию.

Наконец приехали офицеры. Один из них, весьма внушительный своими размерами, приказал всем выйти из машин. Здесь следует указать, что компания состояла из бывших десантников, воевавших в Афганистане. Они и в молодости весили по центнеру с лишним, а теперь и вовсе поднакопили могущества. И когда пятый или шестой из них, протирая глаза, ступил на землю, офицер сделал останавливающий жест рукой. А когда вышел следующий, он выставил перед собой и вторую руку.

После чего, с трудом подбирая слова, объяснил, что наши пограничники его обо всем предупредили, и он пропустил бы машины без всякой задержки, но теперь надо платить штраф за превышение скорости. «Какие проблемы, командир», — и рыбаки привычно полезли за деньгами. Но оказалось, что проблемы есть, и дальнейшие события потребовали от всех присутствовавших запредельного умственного напряжения.

Офицер развернул на капоте своей машины таблицу штрафов и долго-долго ее изучал. Оказалось, что шкала заканчивалась двукратным превышением скорости. А для населенного пункта это было сто двадцать километров в час. «Штрафуй за сто двадцать», — просили страдальцы. «Но вы ехали сто шестьдесят», — сообщал офицер. «Бери за сто шестьдесят», — легко соглашались они. «Но за сто шестьдесят нельзя, можно только за сто двадцать». Это продолжалось довольно долго. Ему предлагали заплатить уже и за двести, и за пятьсот, но он хотел за сто шестьдесят, а такой цифры в таблице никак не обнаруживалось. «Нечего было ехать сюда, — вздыхал сидящий с пивом и воблой, — на последнем озере хорошая рыбалка была».

Кто-то поинтересовался вдруг, с какой скоростью можно было ползти по шоссейке. «Семьдесят», — объявил офицер. «Ну так, может, удвоите эту скорость, мы ведь и по трассе с превышением ехали? И оштрафуете нас не за превышение скорости в населенном пункте, а за превышение скорости на трассе — оно ведь произошло еще раньше?» — спросил он без всякой надежды в голосе. Офицер снова долго смотрел в таблицу, молчал, потом произнес: «Да». Вот так на ста сорока сторговались. Почему наши так и не поняли. Однако они уже начинали привыкать к тому, что жизнь становится все загадочней.

Тут подъехал автомобиль с таможенником и переводчицей — поселковый полицейский не дремал и продолжал бить тревогу. Пройдя вдоль машин, таможенник спросил через переводчицу, не везут ли рыбаки алкогольную продукцию и продовольствие. Они отвечали, что давно уже все съели и выпили. Тогда таможенник еще раз прошел вдоль машин и повторил вопрос. Ему открыли багажники. Смотреть в багажники он не стал, а девушка заявила, что в руках у одного из мужчин пиво и вобла, то есть как раз алкогольная продукция и продовольствие. Тот с удивлением посмотрел на рыбий хребет, на пустую банку и хотел уже бросить их под ноги, но девушка предупредила, что это будет нарушение экологии. Пришлось отнести в мусорный ящик.

Наконец мытарства закончились, пограничники проштемпелевали паспорта, и колонна тронулась дальше. Всю дорогу шли под сто восемьдесят, перед населенным пунктом сбавили до пятидесяти пяти.

На другой день осваивали рыбалку по-фински: в придорожном кафе купили путевки с указанием времени ловли и «коски» — речного порога, — на котором им разрешалось ловить рыбу длиною не менее сорока сантиметров. Нашли речушку. Специальный знак подтверждал, что «коски» находится именно здесь. У порога, оказавшегося небольшим перекатом, на асфальтированной площадке стояли две автомашины. Рядом под навесом были сложены обрезки досок, над ними висела лучковая пила. На берегу, в бетонном кольце, какие используются для облицовки колодцев, горел костер. У воды — разделочный столик, обитый

поверху нержавейкой.

Двое местных любителей удили рыбу. Одетые в гидрокомбинезоны, они забрели по пояс в воду и нахлыстовыми удилищами метали в перекат искусственных мушек. Стоимость обмундирования и снастей каждого из этих приверженцев аристократической рыбной ловли приближалась к стоимости недорогого автомобиля.

Наши угрюмо понаблюдали за пустыми упражнениями виртуозов и впали в раздумье: то ли поехать к следующему «коски», то ли — в гостиницу, рядом с которой был очень хороший продовольственный магазин. Было и третье предложение: возвращаться обратно, к последнему озеру, где брал окунь, да и щучка ловилась. Пока обсуждали, один из наших сходил к машине, взял обыкновенную удочку, нашел в луже длинного серого червяка и, нацепив его, забросил свою простецкую снасть под ближайший камушек переката. Поймался лосось. Виртуозы окаменели: они забыли о своих искусственных мушках, связанных из перьев тропических птиц, и стояли не двигаясь. Позакидывав прежнего червяка, поймав и отпустив пару мелких форелек, наш умелец сказал, что на этом порожке двум крупным рыбинам не уместиться, следующая подойдет не скоро, и сложил удочку.

Лосось вселил было трепет в сердца путешественников, однако асфальтированная площадка, нержавеющий стол и дрова под навесом отчего-то тяготили их. А дорожный знак, указывавший, что камни с бурунами и есть «коски», и вовсе не поддавался осмыслению. Один из рыбаков вновь предложил возвращаться на Кольский, и получалось, что если выехать прямо сейчас, то можно успеть к вечерней зорьке. «В Финляндию мы уже съездили, — заключил он, — порыбачили».

Между тем, двое местных умельцев так и стояли не шевелясь. Кто-то собрался даже проверить их здравие, да лень было идти в машину за гидрокостюмом, надевать его, лезть в воду, потом снимать, убирать...

После недолгих терзаний повернули домой — к тому самому, последнему, озеру, где хорошо брал окунь, да и щучка ловилась.

## Первая молитва

Тот, кто никогда не бывал в дельте Волги, в самых низовьях, едва ли может представить себе своеобразие здешнего ландшафта. Ведь если поехать из Астрахани по любой из дорог, ведущих в сторону Каспия, то примерно через час земля кончится. Далее начинается царство проток. Берегов, в привычном понимании, вы здесь уже и не встретите: стена тростниковых зарослей, но ступить, как правило, некуда — нет тверди. Лишь кое-где клонятся к воде деревья — там можно найти клочочки земли. Чем ближе к морю, тем больше проток: они разливаются, раскатываются. Это уже не реки, но еще и не море, это — раскаты: обширнейшее прикаспийское мелководье, с полями лотоса и беспорядочно разбросанными камышовыми островами. Раньше, лет тридцать назад, в здешние угодья попадали только рыбаки да охотники, а теперь сюда возят и досужих гуляк, и любознательных дамочек, и даже целые группы духовно помраченных людей, поклоняющихся лотосу.

Между тем угодья эти вовсе не так гостеприимны, как может показаться неопытному наблюдателю. Заросли водной растительности непроходимы, и человек, потерпевший кораблекрушение оказывается перед простым выбором: либо весело мчаться с быстрой водой в открытое море, либо пробиваться к деревьям — в половодье можно обсохнуть на их ветвях, а по малой воде под ними можно найти настоящую землю. Ну а потом, если дело случилось летом, надобно ждать приезда гуляк, рыболовов, дамочек или даже духовно помраченных людей, если

осенью — охотников и опять рыболовов, поздней осенью — не ждать никого.

Мне довелось оказаться в этих безблагодатных обстоятельствах как раз поздней осенью. Правда, лодка у нас сохранилась, но мотор молчал. Мы сплавлялись вдоль тростника к деревьям, рассчитывая найти там хоть малую твердь. Похоже, что деревья эти были нашей последней надеждой — за ними до горизонта открывался Каспий: мрачное море и мрачное небо. Хорошо еще, что ветер был несильный, да и дождь едва моросил.

Причина, из-за которой мы попали в бедственный дрейф, именовалась беспечностью, проще говоря — разгильдяйством. Тем самым, которое знакомо каждому русскому человеку, потому как переполняет наше богохранимое Отечество, даруя скорби (впрочем, иногда странным образом оно же дарует и утешение в этих скорбях).

Дело в том, что егерь, отправившийся со мной на рыбалку, применял вместо бензобака обычную пластиковую канистру, в горловину которой и вставлял шланг. Куда подевался бак, прилагавшийся к лодочному мотору, я и не интересовался: очевидно, что он был либо украден, либо пропит. И вот, когда мы крутились, переходя из протоки в протоку, нас подбросило на своей же волне, канистра упала, и весь бензин вылился в лодку. Егерь, к счастью, был человеком немолодым и многоопытным, иначе говоря, научившимся переносить удары собственного разгильдяйства. Он не сильно впечатлился от происшествия: взяв тряпочку и стеклянную банку, занялся извлечением топлива из мутной жидкости, плескавшейся у нас под ногами, — через тряпочку отфильтровывал грязь, в банке отстаивал воду и сливал добытое вещество в канистру. Процесс был правильный, но шел очень медленно, а тут еще к дождику прибавился мокрый снег — ноябрь все-таки…

И вот егерь мой пытается заполучить высокооктановое горючее, а я с помощью шеста направляю лодку к деревьям: веслами здесь не пользуются — все равно не выгребешь против течения, а шестом можно и рулить, и грести, и отталкиваться. В конце концов, прибились мы к берегу — полоске песка. Я вылез, подтянул лодку, и направился было наломать веток для костра… В глубине островка поддеревьями стоял человек… Невысокий, неказистый, небритый…

— Пашка! — Крикнул из-за моей спины егерь.

— Я, — ответил человек, улыбнувшись.

— Ты что здесь делаешь?

— Рыбу ловлю.

Мы осмотрелись: не было ни лодки, ни каких-либо снастей, да и вообще никаких следов пребывания человека на песке не было.

— А я с Валеркой, — добавил он.

— А где Валерка? — поинтересовался егерь.

— Уехал за сигаретами.

Еще раз осмотревшись, егерь спросил:

— И давно?

— Четвертый день, — улыбнулся Пашка.

— Он — что: в Казань поехал? Или в Саратов?..

Потом, вспоминая первые мгновения встречи, мы будем смеяться натурально до слез, а тогда абсурдность происходящего почти парализовала нас. Ну, действительно: ноябрь, снег с дождем, последний клочок земли перед Каспием, двое приятелей приехали на рыбалку, забыли курево, один отправился обратно в поселок, до которого полтора часа ходу, и отсутствует уже четыре дня… Сюда же прибилась аварийная лодка с прилетевшим из Москвы рыболовом и егерем, который фильтрует бензин…

Тут с дерева грохнулась кошка.

— Мурка, — представил ее хозяин и пояснил, — она здешняя.

Это было уже через край: способность удивляться мы потеряли.

И тогда жизнь помалу стала возвращаться к реальности. Сначала завелся мотор. Работал он с перебоями, кашлял, чихал, глохнул, а егерь сладострастно кричал на него:

— Что, самурай, не нравится?

Мотор был японский.

— Привык к девяносто пятому?! На хорошем бензине всякий поедет! А ты попробуй-ка с глиной да с водой!

Мотор смиренно попробовал, вытерпел все, и — поехали. Сначала проверять сети: Пашка с Валеркой успели поставить их неподалеку от острова. Привезли пару ведер подлещика — негусто, а главное — для ухи рыба неподходящая, одни кости. Тогда я на спиннинг поймал несколько окуней, уха вскоре была готова, и мы устроились возле Пашкиного жилища.

Хоромами ему служило некое подобие палаточки, сделанной из куска полиэтиленовой пленки, а ложем — вытертая овечья шкурка.

— Не холодно? — спросил я его.

— Нормально, — отвечал он, — Мурка со спины греет.

Была у них и настоящая палатка, но ее не выгрузили, и она тоже уехала. Хорошо еще, что выгрузили провиант: соль, картошку, лук, чай, макароны. Касательно своего напарника Пашка предполагал, что тот сначала угодил на поминки к соседу, потом лечился, потом — день рождения тещи и опять приходит в себя. Получалось как раз четыре дня.

— У вас поселок большой, — сказал егерь, — все время чего-нибудь отмечают, ты можешь и не дождаться его. Давай-ка, мы тебя домой отвезем. А то здесь теперь никто, наверное, и не ходит?

— За четыре дня вы — первые, — признал Пашка и, помолчав, возразил: — Приедет. На зиму никакой рыбы не запасли — хоть мелочевки навялить…

Они стали обсуждать хозяйственные вопросы, и я понял из разговора, что Пашка в прежние времена тоже работал егерем на рыболовно-охотничьей базе, но потерял место из-за какого-то знаменитого случая. Тут же мне про этот случай и рассказали.

Дело было так. Приехал на рыбалку один известный певец, и принимало его начальство. Запросили они егеря: опытного и чтобы приличного поведения. Астраханские егеря в подавляющем большинстве своем таковые и есть, но на сей раз выпало Пашке. И вот на красивом кораблике отправился он вместе с начальниками и певцом ловить рыбу. Пашка их по самым лучшим ямкам провез, поймали они и сомов, и судаков, и жерехов, и сазанов, и щук, и огромаднейших окуней, какие только в здешних краях и водятся. Вперемежку с рыбалкой — застолье: на палубе, под навесом. То есть удовольствие все получили самое наивысшее. И Пашка тоже — оттого, что удачно так поработал и любителям-рыболовам угодил. А они — на рыбалке все же — не отделяют его от себя, а наоборот: за стол сажают. Он, как и положено человеку приличного поведения, пьет мало, говорит кратко, вежливо и только тогда, когда спросят о чем-нибудь.

Под вечер благодарный певец дал концерт: это уже в салоне, чтобы мошка не кусала. Там было приготовлено электрическое пианино, он сам себе аккомпанировал и пел все, что народу хотелось. Сначала Пашке понравилось «Утро туманное» и он попросил исполнить романс еще раз, полагая, что таковая просьба вполне в рамках приличного поведения. Певец спел на «бис». Потом Пашку потрясла песня «Прощай, радость, жизнь моя» — певец повторил и ее. Но знаменитый случай произошел после «Варяга»: Пашка бисировал без конца, певец вдохновился, кричал: «С Богом!.. Ур-ра-а-а-а!», начальство не могло их угомонить, махнуло рукой и отправилось на палубу. Спустя время двери салона распахнулись: певец шел в обнимку с Пашкой, и пели они «По диким степям Забайкалья».

На другой день певец улетел в столицу, а Пашку уволили.

— Хороший был вечер, — заключил он воспоминания…

Мурка сидела чуть в стороне и деликатно, без жадности, потребляла рыбьи головы и хребтинки, которые мы ей подбрасывали.

— Чем она у тебя питается? — спросил егерь. — И вообще — откуда она тут взялась?

— Летом кто-нибудь завез да и оставил… А чем питается?.. Раньше, наверное, питалась мышами и птичками, сейчас ни тех, ни других нет, ест со мной картошку и макароны.

— Так вы все продукты можете извести, — сказал егерь, — а Валерка неизвестно когда вернется… Хорошо бы натаскать ее на крупную дичь: на гуся, лебедя или на баклана — тогда, глядишь, и перезимовать сможете.

— Приедет, — повторил Пашка, — куда он денется?.. Хотя, конечно, в палатке было бы потеплее. Да и сети надобно переставить — бросили абы куда. Изза курева все, будь оно трижды неладно…

— Ты бы, Паш, поинтересовался, — егерь вздохнул и кивнул в мою сторону, — как дело твое ускорить…

— Да я и сам уж думал… как это… попросить, — он указал глазами на небо, — да слов не знаю.

Мне подумалось, что молитва этого искреннего и простодушного человека не останется без ответа:

— А ты — своими словами…

Он встал, направился к берегу, мы допили чай, поднялись следом, и егерь вдруг остановил

меня: Пашка стоял у воды и временами жестикулировал — должно быть говорил что-то. Наконец, закончил, хотел было поворотиться, но, словно опомнившись, задрал голову и осенил себя крестным знамением.

— Во лает! — прошептал егерь.

Когда садились в лодку, я сказал Пашке:

— Значит, четыре дня назад уехал за сигаретами? — и мы рассмеялись.

— Если не выкарабкаемся, — сказал на прощание егерь, — жди нас еще раз: будем тут с тобой куковать. Плащи у нас с собой есть, соорудим какую-нибудь палаточку…

— Приезжайте, — Пашка кивнул, — я сейчас дровишек заготовлю побольше — переночуем…

Добрались мы благополучно. По пути нам встретилась только одна моторка: кто-то, несмотря на сумеречный час, спешил в низовья. Егерь изумленно покачал головой, и я понял, что первая Пашкина молитва услышана.

## Драма

Идем на катере по широкой протоке. Путь пересекают четверо диких утят-пуховичков. Останавливаемся, чтобы не утопить их волной.

— Куда ж вы плывете, ребята? — спрашиваю.

— На ту сторону, — отвечает за них капитан катера.

— Без мамки, — говорю.

— Мамку съели, — капитан невесело вздыхает.

— Кто это постарался? — Я смотрю на остров, который они оставили, — обыкновенный маленький остров в зарослях тростника.

— Птица, — уверенно говорит капитан. — Охотилась за ними, а мама-утка бросилась их защищать и погибла.

Я тоже думаю, что дело было именно так: протоки здесь широки, течение быстрое, и ни один четвероногий хищник попасть на остров не сможет. А если бы вдруг какую-нибудь лисичку и занесло, то в подтопленном тростнике она — не охотник. Это, без сомнения, хищник пернатый: подкараулил выводок на открытой воде и упал с неба.

— Интересно, — говорю, — как они потом обсуждали, что предпринять?

— Собрались в кружочек, — предположил капитан, — погоревали, и один убедил всех плыть на ту сторону — в дальние края. Вон он — флагман, впереди всех шпарит.

Но тут мы решили, что в малых головках, которыми утята непрестанно вертели, не могло помещаться столько слов, сколько нужно для подобного рода переговоров и обсуждений. Вероятнее всего, флагман был просто чуть-чуть постарше — раньше вылупился из яйца, и остальные, появившись на свет, видели его пред собою. Он и за матерью, наверное, плавал первым, и теперь эта череда сохранилась: бросился с испугу незнамо куда, а остальные — за ним, не отставая.

— Ну и что ж вы там, ребята, хотите найти? — спрашиваю.

— Там тот же самый орлан-белохвост, та же скопа, а соколов — еще и побольше будет, — обреченно рассказывает капитан. — Остров огромный, на нем и лисицы есть, и еноты, и кабаны. Так что несладко вам придется, ребята.

Прикрывая от воздушного нападения, мы сопроводили птенцов до берега и ничем более помочь не могли.

— Ты, батюшка, помолись за них, если можно, — попросил капитан, — совсем уж существа отчаянные, беззащитные.

И катер начал набирать ход.

## Пеликан

В дельте Волги, где нет уже почти никакой тверди, только тростник да камыш, встречаются иногда весьма загадочные персонажи, род отшельников. Судьбы их, вероятно, различаются степенью витиеватости, однако объединяет всех этих людей способность обходиться без человеческого общения, что, согласитесь, не может не вызывать определенного интереса. Ведь если внимательно присмотреться, человеческое общение и составляет самое дорогое удовольствие на земле. Впрочем, платить за него приходится и самыми большими скорбями.

Лишь прямое, непосредственное общение с Господом не приносит скорбей, но для обретения такой благодати нужна вера, неколеблемая никакими ветрами. Благословенна участь подвижников, достигавших таких высот: им открывалось счастье полного, безграничного всепонимания. Скорбеть при этом оставалось разве что о своей неизбывной греховности.

Однако среди местных пустынножителей едва ли случился хотя бы один, подвизавшийся на ниве духовного делания. Обычно они попадали сюда не от возвышенности интересов, а из-за чрезмерной горемычности жизненного пути и, как правило, вопреки собственным устремлениям.

Люди, живущие там, где уже и земли-то нет, не могут — осмелюсь повториться — не вызывать любопытства. Впрочем, земля там есть: если над тростниковым островком видна крона двух-трех деревьев, то под ними наверняка есть клочочек некоей суши. Вот в таких-то местах и селятся здешние затворники. Жилищем служат либо маленькие домишки на сваях, сколоченные невесть из чего, либо старые вагончики, которые принято именовать строительными бытовками. Почти все эти сооружения изначально принадлежали рыбацким артелям, а вот дальнейшая их судьба столь причудлива, что совершенно не подлежит описанию.

В сонме пустынножителей, селившихся в разные времена на крохотных островках волжской дельты, Николай Николаевич занимал особое место. Начать с того, что он был человеком весьма образованным. Имел семью, преуспевал на трудовом поприще, и ничто не предполагало его перехода на путь строгой аскезы. Переход этот между тем совершался. Медленно, незаметно, но неуклонно. Сначала закрылось предприятие, где Николай Николаевич работал корабельным конструктором, и вместо жалования ему предложили вагончик, брошенный в прикаспийских плавнях. Потом он вышел на пенсию. Потом оформил залежалый развод и расстался с женой. В ту пору он уже стал проводить на острове недели и месяцы. Наконец женился сын, привел сноху, которая сразу же стала жаловаться на тесноту в доме. Ранней весной Николай Николаевич оттолкнул от берега старенькую моторку и возвратился лишь в

ноябре. Спустя четыре месяца снова уехал. К этому времени остров стал для него землей сокровенной, землей, где вершилось его уединение.

Поначалу он переносил одиночество легко: ловил рыбу, причем ловил только любительскими снастями, не признавая ни сетей, ни переметов, ни других промысловых премудростей, — отдыхал, словом. Иногда заезжали туристы с рыболовно-охотничьих баз, покупали копченую и вяленую рыбешку. Трофейные экземпляры сам отвозил на ближайшие базы, где их приобретали знатные столичные спиннингисты, чтобы сфотографироваться для глянцевых рыболовных журналов. Так что и уединение было щадящим. Потом, однако, однообразие этих занятий наскучило, он почти перестал выезжать к людям и впал в уныние.

Как-то инспектор рыбоохраны привез ему черненькую собачонку. «У нас, — говорит, — на посту расплодилось их — не сосчитать, а тебе сторож пригодится». — «Как зовут-то хоть?» — «Черныш. Но и на Белянку отзывается».

Потом пограничники подарили кошечку: маленькую, пушистую, рыжую, хвост трубой. Звали Муськой. «Чтоб мышей не было». — «Да откуда же у меня мыши, если остров по весне водой заливает?» — «Мало ли? Вдруг летом приплывут?»

Так вот и стали жить втроем. Собачка была добрая-предобрая и, вероятно, по расхожим представлениям умная: «Сидеть!», «Лежать!», «Голос!» — все выучивала, но для проникновенного общения этого было недостаточно.

— Что с тебя взять? — говорил Николай Николаевич. — Пес — ты и есть пес, существо зависимое, несвободное, и все соображение твое — тоже зависимое. Вас считают умными лишь потому, что вы привязчивы и команды выполняете.

Муська хоть и принадлежала, по мнению Николая Николаевича, к существам вольной жизни и свободного разума, однако была барышней: с ней, о чем ни заговори, сразу просит спинку погладить и за ухом почесать. «Подрастешь — свезу тебя обратно и поменяю на котика: с котами беседовать хорошо — они понимают. А твое, счастье — в кошачьем материнстве».

И тут случилось событие, решительным образом изменившее жизнь всех поселенцев: на остров взошел пеликан. Вышел из воды и замер на краю суши. Черныш подбежал, чтобы облаять грандиозную птицу, но получил удар такой силы, что отлетел под вагончик. Заглядывая в будущее, надо сказать, что удар могучего клюва, пришедшийся точно в лоб, придал характеру Черныша благостную раздумчивость, не оставлявшую его до конца жизни. Увидев, какой конфуз случился с собакой, Муська не стала испытывать судьбу и рассматривала пеликана с некоторого отдаления.

— Оставьте его, ребята, — сказал хозяин. — У него крыло повреждено, летать, наверное, не может.

Так и было; летать пеликан не мог. Он, конечно, мог плавать и ловить рыбу. Однако течение постепенно сносило его все ниже и ниже, и когда принесло к последнему островку, пришлось выбраться из волы, потому что без крыльев в море — погибель.

Несколько дней птица простояла в углу, изредка сходя с берега, чтобы, по всей вероятности, смочить перья. Николай Николаевич специально наловил мелких окуньков — пеликан, склонив голову, внимательно изучил подарки, но есть не стал. Отказался он и от каши, и от лепешек. «У нас больше ничего нет», — развел руками Николай Николаевич. Пеликан пристально посмотрел на него снизу вверх желтым глазом и осторожно сполз в воду. Поплескавшись, разинул клюв: в мешке трепыхался сазанчик. «Такой рыбалки я еще в жизни не видал», —

сказал Николай Николаевич.

Пеликан — птица для здешних краев обычная, но малочисленная — не то, что лебеди. Однако в отличие от лебедей, это нескладное на вид существо пользуется у местных жителей непреложной симпатией. К лебедю, надо заметить, отношение совсем иное, что совершенно естественно: всякий человек, изучавший жизнь лебедей не только по балету Петра Ильича Чайковского, знает, что романтизированная нами птица на самом деле драчлива и довольно жестока, и все пернатые стараются держаться от нее подальше.

Так что новый островитянин был принят человеком в высшей степени благодушно и с необыкновенной легкостью нашел свое место в непривычном для него общежитии: кошку надо было кормить свежей рыбой, собаке варилась уха, а пеликан добывал себе пищу сам. Еще и делил трапезу с Муськой. Если рыбалка не задавалась, он, напротив, деликатно таскал провиант у нее из-под носа.

А еще он знал одну весьма увлекательную игру: подцепит клювом с земли какую-нибудь щепку или веточку и бросает тебе. Ты в ответ должен совершить нечто подобное. У Муськи и Черныша не складывалось, а Николай Николаевич освоил. Особенно после того, как пеликан нашел в тростнике пенопластовый поплавок от сетей размером с теннисный мяч — как раз под ладонь человеку. Правило игры было простое: кто уронит поплавок — тому гол. В первые дни Николай Николаевич побеждал, но потом пеликан научился применять финты — обманные движения клювом и ситуация стала выравниваться. Возможно, он достиг бы и больших высот мастерства, но Черныш утащил пенопластовый мячик и изгрыз его.

Тогда пеликан придумал новую игру — в шутку пугать зверей: растопырив крылья, он с шипением набрасывался то на кошку, то на собаку и угрожающе разевал клюв. Муська спокойно подставляла хвост или голову, и пеликан, не защелкивая клюв до конца, только гладил ей шерстку. Черныш делал вид, что очень боится, и с восторженным лаем носился по острову, время от времени сверзаясь в воду.

Слух о домашнем пеликане прошел по низовьям. Приезжал орнитолог из заповедника, осмотрел птицу, но причину травмы не определил: «Это и не огнестрельное ранение, и не результат птичьей драки. Кость раздроблена так, словно его какой-то зверь за крыло цапнул. Но у нас какой зверь? Кабан? Где он мог так подставиться кабану? Енот? Пасть маловата. Не понимаю». Прописал кальций, и следующую поездку в город Николай Николаевич посвятил скупке аптечного глюконата кальция.

В город приходилось путешествовать почти каждый месяц: сначала пятьдесят километров по реке до поселка, потом на автобусе до Астрахани. Получив пенсию, он возвращался в поселок, закупал продукты, бензин и отправлялся на остров.

В одну из таких поездок, случившихся на исходе лета, он заглянул домой и обнаружил, что его комната переоборудована под детскую, а в шкафу висят женские платья. Свою одежду он нашел в мешке на балконе. Хотел позвонить сыну на работу, но махнул рукой: «Что воспитал, то и получил».

Вернувшись, долго разгружал лодку, потом сел на ступеньки вагончика и, когда рядом собрались все насельники, объявил: «Зимовать будем, друзья мои». Друзья, думается, не поняли.

И началась подготовка к зимовке. Первым делом Николай Николаевич соорудил скотный двор: вагончик был на колесах, и пространство под ним следовало укрыть. Для этого был привезен

рулон металлической сетки и морозостойкая пленка. Закончив работу, он сказал: «Привыкайте, это ваш дом». Потом занялся заготовкой дров: выезжал на рыбалку с бензопилой и всякий раз добывал немного сухой древесины. Наконец выкопал яму и поставил в нее пару специально приобретенных пластмассовых бочек: «Будем рыбу солить про запас: кто его знает, что мы тут зимою наловим». А еще договорился с деревенскими рыбаками, и они привезли ему воз соломы — надо же было чем-то застелить скотный двор. Осень прошла спокойно. Николай Николаевич до конца ноября занимался дровами и рыбой, и, как выяснилось, не зря: зима, против обыкновения, оказалась затяжной и холодной.

В январе, когда температура внезапно упала до тридцати, он забрал всех зверей в вагончик. Пеликан с Муськой спали на нарах, Черныш — на заиндевелом полу. А Николай Николаевич всю ночь подтапливал маленькую буржуйку, тепла которой не хватало на ветхое сооружение. Под утро и он уснул. Сквозь сон слышал шум вертолета, но ни сил, ни желания снимать с груди Муську и отодвигать согревавшего бок пеликана не было. Разбудил Черныш, скуливший у двери. Николай Николаевич сразу почувствовал, что печка погасла. Снаружи было белым-бело: и деревья, и тростники, и вагончик, и остров — все было покрыто слоем плотного, колючего инея. Белой была и протока: ее наглухо укрыла шуга.

Черныш, стоя на краю острова, вглядывался вдаль и задумчиво поскуливал, словно бы вполголоса напевал. Николай Николаевич отнес в вагончик охапку дров, растопил печку, еще раз сходил за дровами; Черныш не шевелился. «Там база, — сказал хозяин, — километрах в пяти-шести. На базе Жулька. Собачка она симпатичная: с тебя ростом, лохматая-прелохматая. Как о матери, я слышал о ней только самые лестные отзывы… Но если ты просидишь в размышлениях еще пару дней, лед может растаять и тебе отсюда не выбраться. Так что ступай, добежишь. Сторож бывал у нас, знает тебя, сразу не выгонит, а я потом за тобой заеду — ты ведь там никому, кроме Жульки, не нужен». Исполнив еще несколько сладостных песнопений, пес в задумчивости ступил на лед и через торосы шуги, оскальзываясь, перебрался на другой берег.

Еще двое суток просидели они на нарах, греясь друг возле друга, потом потеплело, восстановилась обычная астраханская зима, когда легкие и недолгие заморозки чередуются со столь же легкими оттепелями.

А за Чернышом ездить не пришлось: его на катере доставили пограничники. Начальник заставы осмотрел остров, зверинец, жилище, угостился ушицей, попил чайку и рассказал, что с патрульного вертолета, летавшего над плавнями в самый мороз, не обнаружили над вагончиком дыма, и потому было решено срочно проведать остров. А когда на рыболовной базе пограничникам сдали Черныша, они и вовсе встревожились.

— Мы, — говорит, — взяли его с собой как розыскную собаку, на всякий случай, мало ли…

Николай Николаевич понял, что этот вертолет и пролетал над ними, когда он уснул и печка погасла.

— Но я, конечно, надеялся на лучшее, — сказал офицер, и в подтверждение его слов солдаты принесли с катера ящик тушенки и огромную коробку с чаем, сахаром, печеньем и пакетами какой-то крупы. Еще он сказал, что жена давно хотела красивую кошечку и Муська ей непременно понравится.

— Забирайте, — согласился Николай Николаевич, — она уже взрослая, пора в свет выводить. Когда принесет потомство — мне, пожалуйста, котика.

На том расстались.

Весна выдалась спокойная, теплая, вода поднялась ненамного — даже скотный двор остался сухим. Выйдя однажды из вагончика, Николай Николаевич увидел нескольких пеликанов, плававших неподалеку от острова. Подранок, расправив крылья, стоял на краю земли и смотрел на них, а Черныш разглядывал то чужаков, то своего приятеля и даже не лаял. Заметив человека, стая неспешно тронулась вниз по течению.

А через неделю, вернувшись с рыбалки, Николай Николаевич и вовсе не обнаружил птицы. Стал допрашивать Черныша, но тот погрузился в раздумчивость такой глубины, что на вопросы не реагировал. «Не мог он бросить нас, не попрощавшись, не мог! — твердил Николай Николаевич. — Мы — земные, а он — другой, он не мог!»

И в это время огромная белая птица, раскинув крылья, бесшумно слетела на остров. «Я знал! Я верил!» — говорил человек, опускаясь на колени, чтобы обнять птицу. Пеликан положил голову ему на плечо, клюв — на спину и, похоже, пытался прижать человека к себе.

— Прощай, брат, — шепнул Николай Николаевич, — если что не так, ты уж прости!

Он встал. Пеликан, сделав несколько неуклюжих шагов, легко оторвался от тверди, без видимых усилий взмыл над тростниковыми зарослями и исчез. В это мгновение Николай Николаевич совершеннейшим образом осознал, что остался один и что так будет до конца дней.

Дальнейшая его жизнь потекла уравновешенно и почти бесстрастно. Пожалуй, лишь одно малое изменение со временем прибавилось в ней: Николай Николаевич полюбил смотреть на небеса облака мог наблюдать долго-долго. Он не знал, что это душа просилась домой — тосковала по своим небесным обителям.

## Маша

Отец ходил по Волге баржевым шкипером. Мать, как повелось у баржевых, работала при нем матросом. Жили они в кормовой надстройке, здесь Николушка и родился. Была зима, баржа стояла в затоне, и отец, сколько мог, утеплил жилье; обшил тесом и настелил пол. Согревала их небольшая железная печка, служившая заодно и кухонной плитой. Почти на всех соседних суденышках точно так же зимовали другие семьи — целая деревенька. Этим волгарям просто некуда было деваться — за войну они утратили кров.

Первые семь лет Николушка существовал при родителях, потом его определили на берег — в школу-интернат, где он сменил своего старшего брата, поступившего в мореходку. Некогда у них была и сестра — предвоенного года рождения, но во время эвакуации она заболела и умерла. Эвакуировалась семья недалеко: от родного Сталинграда километров двести пятьдесят вниз, где взрослые работали подборщиками — подбирали трупы, плывшие со Сталинградской битвы. Там, в селе девочку и похоронили. Иногда родители навещали могилку, брали с собой и Николушку. Капитан буксира останавливал караван и ждал, пока они на лодке сплавают в село и вернутся обратно.

Кроме обычной школы, Николушка посещал и музыкальную — уж очень отец любил музыку: сначала возил с собой патефон и меж фронтовыми песнями слушал романсы в исполнении Надежды Андреевны Обуховой, потом приобрел радиолу и множество самых разных пластинок. Чаще других крутили Чайковского: по мнению отца, сочинения выдающегося композитора особенно гармонировали с волжскими берегами. Такой же чести удостоились некоторые

произведения Глинки, Рахманинова, Бородина и Калинникова. Бывало, отец заведет пластинку, выйдет на палубу, смотрит на проплывающие берега и слушает, слушает… Потом говорит: «Годится!». Или: «Не годится!». Это уж кому как повезет. К его прискорбию в музыкальной школе были только духовые инструменты — их Николушка и осваивал.

Летом, в каникулы, он жил с родителями на барже, помогая в меру сил и умения. Шкипер, а по судовому расписанию — баржевый — опускал и поднимал якоря, отвечал за швартовку, подруливание в сложных местах: у причалов, мостов и шлюзов, вечером зажигал на мачте огни. А еще приходилось то и дело ремонтировать что-нибудь, подкрашивать, драить, смазывать — Николушка во всех этих делах и участвовал. Мать стирала, готовила еду, но при необходимости могла не хуже отца управиться с якорями или швартовкой.

Последние школьные каникулы он, как обычно, проводил в плавании: из Ярославля вниз по реке везли автомобильные шины, из Астрахани вверх — арбузы. В Астрахани — хорошо: только станет баржа под погрузку, появляются люди с черной икрой. Отец повыбирает, повыбирает, наконец, выберет: возьмет литровую банку «наисвежайшей зернистой», поставит на стол, и протягивает столовую ложку: «Держи, Коль, икру надо есть ложкой». Ну, понятное дело, помидоры еще, арбузы, фруктов всяких полно… А уж рыбы сколько! Хоть на рейде, хоть у причала — Колька прямо с борта лавливал и сазанов, и сомов, и жерехов, и окуней, и судаков, и щук… Про воблу говорить нечего — ее вялили сотнями. До чего же хорошо в Астрахани! Было… тогда… Впрочем, и сейчас еще неплохо.

Загрузили баржу арбузами и отвели на рейд — ждать второе суденышко: их должны были буксировать парой. Коля с самого утра рыбачил и успел уже много чего наловить. Тут подошел пассажирский дизель-электроход из Москвы: ожидая, когда освободится занятый кем-то причал, он тихонько подрабатывал винтом и стоял совсем рядом. Это, конечно, мешало забрасывать снасти, и Колька прервал занятие. Поворошил землю в старом ведерке — посмотрел, сколько осталось червей: в Астрахани червяков нет, приходилось возить из Ярославля. Решил, что на утро хватит, а больше и не надо было — днем следовало отправляться.

От нечего делать поднялся по лесенке на крышу надстройки, где был огромный штурвал, управлявший рулем, положил руки на этот штурвал и стал бесцельно рассматривать дальний рейд, причалы, набережную… Оборотился к дизель-электроходу, который никак не хотел уходить, увидел капитана в рубке, двух матросов, укладывавших канат на нижней палубе… За окном одной из кают светлело лицо девушки… Он не успел еще разглядеть это лицо, но замер и перестал дышать…

Он даже не подозревал, что мгновение, пролетевшее только что, перевернуло всю его жизнь.

Потом девушка выбежала на палубу.

— Как тебя зовут? — крикнул он.

— Маша, а тебя?

Он назвался. И тут пассажирский начал набирать ход.

— Как найти?

Девушка несколько раз прокричала номер, Коля запомнил.

Зимой они общались только по телефону и то — редко, когда Коле удавалось накопить денег.

Летом, к полной неожиданности для родителей, он поехал поступать вовсе не в мореходку, а в музыкальное училище — он поехал в Москву. И поступил. Маша отдыхала с матерью где-то на юге и вернулась только к первому сентября. Тут и у него, и у нее начались занятия — а она училась в десятом классе, и поначалу встречи получались краткими, на улице. Наконец, Коля был принят в доме и представлен матери — отец давно завел другую семью и не появлялся.

Теперь все свободное время он проводил либо в гостях, либо, ожидая ее из школы, на трамвайной остановке. Обнаружилось, что у Маши есть и другие поклонники, а среди них — вполне состоявшиеся молодые люди с профессией и зарплатой, а не с жалкой стипендией.

— Ты волнуешься из-за них? — как-то спросила Маша.

Коля кивнул.

— Не волнуйся, — спокойно сказала она.

Однако он продолжал страдать. И не столько из-за поклонников, сколько из-за себя самого: с каждым днем собственный провинциализм и необразованность становились ему все очевиднее. Он понимал, что там, в Астрахани, на Волге, он был в своей стихии и, вероятно, произвел на девушку какое-то впечатление, а здесь он превратился в экзотику — деревенский трубач. Машина мама так и называла его — Трубачом. Она занималась литературным переводом с французского, была хороша собой, жаждала замужества, и среди ее гостей то и дело оказывались знаменитости.

Отчуждение нарастало, и однажды он с грустью произнес:

— Ты, кажется, меня совсем разлюбила.

— Нет, — отвечала она словно в раздумье, — я люблю тебя, — но в голосе ее слышалась недоговоренность. Лишь спустя годы он понял, что это было предчувствие несбыточности.

Следующим летом, когда Маша должна была поступать в университет, Николай со студенческим оркестром отправился на гастроли: он хотел заработать деньжат, чтобы приодеться и выглядеть посолиднее. И началось: перелеты, переезды, концерты, репетиции — то в гостиничном номере телефона нет, то есть, да разница во времени такова, что в Москве ночь глубокая. Да тут еще флейтистка на соседнем стуле — когда плечиком, словно невзначай, прикоснется, когда коленкой. В общем, долго не звонил он в Москву. А позвонил — никто не отвечает. И в другой раз, и в третий…

Вернулся Николай — а в квартире Машиной никого нет: свет по вечерам не зажигается. Потерялась Маша. Тут, правда, одна пианистка предложила подготовить концертную программу для гобоя и фортепиано. Полгода готовили, можно было давать концерт, однако появилась вокалистка — меццо-сопрано, из-за которой инструментальный дуэт вмиг рассорился.

Однажды вечером свет в Машиных окнах зажегся. Николай радостно подбежал к дверям, но оказалось, что там поселились чужие люди. Они сообщили только, что квартирный обмен получился сложным, многоступенчатым, и что прежняя хозяйка, кажется, вышла замуж за овдовевшего дипломата и уехала в неведомую страну.

Потом Николай окончил консерваторию, играл в хороших оркестрах, стал лауреатом конкурса.

Он был дважды женат, разводился и век свой доживал в одиночестве. Оборачиваясь в прошлое,

с удивлением убеждался, что женщины не оставили в его душе никакого следа — совсем никакого. Там была только Маша. Единственная. Меж тем, они и поцеловались-то по-взрослому лишь раз. Был зимний вечер, они стояли в сквере у Машиного дома, под фонарем, снег падал тихими хлопьями… Их бросило друг к другу с такой силой, что губы — в кровь. «Как еще зубы не повыбивали», — смеялись они потом над своей неумелостью.

И ему верилось, что она непременно жива, и все-то у нее, слава Богу: муж, дети, внуки… И все они здоровы и благополучны. И от этой мысли ему становилось радостно и тепло, и он улыбался. Но временами подступала боль: ах, если бы встретиться с ней, пусть хоть ненадолго — на мгновение… Ему казалось, что вся прошедшая жизнь обрела бы тогда какую-то упорядоченность, завершенность, какой-то смысл. Он ощущал себя раздерганным, расстроенным инструментом: одна струна настраивалась под одного человека, другая — под другого, третья — под третьего… А тут, глядишь, осталось бы только то, что связано с Машей, все прочие струны можно было бы выкинуть. Пусть не арфа, пусть балалайка, зато — с чистым голосом. И вместо омерзительного дребезжания он, быть может, услышал бы мелодию хоть и простую, но ласковую, красивую.

Если бы встретиться… Хоть на миг…

## Рюшечки

Мы никогда друг друга не видели. Она присылала мне письма: корявым почерком, на тетрадных страницах в клетку. Сбивчиво и суетливо пыталась пересказать историю своих духовных шатаний, падений и, смею надеяться, некоторых прозрений. Там было много всего — мне оставалось только расположить события правильной чередой.

Помнила себя Евдокия с первых послевоенных лет. Просыпаясь, видела перед собой в красном углу бабушкины иконки — бабушка, стоя на коленях, молилась. Солнечный свет заливал комнату, вкусно пахло желудевыми лепешками. Теперь, в старости, она понимала, что была в те времена так близка к Богу, как никогда впоследствии.

«Я любила тогда всех людей, особенно, конечно, родных. Любила до замирания сердца. Все любила: речку, небо, родительский дом. День начинался с бабушкиной молитвы и бабушкиной молитвой заканчивался».

А дальше женщина вспоминает, когда же это все стало уходить. Она помнит момент, как увидела на своей подружке новое платьице с рюшечками. И этим рюшечкам позавидовала. А рюшечки, если кто не знает, это сборчатые полоски материи, которые пришиваются к плечикам, рукавчикам — чепуха, в общем. Потом девочка позавидовала новым коричневым туфелькам другой подруги. А через зависть в нее вошли и прочие погибельные для души страсти.

Она выросла, вышла замуж. Родила трех дочерей. Работала в сельсовете. И вся остальная ее жизнь была посвящена тому, чтобы жить не хуже других. А по возможности — и лучше. Приобретались мебельные гарнитуры, ковры, холодильники, телевизоры, магнитофоны… Когда они устаревали, их заменяли новыми. И ради этих приобретений, вспоминала Дуся, она и взятки давала, и документы подделывала, приходилось лукавить, лгать, льстить, лицемерить… А денег недоставало. Стали выращивать скот на продажу, разводили кур, уток, индеек. В этих трудах муж ее стал инвалидом. Но все у них было — не хуже. «Дом — полная чаша». Его достраивали, расширяли. Так дожила до семидесяти лет. И вдруг дом за одну ночь сгорел. Дотла.

Все село помогало его тушить. Никакого имущества спасти не удалось. Успели только выпустить из сараев всю живность. Сами на улицу выбежали — она в халате босиком, а он в тренировочных штаниках.

И вот утром супруги сидят на скамеечке напротив пожарища. Рядом с ними кот. Корова пришла и коза. А остальные — разлетелись и разбежались. И тут ветерок донес слабый запах желудевых лепешек: за огородами была дубовая роща, и, вероятно, желуди попали в огонь. Это был запах из детства…

А мимо шел батюшка в храм — готовиться к службе. Он тоже всю ночь помогал тушить пожар. Евдокия за ним увязалась, пришла босиком в церковь. Батюшка занимался своими делами, а потом спрашивает: «Тебе чего?» Она подумала-подумала и сказала: «Поблагодарить Бога». Дуся боялась, что священник решит, будто она с ума сошла. А он спокойно и понимающе кивнул: «Отслужим благодарственный молебен».

Вышла она после молебна на улицу. И стало ей легко-легко. Взрослые спешили на работу, дети — в школу. «Как же я люблю этих людей!» — осенило вдруг Евдокию. Между тем еще вчера она едва ли не со всеми была в раздорах.

Соседи пригласили попить чайку. Сидят они с мужем за столом, и вдруг заходит землячка, которая давно переселилась в город. А в селе, у нее был родительский дом. И он пустовал, потому что родители умерли. Кто-то сообщил ей о пожаре по телефону, и она сразу примчалась на большом красивом автомобиле.

Говорит: «Идите, живите в этом доме! Вот ключи. А чтобы не было недоразумений, давайте я вам его сейчас продам за символическую цену! Мне он, честно, совсем без надобности». Супруги возразили: «У нас денег нисколько нет, даже символических». Но все же пошли в администрацию. А там уже приготовлена материальная помощь: «Получите и распишитесь!».

Открыли хату, и оказалось, что она очень похожа на ту, в которой Дуся провела детство. Даже иконы — словно бабушкины. И женщине стало радостно.

Тут начали приходить соседи, приносить еду, одежду. Возвращать кур, уток, индюшек. Но Евдокия сказала: «Куда улетели, там пусть и живут». Оставили козу — для молочного пропитания, а корову в тот же день и продали. Так и обустроились.

Внучки у Евдокии — взрослые девушки. Живут в городах, учатся. И вот она пишет: «Увижу по телевизору шубку какую-нибудь, думаю: «Надо, чтобы и у моей внучки такая была!» И тут же словно током: «Опять рюшечки!» Этим пожаром мне указание было дано, чтобы я поняла свою жизнь. Он для меня — специальный. Шифер ведь от пламени взрывался и разлетался, соседские дворы были усыпаны этим шифером, но ни у кого ничего не загорелось. Так что это мне — указание, мне — знак. Как же я благодарна Богу, что никто больше не пострадал! Из-за меня и моих рюшечек».

## Русалки

В тридцати километрах от малого города С. К есть озеро. Лежит оно среди огромных болот, отчего и собственные его берега большею частью заболочены и непроходимы. Впрочем, с одного края к воде узкой гривой выходит сосновый бор, а с противоположной стороны тоже есть клин посуше — там клюква.

К началу двадцать первого века народ славного городка оказался в такой нищете, что подобно

древнейшим предкам, выживал за счет собирательства: спасали грибы и ягоды. Грибы шли на пропитание, а клюкву сдавали заготовителям, получая взамен денежные купюры.

И вот как-то осенью три подружки отправились на ягодный промысел. Одна была женой священника, другая — учительницей литературы, а третья — директором краеведческого музея. Сначала батюшка довез их на старом УАЗике до деревни, где жил знакомый лесник, а оттуда в прицепе колесного трактора компанию отволокли к месту трудового подвижничества. После чего трактор уехал.

Они ползали по болоту до темноты, а ночевать забрались в прицеп: дощатый пол его был устлан свежайшим сеном, поверх сена — матрацы, на них спальные мешки. Легкая непромокаемая ткань крепилась к бортам специальными петельками, укрывая прицеп на случай дождя, то есть опочивальня была вполне уютной и понравилась женщинам. Они уже не один раз ездили в этом году за клюквой, однако ночевали на болоте впервые: сами придумали, чтобы не мотаться туда-сюда, не тратить на дорогу драгоценное светлое время — по темноте из этого мха не выберешься.

Отползав еще один день, подруги благополучно возвратились домой, и жизнь своей чередой продолжилась.

Недели через две к священнику прямо на улице подошел охотовед и предъявил претензию странного рода: дескать, читал он в газете батюшкину статью о процветающем в здешних краях язычестве, и считает статью неправильной. Мол, причем тут умственные заблуждения, если озеро переполнено натуральнейшими русалками. Охотовед был человеком накрепко завязавшим, а кроме того — настоящим охотником, то есть в своем историческом развитии стоял на ступеньку выше примитивных собирателей ягод, и священник задумался. Дальше выяснилось, что некоторое время назад охотовед ездил на озеро — как раз туда, где сосновый бор: там берег твердый и можно даже в воду зайти. Ночевал в кустах, огня не разводил, чтобы не потревожить уток. И вдруг с озера — то вой, то хохот.

— Я, — говорит, — выстрелю: тишина, а потом по новой хохочут… И так до утра… Только на рассвете затихли. А может, я их всех порешил…

— Так ты что же: прямо в них и стрелял? — батюшка тянул время, чтобы разобраться в происходящем.

— Конечно! Жуть страшенная!

— Ну а если бы ранил — как потом на мотоцикле везти: у них ведь ног нету… Опять же группа крови, у них какая?

— Какая?

— То-то и оно…

— Я без смеха — жуть, говорю! Могу поклясться на Библии!

Но тут в сознании священника затрепетали вдруг некоторые подозрения, и он пригласил охотоведа к себе домой. Когда матушка разливала чай, он поинтересовался, хорошо ли им спалось во время ночевки в болоте.

— На той стороне всю ночь кто-то бабахал — перепились, наверное.

— А вы что делали?

— Мы? — она повспоминала-повспоминала. — Болтали, наверное… может, пели…

— А что именно пели?

Надо отметить, что у матушки было музыкальное образование. Она регентовала в храме и сумела возрастить сносный хор, который почти до слез ублажил архиерея, приезжавшего на престольный праздник.

Ночной концерт начался с «Песни Сольвейг» Эдварда Грига. Пришлось дважды повторить ее на «бис». И все это под канонаду, доносившуюся с другого берега. Потом учительница пересказала подружкам сюжет «Пер Гюнта», а заодно и других пьес Ибсена, которые она некогда прочитала. Подружки были в восторге от норвежской действительности, и, кстати, когда барышня излагала драматические произведения, никто не стрелял. Жаль, что Гамсуна она не читала: хватило бы пересказывать до утра, и, глядишь, тогда не впал бы охотовед в языческое искушение и, возможно, добыл бы каких-нибудь уток. Но тут музейная директриса решила блеснуть научными знаниями — а она готовила кандидатскую по частушкам — и началось такое!.. Конечно, в рамках приличия — диссертация ведь, для печати, но они рыдали от смеха, пока силы не кончились. К этому времени охотник расстрелял все патроны.

— Вот что значит «без ума смеяхся», — пожурил ночную певицу благочестивый супруг.

Когда охотовед вернулся домой и рассказал обо всем матери, старуха кивнула:

— Сколько раз говорила тебе: ходи в церковь!

— Причем тут церковь?

— Притом, что батюшки все связывают, все соединяют.

— Что связывают?

— А все! Все разрознено, разорвано, разбито… мы все разваливаем, а батюшки — соединяют, склеивают.

Он только отмахнулся:

— Городишь незнамо что!

— Когда б не пьянка, не потерял бы семью.

— А это причем?

— Притом, что женить тебя надо, а то русалки, русалки…

## Кино

Отцу Петру выпало нежданное поприще — консультировать съемки фильма. «На канонической территории твоего прихода будет сниматься фильм, — сказал архиерей, — тематика сельская, в сценарии есть восстановление храма, так что надо соблюсти соответствие». При этом вручил еще и официальную бумагу, из которой следовало, что отец Петр должен провести на съемках десять дней «в свободное от богослужений время».

Отец Петр и свой храм ремонтирует — целыми днями на лесах, на крыше, да и детишек — четверо: два отрока, два младенца, а тут — кино еще…

И вот приехали: толпа людей, автобусы, грузовики, автокран, легковушки. И знаменитая актриса. Расположились километрах в десяти от отца Петра на высоком берегу реки и попросили отслужить молебен. Служит он «перед началом доброго дела» и видит, что никто не осеняет себя крестным знамением, а знаменитая актриса вообще покуривает в сторонке…

— Вы что же, — говорит, — драгоценные братья и сестры, сплошь — нехристи?

Двое или трое послушались, перекрестились. После молебна всякий интерес к священнику утратился: разбили тарелку — обычай такой, поднялся гвалт, и отец Петр незаметно уехал.

Недели через две пригласили осмотреть бутафорский храм, сделанный из гипсокартона.

Церковь была совершенно как настоящая, разве что увенчали ее крестами — задом наперед.

— Какая разница? — недоумевал художник картины.

— Крест, где бы ни находился, всегда смотрит как будто с востока, а нижняя перекладинка должна быть поднята на север, — пояснил батюшка.

— Иконостас шестнадцатого века, — хвалился художник, — скопирован абсолютно точно, — и в подтверждение раскрыл толстый альбом с цветными иллюстрациями.

Иконостас был оклеен бумажными иконами прекрасной печати, но боковые двери забыли, и отец Петр указал их в той же толстенной книге.

— А этих, посредине, что ~ недостаточно? — спросил киношник, заметно раздражаясь.

Батюшка объяснил, что через Царские врата так просто не ходят, что они имеют сущность богослужебную. Но вешать боковые двери все равно не стали: изобразили их краской и привинтили декоративные ручки. А вот кресты повернули правильной стороной.

Через неделю снимали сцену со священнослужителями. Отец Петр заставил переодеть подризники пуговичками вперед. Барышня-костюмер возразила: Нам же удобнее застегивать сзади».

— Алтарь — единственное место, где вас, к счастью, нет, а нам удобнее застегивать пуговицы спереди, а не сзади, — объяснил батюшка. Это «вас», надо предполагать, относилось в данном случае не только к барышням-костюмерам, а имело значение всеобъемлющее.

Тут подошли его прихожанки, сподобившиеся связать свою жизнь с кинематографом: одни участвовали в массовках, другие грели чай и готовили бутерброды. Женщины, отработавшие по тридцать-сорок лет в леспромхозе, говорили, что за всю жизнь не слышали столько матерных слов, сколько за эту неделю. Отца Петра и самого коробило от разговоров киношников, но, похоже, другого языка они не знали. И знаменитая актриса тоже. Ее не смущало даже присутствие детей на площадке.

Позвонил архиерей:

— Жалуются на тебя. Просили, говорят, погоду наладить, а то дожди не дают им снимать, а ты что сказал?

— Не помню, Владыка.

— А ты сказал, что за их матерщину не то что дождь — снег пойдет, было такое?

— Может, и было, и впрямь не помню, но из-за сквернословия действительно сокрушался.

— Ну, так вот: вчера, на Успение Пресвятой Богородицы, у них снег пошел.

— Вы шутите?

— Какая шутка? Серьезно!

— Но у меня ничего такого не было, — удивился батюшка.

— Так ты вчера, наверное, службу служил?

— Конечно, Успение ведь!

— Вот и я про то. А они, брат, культуру двигали. В массы. Но ты уж постарайся больше так не пророчествовать: пусть поскорее отснимут да и отправляются восвояси.

— Господи, помилуй, — опечалился отец Петр, — в августе снегопад — горемыки, несчастные люди…

«Шестой раз», «седьмой», «восьмой», — считал он посещения съемочной площадки. На десятый раз приехал, а толпы нет. Зашел в киношный храм, еще раз полюбовался бумажным иконостасом, погоревал из-за мусора, оставшегося после съемок, и вдруг увидел на подоконнике книжицу. Это было Евангелие, послужившее в каком-то эпизоде и брошенное потом за ненадобностью.

«Забыли, — вздохнул отец Петр, — до чего же несчастные, дикие люди!»

Вернувшись домой, он записал имена новых знакомцев для сугубой молитвы.

А фильм этот вышел в свой час на экраны и был отмечен наградами.

## Усадьба

Старый приятель попросил освятить две дачи свою и еще чью-то: не то знакомого, не то родственника — не вспомню. Ну да это совершенно не важно — важно, что находились они километрах в двадцати одна от другой, и, переезжая с места на место, мы привернули в Захарово — имение Марии Алексеевны Ганнибал. Близилось двухсотлетие Пушкина, и знакомец мой решил посмотреть, восстанавливается ли усадьба: он был писателем с журналистским прошлым и потому очень многим интересовался.

Среди заваленной снегом поляны высился железобетонный помост — цокольный этаж, по всей видимости. На помосте находилась небольшая группа людей, которые что-то обсуждали, но очень уж невесело, вяло. Приятель мой вылез из машины и пошел к ним, а я остался: журналистского прошлого у меня не было, а священническое настоящее никак не располагало к праздному любопытству. Помнится, один старый архиерей поучал: «Не бегай за проблемами, не гоняйся: если это твоя проблема, она сама придет к тебе на порог».

Приятель перезнакомился со всеми — а это были архитекторы, выяснил, что у них возникли непреодолимые затруднения, и спрашивает:

— Вы священника не приглашали?

— Где же, — отвечают, — его найти?

А тогда, следует принять во внимание, приходов было совсем немного, и батюшки оставались большой редкостью. Тут приятель мой вернулся к машине и говорит:

— Надо бы еще освятить закладку дома.

Вот она и пришла, даже и не проблема вовсе, а задача: малая, простая, служебная — теперь решать будем. Вылезаю я из машины: в епитрахили, поручах, с требным чемоданчиком — архитекторы обомлели. Симпатичные люди такие — мужчины с бородками, дамы в шубах. Взобрался я на бетонный цоколь, поздоровался.

— Вы что, — говорят, — специально ради нас сюда и заехали?

— Да кто ж его знает, — говорю.

Смотрю, сложен первый венец — как раз то, что надо для освящения.

— Где восточная сторона? — спрашиваю.

Они указали: а там против середины бруса лежит топор. Тут настал мой черед удивляться — при освящении надо трижды ударить топором по восточному бревну:

— У вас все уже приготовлено…

Они совсем растерялись: позвали рабочих, начали выяснять, с чего вдруг топор обнаружился на этаком специальном месте, но бригадир отвечал:

— Да кто ж его знает? Где работал, там и бросил, где бросил, там и лежит.

Приятель тоже был изумлен происходящим. Когда уезжали, он сказал архитекторам:

— Любит вас Господь.

— Пушкина любит, — смиренно возражали они и, обращаясь ко мне: — А вы как думаете?

А я думал, что Господь любит и Пушкина, и архитекторов, и всех нас.

С того дня непреодолимые сложности эту стройку уже не посещали, и дом Марии Алексеевны Ганнибал, в котором прошло детство гения, был восстановлен к назначенным временам.

## Дебаркадер

Перегоняли дебаркадер — из одной протоки в другую. На нем много лет размещалась рыболовно-охотничья база, но рыбы в ближайшей округе совсем не стало и пришлось перебираться на другой банк: банками здесь называют самые большие протоки, выходящие непосредственно в Каспий.

На время события прием гостей был приостановлен -дебаркадер оставался без электричества, а значит — совсем без комфорта, однако меня это обстоятельство не смутило, и я напросился в плавание. Предполагалось, что оно будет кратким, и ночевать придется уже на новом месте. Начальником моим был назначен механик, оставшийся для присмотра за сооружением.

Подошел буксир, зацепил тросом, потом от старых деревьев отвязали канаты, удерживавшие дебаркадер у клочка земли, и началось путешествие. Был конец лета, день тихий и солнечный. Мы с механиком сидели в пластмассовых креслах на палубе, нас обдувал ветерок, и ни мошка, ни комары не мешали.

Пролетела банда — десятиметровая стальная лодья с двумя подвесными моторами по двести сил каждый. Вся в воздухе, только корма воды касается, носовые обводы узкие, как стилет.

— Бракаши, — сказал механик, — в море пошли проверять сети.

Да я и сам знал, что эти гоночные морские лодки — транспорт исключительно браконьерский: пустое металлическое корыто, разве что стлани на дне.

Обсудили с механиком, как изменился беззаконный промысел за полвека. Тогда осетровых добывали выше Астрахани — в речных протоках: брали только икру — от рыбы сразу же избавлялись. Бывало, на рассвете забросишь удочки, а мимо проплывают осетры с распоротыми животами. Браконьерами в те времена правили хронические уголовники.

Теперь все иначе: рыбу добывают в море на большой глубине, и через преграду из морских сетей пробиваются разве что единицы. Икры нет, поскольку вылавливается уже молодняк — недоросли. А командуют этим занятием государственные мужи с достославными биографиями. Случается иногда, что байды вместе с рулевыми пропадают бесследно, но недоразумения такого рода происходят, конечно же, исключительно из-за стихии, а вовсе не оттого, что чиновники не поделили акваторию Каспия.

Только закончили горестную беседу, как дебаркадер влетел на мель — мы даже с кресел попадали. Буксир дернул раз, другой — не сползаем. Что-то кричали механику, что-то кричал он сам, между тем течение стало разворачивать плавучую нашу гостиницу и развернуло так, что корма уперлась в противоположный берег — протока была перекрыта.

— Расклинило… или заклинило… не знаю даже, как правильнее сказать, — оценил ситуацию механик.

Высвободили трос, буксир причалил к нам бортом и попытался вернуть дебаркадер в прежнее положение. Течение не позволило. Решили, что толкать надобно другим бортом, перешвартовались — и вновь без всякого результата. Потом надумали размывать берег потоком воды от работающего винта. Как будто заладилось. Но стало темнеть, а заниматься в потемках столь кропотливым делом было опасно, и потому, заглушив двигатель, собрались в крохотном кубрике буксира: мы с механиком и капитан с матросом. Вскипятили чай, и капитан спрашивает меня:

— Знаете на Волге городок Плес?

— Разумеется, — говорю, — и даже бывал там.

— Место, где мы засели, на старых лоциях тоже именуется Плес, в честь того городка, стало быть.

Я заметил, что между красотой знаменитого Плеса и однообразием окружавшего нас тростника, мало общего.

И капитан рассказал, что до строительства плотин Волга была далеко не столь полноводной, а самым трудным для судоходства участком испокон века считался Плес: фарватер уж очень

извилистый. Бурлакам приходилось пускаться вплавь со своими веревками: то вдоль одного берега барку тащат, то вдоль другого. В засушливое лето река мелела, и для того, чтобы благополучно провести барки, их приходилось разгружать до необходимого уровня. Тогда в городок стали съезжаться скупщики, приобретавшие сброшенные товары по низкой цене. Так возникло местное купеческое сословие.

С появлением пароходов преодолевать этот участок легче не стало: баржи проводились не караванами, а по одной, остальные стояли в долгой очереди.

И вот старинные речники из тех, что знали Волгу до самого верха, с некоторой, наверное, иронией прозвали это местечко, Плесом: фарватер здесь тоже гулял от берега к берегу, отмели то появлялись, то исчезали и разные суденышки успели претерпеть множество бедствий. С купечеством, правда, вышла совершенная незадача — селиться негде: тростники и вода. Да и живописцы что-то не вдохновились.

В середине двадцатого века стали углублять дно земснарядами, проделывая рыбоходные каналы до каспийских глубин.

— Рыбы тогда было — шквал! — сказал капитан.

Я хорошо помнил стандартный сюжет киножурналов «Новости дня», которые шли перед каждым сеансом в каждом кинотеатре страны: рыбаки вытягивают невод с сотнями осетров и обязательно — белугу невообразимых размеров.

В те времена фарватер выпрямили, и прибывшее с верхов название бесследно пропало. Но потом, когда всякая полезная деятельность в стране прекратилась, подводные углубления затянулись илом, песком, и Плес явился из небытия.

Чай мы пили в гостях, а ночевать отправились на родной дебаркадер. В каютах, обращенных вверх по течению, зажгли несколько свечей, чтобы окна светились, снизу стоял буксир со всеми, положенными настоящему судну, огнями. И, значит, не заметить нас было нельзя. Конечно, байды иногда управляются электронными навигаторами и летают в кромешной тьме, словно днем, а если на пути попадется какая-нибудь моторка — разрубят и не остановятся, но буксир — не моторка, а уж дебаркадер — тем более.

Однако ночью нас никто не побеспокоил. На рассвете опять взялись размывать берег и к полудню размыли: течение повернуло дебаркадер, после чего буксир снял его с мели. Но теперь то, что было кормой, стало носом, а бывший нос превратился в корму. Пришлось перетащить кресла.

Дальнейшее плавание протекало благополучно. Правда, на одном повороте зацепили тросом упавшее дерево, но не стали останавливаться, чтобы избавиться от него, а так и поволокли: временами трос провисал, и дерево ветвями скреблось по речному дну. Сколько ж всяких сетей привезли мы к месту стоянки! Правда, рыбы в сетях не было — только дохлые бакланы, запутавшиеся при нырянии. Зацепили и несколько мощных шнуров с огромными железными крючьями — простейшая браконьерская снасть: укладывается поперек реки, и осетры, ползающие по дну в поисках пропитания, напарываются на крючья. В старые времена называлась перетягаю, а теперь, для конспирации, просто снасть.

Ткнули нас к малому клочочку земли, привязали канатами за деревья, установили на берегу генератор, включили ток — и дебаркадер стал оживать. Потом егеря понавезли столичных рыболовов-любителей, мы начали спешно осваивать незнакомые уголья, но как-то впустую…

— И на этом банке рыбы не стало, — вздохнул механик, — надо было раньше переезжать, года три-четыре назад — тогда здесь неплохо ловилась. — Помолчал и снова вздохнул: — Дебаркадер наш был когда-то брандвахтой икорно-балычного комбината — что-то вроде общежития при плавучем заводе. Комбината этого давно нет, потому что делать ему совсем нечего… Детям, пожалуй, еще чего-то перепадет … ну, внукам маленько достанется, а вот правнуки, наверное, рыбы уже не увидят.

## Премия

От Сретенских ворот до Хорошевского шоссе путь неблизкий — шагай да шагай через ночь. На Рождественском бульваре Сашку догоняет поливалка: он прижимается к стене дома, чтобы не окатило водой, но машина сбавляет ход, а потом и вовсе останавливается. Дотянувшись до правой двери, водитель открывает ее и, почти лежа на сиденье, спрашивает:

— Далеко?

— Далеко, — машет рукою Сашка.

— Залезай, до Пушкинской могу довести, — и, когда Сашка садится, объясняет: — Мне там разворачиваться в обратную сторону.

Машина трогается, вода бьет по асфальту и, ударяясь в бордюр, взмывает кверху. На бульварах ни машин, ни пешеходов — ночь…

— Провожал? — спрашивает водитель — человек немолодой и, похоже, приветливый.

— Провожал.

— Поцеловать-то позволила?

— Позволила, — улыбается Сашка.

— Дело хорошее, — признает водитель. — Ну а так… еще чего-нибудь перепало?

— Да нет вроде бы…

— Совсем ничего?.. Ну, хоть по мелочи — приобнять там… и все такое…

— По мелочи перепало… чуть-чуть.

— Уже неплохо, — оценивает водитель и вздыхает.

На Пушкинской они расстаются. Но Сашка недолго бредет пешком: его подбирает продуктовый автофургон. За лобовым стеклом портрет Гагарина, недавно слетавшего в космос.

— Ты ходил встречать Гагарина? — спрашивает водитель.

— Ходил, — отвечает Сашка.

— Здорово было!

— Здорово! — соглашается Сашка.

Доезжают до Белорусского. Дальше — по шпалам в сторону «Беговой».

Несколько окон депо освещены, над ними вывеска «Столовая». Сашка вспоминает, что голоден и что у него сохранился рубль монеткой. Вечером он водил Аленку в кафе, заказал два бокала шампанского, два мороженых и два кофе — на все, как и предполагалось, ушло три рубля, а четвертый — резервный — остался. Он жалеет, что вспомнил про денежку поздно, ведь за рубль можно было доехать от Белорусского на такси, а теперь — далеко ушел, не возвращаться же.

В столовой почти никого нет: лишь у окна сидят двое в форме железнодорожников: старый и молодой. Сашка подходит к кассе и протягивает монету:

— Чего-нибудь…

Ему дают тарелку пельменей, компот и сорок копеек сдачи:

— Первого пока нет: щи кончились, борщ еще не сварился. Если не хватит — подойдешь, я тебе на сорок копеек пельменей добавлю.

Сашка ест и все пытается сообразить: хватит ему или не хватит, но мысли разлетаются и никак не удается сосредоточиться.

— Семеныч, — обращается кассирша к старшему, — гляди, как у парнишки глаза горят.

— Молодой, — отвечает железнодорожник, — вот и горят.

— Помощник твой тоже молодой, а не горят.

— Когда премию получаем и у него горят.

— А у этого не от премии — я разбираюсь. Ты со свидания что ли? — обращается она к Сашке.

Сашка молча кивает и поднимается — боится, что сейчас начнут спрашивать про поцелуи и все прочее.

— А это и есть самая лучшая премия, — смеется старший, — тебе, парень, куда?

— На Хорошевку.

— Можем добросить до «Беговой», но отправление, — посмотрел на часы, — минут через тридцать.

— Спасибо, я за это время дойду.

На Хорошевском шоссе ни машин, ни пешеходов — ночь… Пролетел с воем тяжелый панелевоз первого автокомбината — откуда-то издалека домой возвращается, и снова тишина.

Сашка осторожненько отпирает дверь, бесшумно входит, и тут же у матери в комнате зажигается свет — она не спит. И начинается: «шляешься по ночам», «наверное, выпил», «еда в холодильнике».

— Я премию получил, — говорит Сашка.

— Какую еще премию? Где ты мог ее получить?

— У Сретенских ворот, мам, у Сретенских, — он падает на кровать и мгновенно засыпает

крепким сном счастливого человека.

## Боковое зрение

Отец Александр, благочинный, служил на Георгия Победоносца за пятьдесят километров от города — там, у старенького отца Сергия был храмовый праздник, попросту говоря — престол. С утра, как положено, отслужили водосвятный молебен, а по окончании Литургии прошли крестным ходом вокруг собора.

Назавтра отцу Александру предстояло здесь же хоронить останки воинов, найденные поисковыми группами, и он решил заночевать в селе. Избушка отца Сергия для этого не годилась — всей мебели: стул, стол, кровать… можно еще причесть аналой в красном углу — и ничего более. А вот у его соседа Борьки дом был просторный и к приему гостей располагающий. Туда после службы и пошли.

Борька, происходивший из этого самого дома, успел немало помотаться по весям и городам, где-то завел семью, где-то — свое дело, но со временем эти полезные обретения он растерял и вернулся, чтобы теперь всякому гостю показывать кольцо, привинченное к потолку и многозначительно изрекать: «Здесь я в зыбке качался». Со школьных времен у него была тяга к электрическим и электронным приборам, и во время своих скитаний Борька даже успел получить некоторое по этой части образование, так что легко ремонтировал односельчанам домашнюю технику, с чего и существовал.

Праздничный обед складывался по-холостяцки: напиток вопросов не вызывал, на закуску — селедка и соленые рыжики, горячее — отварная картошка, а первого блюда и вовсе не было. После обеда прилегли отдохнуть. Ближе к вечеру пошли прогуляться. Борька жил на самом краю села, и братское кладбище находилось неподалеку от его дома. Прикинули, с какой стороны надобно будет копать, и отец Сергий сказал, что экскаватора, то есть колесного трактора с ковшом, в селе ни у кого не сохранилось и что военкому об этом сообщено.

— Знаю, — вздохнул отец Александр, — ему еще почетный караул где-то добывать — у нас в районе теперь — ни одной воинской части, ни одного солдата…

— В крайнем случае, я могу из ружья стрельнуть, — сказал Борька, — троекратный салют, как положено.

Отец Сергий отмахнулся:

— Балабол…

— А что? Если армии не стало, хоть из ружья: оно у меня двенадцатого калибра — громко стреляет…

— Страсть как громко, — подтвердил отец Сергий, — ты мне вечерами и помолиться не даешь.

— Так-то ж сезон был, я на уток охотился.

— Какие утки? Тьма кромешная, а ты бабахаешь!

— Самое время! — Тут Борька взялся пространно и со всякими отвлеченностями описывать тактику вечерней охоты на водоплавающую дичь. Батюшки шествовали молча. Но если отец Сергий внимал рассказчику, то отец Александр, погруженный в невеселые размышления, не слушал и даже чуть поотстал. Он еще утром насторожился, заметив, что народу в храме было

меньше, чем в прошлом и позапрошлом году. Благочинный знал, что дело не в батюшке, которого прихожане любили, кажется, все крепче и крепче, а в том, что люди исчезали куда-то — умирали, уезжали, наверное, и численность жителей сокращалась.

Он думал о том, что отец Сергий совсем состарился и скоро ему понадобится замена, а кого направлять в это сельцо — непонятно. Молодого священника с матушкой и детишками сюда не пришлешь — прихожане точно не прокормят… Это отец Сергий прижился — четверть века бессменно: и храм разрушенный поднял, и матушку здесь похоронил. Дочка у него далеко где-то, не появляется, а он живет один-одинешенек — ничего не требует. Отец Александр предлагал ему взять благословение у архиерея, да и принять постриг, а он говорит, что место монаха в монастыре: «В монастырь меня уже не возьмут, на кой я такой старый им нужен — одна обуза. А здесь у меня жизнь мужицкая: изба, огород, дрова, стирка… Стиральной машины нет — приходится кипятить, а потом полоскать на озере… Устану, правило монашеское отложу — вот и грех. А у меня их и так без счету». Не кем было заменить отца Сергия…

— Главное здесь — боковое зрение, — продолжал Борька, — оно видит в потемках и замечает всякое движение по сторонам. А это важно и для охоты, и чтобы от опасности уберечься: мало ли — вдруг сбоку медведь крадется! Бот, смотрите…

Он привел батюшек на берег озера и расставил метрах в десяти друг от друга у самой воды:

— Позицию занимаем лицом к закату — так видимость сохраняется на час дольше. За спиной, глядите, темень тьмучая, а впереди — светло. В небо смотреть не надо — там бесконечность, и глаз не знает, на что настраиваться. Смотреть надо на воду перед собой: она такая же светлая, как небо, но на плоскости глаз легче сфокусировать. Глаза не напрягайте, смотрите расслабленно, словно в никуда. Боковое зрение засечет, если хоть какая-то точка будет перемещаться. Как только обнаружите на воде отражение летящей утки, поднимаете глаза и ружье, понятно?

— Шалопай ты, Борька, — вздохнул отец Сергий, виновато глянув на благочинного, — ну зачем ты нас сюда притащил?

Отец Александр успокаивающе махнул рукой:

— Ничего, постоим, закат красивый…

Но постоять Борька не дал: он приволок со двора большую охапку сена и сделал батюшкам два мягких кресла:

— Не так устанете и для маскировки хорошо. Теперь сидите тихо и смотрите.

Они сидели тихо и смотрели.

— У меня утки! — воскликнул отец Сергий, указывая на воду.

Борька подбежал к нему:

— Где?

— Да вот же, смотри, сколько их!

— Ну, батюшка, вы даете! Это водомерки, водяные паучки такие… Да-а… Обычное зрение у вас никуда не годится, а вот боковое — выручило: даже мелких насекомых в движении заметили.

И снова наступила тишина. Утки не летали.

— Подождать надо, — сказал Борька, — чуть-чуть стемнеет, и начнется…

Но как только чуть-чуть стемнело, невесть откуда возникла Марья Васильевна — глава местной администрации. Поздоровались. Она, оказывается, тоже проведывала братское кладбище и даже прибралась там немножко — какой-то мусор нашла:

— Областное телевидение приедет — неудобно. А что вы тут сидите?

— Мы охотимся, — объяснил Борька.

— Да ну тебя — у вас и ружей пет… Скажите-ка лучше, за кого голосовать будете?

Они смотрели на воду и не отвечали.

— А я решила уже… Между прочим, я всегда угадываю: все, за кого я голосовала, обязательно выигрывали.

— Так вот кому народ обязан своим процветанием! — воскликнул Борька: — Скажу мужикам…

— А что такого?

— Когда мы с тобой школу заканчивали, сколько жителей у нас было?

— Человек шестьсот.

— А теперь?

— Теперь — четыреста.

— А ты еще спрашиваешь, что такого… Вот завтра захороним тридцать пять бойцов, и на этом братском кладбище народу станет больше, чем в нашем селе.

Но хоронить им завтра никого не пришлось: останки воинов перевезли куда-то далеко, где удалось найти взвод солдат для почетного караула и экскаватор. Или трактор с ковшом.

## Заказник

Архиерей вызвал меня и отправил в командировку:

— Там художники — муж и жена, весьма преклонных годов — пожалуй, к восьмидесяти. Они передали нам несколько храмовых икон и вообще — много чего делают для Церкви. Попросились на этюды. У соборного старосты есть дом в деревне — отвезли их туда.

— А я, — говорю, — Владыко, каким боком — к живописи?..

— К живописи — никаким. Но у них есть охотничья собака и ружье. А к этому делу вы в недавнем прошлом — всеми боками… Завтра открывается охота. Посмотрите там, чтобы они не заплутали, не перестреляли друг дружку, чтобы их волк или медведь не съел, в общем — чтобы не было никаких недоразумений.

Еще рассказал, что художники эти — реалисты, то есть пишут мир таким, каким его создал Господь Бог, ничего не уродуют, в отличие от всяких абстракционистов, авангардистов и

модернистов.

Дал машину. Спрашиваю водителя, куда мы едем. Он говорит, что сначала по трассе, потом направо, там налево по грейдеру, дальше совсем узкий проселок, а всего километров шестьдесят. Но куда именно мы едем, я так и не понял.

Добрались. Деревня — три избы. Избы страшные: в землю вросшие, покосившиеся, крытые не то линолеумом, не то клеенками. Возле одной живописцы: этюдники в разные стороны — люди работают.

— Щедрый у нас человек соборный староста, — говорю, — этакой роскошью гостей облагодетельствовал.

— А им нравится, — пожал плечами водитель, который уже бывал здесь.

Отставив занятие, они бросились к нам с восторженными восклицаниями: похоже, им действительно нравилось. Тут же откуда-то из-за деревни налетел шальной фокстерьер, облизал всех и снова улетел за деревню. «И на кого же, — думаю, — они собрались охотиться с норной собакой?» Для такой охоты был совсем не сезон. Сейчас могла бы пригодиться легавая… Оставалось надеяться, что пес хоть как-то знаком с жизнью сеттеров, пойнтеров или курцхааров. А может — спаниелей…

Разгрузили продукты, и машина уехала. Живописцы вернулись к этюдникам, а я пошел размещаться в отдельной избе — похоже, вся деревня принадлежала соборному старосте. Староста этот был из эмвэдэшников, за годы работы в храме воцерковился, но весьма странно… Случалось, разговор коснется каких-то людей, которые по его правоприменительному разумению вредны для Отечества, будь то политики, чиновники или рок-музыканты, он и рубит сплеча: «Повесить надо!» Если его одернут, вздохнет: «А что?.. Но, конечно, по-нашему, по-христиански — с любовью».

Отворил я дверь — внутри темно и сыро: темно оттого, что древние стеклышки с годами совсем помутнели, а сыро — от безжизненности. По счастью, печка, как мне и обещали, сохранялась в исправном состоянии, и к вечеру избу удалось просушить.

Следующий день начался спокойно: супруги работали, я ходил по грибы. Но после полудня в деревню заглянули двое мужчин: они шли из леса и тоже — с грибами. Познакомились, разговорились: мужчины приехали издалека-из Тюменской области, — чтобы проведать свою сестру. Сестра не так давно вышла замуж за солдатика, который происходил отсюда, перебралась к нему, родила сына, а он, празднуя это событие, пьянехонький утонул. Вот они и приехали посмотреть на ее существование, а при необходимости увезти обратно.

Оказалось, что в трех километрах от нас есть небольшое село, и стоит оно на берегу озера, а в том озере уток — тьма!

— Отчего же их не стреляют? — спрашиваю, Ведь сегодня открылась охота.

— И сами не понимаем, — отвечали тюменские братья. — Оттого, наверное, что в селе мужиков не осталось.

А еще они приглашали воспользоваться дюралевой лодкой:

— Она заметная — оранжевая такая. С веслами и не замкнута: катайтесь, сколько хотите.

Вечером провели учебные стрельбы. Правда, сначала старик долго не мог собрать двустволку забыл, как присоединяется цевье. Ну, с этим вопросом управились. Потом я подбрасывал вверх ржавую сковороду, он стрелял — не попадал, а пес ошалело носился вокруг деревни. Тут вдруг дама потребовала ружье. Мы отговаривали, предупреждали о сильной отдаче, но бесполезно:

— Я ведь раньше стреляла, ты помнишь?

— Голубушка, так ведь когда это было?

— Что ты хочешь этим сказать?

Воткнули в землю кол, к нему приставили все ту же сковороду. Ружье было явно тяжеловато для голубушки, и, прицеливаясь, она отклонилась назад. Только я хотел попросить ее стать правильно, как раздался выстрел, и старушка опрокинулась навзничь. Бросились ее поднимать, а она отмахивается ручонками и бранится:

— Почему не предупредили, что так сильно ударит в плечо?

— Да мы говорили, голубушка…

— Но что именно так сильно — не говорили.

— Непослушная, — ласково сказал старик.

— Зато попала! — радостно воскликнула она, поднимаясь и отряхиваясь.

Действительно так: расстояние было небольшое, и сковороду разнесло в клочья. Заодно и кол перебило.

Рано утром, одевшись по-походному, я вышел на крыльцо. Вскоре показались и живописцы. Супруг был в светлом костюме, перепоясанном патронташем, в соломенной шляпе, из которой торчало помятое перо ястреба-перепелятника. Вчера вечером я уже видел это перо — его откуда-то притащил фокстерьер. Дама была в длинном розовом платье, тоже — в соломенной шляпке и с белым зонтиком, который в сложенном виде являл собою элегантную трость.

— Мы, знаете ли, решили дачные костюмы надеть, — объяснил старик, — в рабочей одежде неприлично.

Нашему брату времени для изумления не дается нисколько. Мы так часто сталкиваемся с чем-то из ряда вон выходящим, что, если каждый раз изумляться, будешь все время ходить с разинутым ртом. А еще ведь и служить надобно — произносить возгласы, проповеди…

Мой наряд явно не соответствовал столь диковинным для охоты облачениям: пришлось вернуться и надеть подрясник. Болотные сапоги я снимать не стал.

Шествовали мы, не спеша, чинной поступью, а вот фокстерьер то уносился вперед по дороге, то приносился обратно: городской пес просто обезумел от деревенской свободы. Когда подходили к селу, лама взяла его на поводок, чтобы не нанести ущерба местным курам. Тут как раз стало припекать солнышко, она раскрыла над головой зонт, и в таком виде мы вышли на берег озера. Вправо и влево разбегались вдоль берега избы, а прямо перед нами у деревянного пирса стоял военной внешности серый кораблик с надписью: «Охрана природы». Рядом с ним покачивалась на воде оранжевая лодчонка.

Когда мы грузились, на палубу кораблика вышел из рубки человек в форме лесничего.

— Доброго здоровьица! — старик приподнял шляпу.

— И вам… здравствовать, — рассматривая нас, человек отвечал медленно, словно в растерянности.

Пустились мы по волнам: художник в белом костюме, художница под белым зонтиком, я в подряснике и белый пес. Уток на озере было действительно много. Старуха кричала: «Стреляй туда!», старик бил, мазал, пес прыгал в воду, куда-то плавал, ничего не приносил. Наскочили на отмель. Подвязав полы длинной своей одежки, я выбрался из лодки и, долго толкал ее. Потом влез обратно. Обогнули маленький остров, и тут я увилел на специальном столбушке железный щит с надписью: «Воспроизводственный участок. Охота запрещена». Получалось, что этот мелководный залив с камышом и прочей травянистой растительностью был местом утиных гнездовий, и никто здесь не охотился, а мы бултыхались на виду у всего села и почем зря бабахали в небо.

Художники так увлеклись пальбой, что ничего не заметили. Тут, к счастью, погода переменилась: поднялся ветер, начал накрапывать дождь, и мы заспешили к берегу. Я понял, что человек на кораблике — охраняет этот участок и что он был совершенно потрясен невиданными нарядами и от растерянности не смог даже остановить пас. А жители села, ошарашенные престранной картиной, смотрели в окна и, кажется, не решались выходить на порог.

Но теперь-то мы нарушители закона, и старик — самый главный, поскольку именно он стрелял… Хорошо еще, что ничего не добыли. Охранник природы наверняка уже вызвал милицию, и у кораблика нас могла ожидать невеселая встреча… Вот уж порадуем архиерея! И нечего винить тюменских братьев: они, думается, были вполне искренни — сами только приехали и про здешние края мало что знали: «уток-тьма». Между тем, дело неожиданно принимало арестантский оборот — оставалось только молиться…

У кораблика нас никто не встретил.

Дождь продолжался, и когда мы пришли в деревню, белые брюки художника до колен были вымазаны в грязи. А вот супруга его, у которой в одной руке был зонт, в другой — подол, сумела сохранить длинное платье сухим и чистым.

Ночью дождь превратился в ливень, и шофер, примчавшийся рано утром, заставил нас быстро собраться: мы успели доехать до грейдера, пока проселок не развезло.

Гости были премного довольны. Архиерей поблагодарил меня и сказал:

— Я был совершенно уверен, что под вашим водительством все у них будет в высшей степени благодатно и без каких-либо недоразумений.

С архиереями кто ж спорит? Я не стал его разубеждать.

## Дорожные святцы

На обратном пути привернули в Лавру, и нас встретили так тепло, что пришлось ночевать. Грузовик мы загнали во двор. Сходили к Преподобному, показали водителю храмы, богослужение, и он, почти не выбиравшийся из лесной глуши, был потрясен до такой степени, что совсем перестал разговаривать.

Уезжали рано, поскольку дорога предстояла долгая, и уезжали с попутчиком: нам подсадили старика, который кем-то кому-то приходился, жил при каком-то южном монастыре, а теперь пустился в паломничество, желая лицезреть земли Северной Фиваиды.

— Но мы без остановок, без экскурсий, заезжать никуда не будем — к вечеру надо домой попасть.

— А ему и так хорошо, ему везде свято место.

— Куда, — спрашиваю, — старика потом девать-то?

— Не волнуйтесь: мы договоримся, кто-нибудь его у вас перехватит.

«Ну, в крайнем случае, — думаю, — возьму к себе на приход — будет мне какой-никакой помощник».

Залезает он в кабину, а на ногах, смотрю, валеночки…

— Да как же, — интересуюсь, — он летом в валенках ходит — стопчутся ведь?

— А старчик, — говорят, — почти и не ходит — ноги у него сильно болят.

Ладно. Захлопнул дверь.

— Как, — спрашиваю, — зовут?

Он только улыбается. Стало быть, еще и не слышит. Кричу:

— Как вас зовут?

— Отец Симеон… Да, отец Симеон… Семен, короче.

— Так вы монах?

— Монах, монах… Пострижен давно… еще тайно, тогда нельзя было, я ведь инженером работал, это я теперь вот в подряснике…

Тут водитель впервые со вчерашнего вечера заговорил. Он сказал, что машина легкая и словно летит, а вот когда в Москву ехали с грузом досок, она была тяжелая и не летела… Доски эти, предназначенные для чьей-то дачи, выручили меня: я воспользовался оказией, чтобы захватить из Москвы книги и кое-какие вещи — все это тряслось теперь в кузове. А главное — лаврская братия снабдила меня алюминиевыми нательными крестиками: крестить приходилось до ста человек ежемесячно.

Отец Симеон тем временем начал что-то тихонечко напевать. Мы — свое, а он поет все громче, громче, и слышу я — это молебен преподобному Сергию Радонежскому. Присоединился, отслужили молебен. Без Евангелия, правда, потому что хоть и могли по памяти преподобническое прочитать, но в кабине не встанешь, а сидя, известное дело, неблагоговейно, а потому и непозволительно…

А старик дальше: тропари Никону, Михею и прочим Радонежским святым. Пел он так почти до Переславля Залесского. Ненадолго притих, а в Переславле возобновился с другими угодниками Божиими. І Іропели еще молебен святому благоверному князю Александру Невскому, который был крещен в этом славном селении. Дальше указатель: «До Ростова столько-то километров».

Стали поминать Ростовских святых: «Святителю отче Димитрие, моли Бога о нас», «Святителю отче Арсение, моли Бога о нас»… Многих вспомнили. Поворот на Борисоглебское. Тут, понятное дело, помолились князьям-страстотерпцам и, конечно, преподобному Иринарху.

Засим — Ярославль с Ярославом Мудрым. Причем, в эту пору почитание знаменитого князя еще не было восстановлено, однако отец Симеон сообщил, что Ярослав Мудрый в синодальный период по какой-то несправедливости из месяцеслова выпал, но остался в Киевском патерике и в службе Торжества Православия, а потому непременно вернется в святцы. Через несколько лет именно так все и свершилось.

Вспомнили еще нескольких Ярославских святых, а потом пошло-поехало: то знак «река Обнора» — и все Обнорские, то «река Нурома» — и Нуромские, а заодно Комельские, Спасо-Каменские, Сянжемские… На всякий дорожный указатель у отца Симеона тропари, кондаки, величания, молитвы, а иной раз и молебны. Вологду прошли в песнопениях непрестанных и полногласных и завершили славлением преподобного Димитрия Прилуцкого.

Потом был небольшой перерыв. Водитель прошептал: «Ну, вы даете», — и более не вымолвил ни слова. Недолго мы ехали в тишине: у поворота на Тотьму начали вспоминать Тотемских святых и вспоминали, пока город не остался далеко позади. У села Маркуша спели преподобному Агапиту и, наконец, затихли. Я сказал, что следующим будет Христа ради юродивый Прокопий Устьянский, но до реки Устьи мы сегодня не доберемся.

А отец Симеон хотел помолиться еще Белозерским, Кирилловским, Череповецким — целому сонму святых: «Потому что у нас, куда ни стань, везде свято место — земля такая».

Завернули в районный центр, и пока я ходил в магазин за продуктами, старый монах успел в валеночках своих дойти до почты и позвонить монастырским братиям, «чтобы обозначиться». Ночевали у меня в деревне.

Недолго, однако, радовался я своему диковинному постояльцу: утром примчался батюшка из соседней епархии, забрал отца Симеона, и отправились они далее по святой земле страдающего Отечества.

А водитель грузовика, встречая меня, всякий раз таинственно повторял:

— Все-таки мы тогда как-то странно ехали — машина летела, словно даже не касалась асфальта.

## Чуркин-герой

В сообществе типографских рабочих газетные печатники всегда существовали словно бы самостоятельной, отдельной жизнью. Главные причины тому — неизменно ночная работа и высокая напряженность труда. Конечно, и другим полиграфистам перепадают ночные смены, но то — перепадают, а печатающий газету на них обречен. Если упомянуть еще вой и грохот ротационной машины, насыщающую воздух взвесью из бумажной ныли и мельчайших частичек краски, станет ясно: работа эта тяжелая. Плюс к тому требует мастерства — газетного печатника вдруг не выучишь, не подготовишь, навыки копятся годами.

В своих типографиях газетных печатников знают мало, да и сами они плохо представляют, что делается на предприятии днем. Ночная жизнь других типографий им ближе и понятнее, и ротационеры-асы, где бы они ни работали, друг о друге наслышаны, даже если никогда не встречались. То есть это — особый мир, он невелик, и занимательные события, случающиеся в

его пределах, быстро становятся общим достоянием.

Вот и Чуркин в этом мире некогда был известен, хотя он и не ас вовсе, и даже вообще не печатник: за долгие годы он так и не сумел обучиться ответственному ремеслу. Впрочем, и не пытался — не хотел: первый этаж его, кажется, вполне устраивал. Первый этаж — вотчина подсобных рабочих, машина здесь оснащается подающимися со склада ролями (именно ролями, а не рулонами — странно было бы называть рулоном монолит весом в тонну). Печатник с помощником располагаются на втором этаже. Величественные агрегаты эти состыковываются в ряд и образуют цех газетной печати.

Но и на первом этаже Чуркин не слишком усердствовал — не раз бывало: роль израсходуется, а нового нет — где подсобный рабочий? Поищут, поищут и найдут в каком-нибудь укромном местечке — спящим. Другого за нерадивость давно бы прогнали, но Чуркина выручала искренняя готовность покаяться и всегдашняя доброжелательность буквально ко всем — качества чрезвычайно редкие и оттого особенно притягательные. И потому его хотя и журили почти беспрестанно, но не наказывали. Сколько лет Чуркину, никто не знал, да и про семейную жизнь его ничего толком известно не было.

И вот однажды заглядывает в цех главный редактор, остановился у двери, поднял ладошку к плечу и сложил пальчики в куриную гузку — поприветствовал, значит. Смотрят печатники на него — экий случай: впервые удостоил их главный своим посещением. Это прежний редактор, бывший фронтовой корреспондент, не боялся испачкать костюм — ходил по цеху, пожимал руки, а в новогоднюю полночь приглашал печатников в свой кабинет, чтобы поздравить и угостить крепким напитком. И лишь после этого уезжал домой.

Подошел мастер к главному — тот ему что-то на ухо покричал, да в ротации кричи, не кричи — все равно ничего не слышно, народ знаками изъясняется. Ну и поскольку знаков этих главный не понимал, ушли на переговоры. Возвращается мастер: «Чуркина!» В общем, выяснилось: братское по тем временам государство наградило Чуркина орденом — давно, еще в сорок пятом, а Чуркин, стало быть, воевал, и вот: «Награда нашла героя» — заметочку с таким названием сами же на другой день и публиковали.

Стал Чуркин собираться в братское государство, да одежки подходящей у него не нашлось. Ну, выписали на десятерых материальную помощь — одели, обули героя, и является он наряженный и при всех своих орденах и медалях. Глянули мужики, а среди них и фронтовики были, и ошалели: под тяжестью наградного металла пиджак с Чуркина натурально сползал на один бок и плечо в воротник высовывалось. Механик — светлая голова — сообразил приспособить добавочные подтяжки: сзади они к брюкам пристегивались, а спереди к внутренним карманам чуркинского пиджака. Получалось, правда, что теперь брюки без пиджака, а пиджак без брюк снять было невозможно, а это могло привести к неожиданным последствиям, но: «Терпеть буду, — обещал герой. — Виноват...»

Съездили они — редактор за компанию тоже ездил, — привез Чуркин из братской державы крест с полосатой ленточкой, обмыл его, как полагается, и уже в следующую смену уснул на складе. И вдруг опять: «Чуркина!»

Теперь уже не совсем братская, хотя и дружественная, держава нашла его со своей наградой, пылившейся с тех же отдаленных времен — помогли газетные сообщения о предыдущей поездке.

— Чего же ты там насовершал? — спрашивают его ребята.

— Виноват, — говорит Чуркин. — Не знаю… У нас там машина поломалась, тягача ждали… А эти прибежали какие-то… мол, фашисты у них в городке. Ну, пошли, четверо нас было… А там — солдаты, офицеры… Ну, мы им: война кончилась, а они… Ну, выбили их… Потом еще какие-то пришли: то же самое… Сипягин тогда погиб, младший сержант, из-под Тамбова…

Костюм был пока в целости, подтяжки тоже, так что снарядили храбреца прытче прежнего. На этот раз привезли они с главным редактором куда больший крест, правда, без ленточки.

Редактор уговаривал Чуркина «подняться повыше» — предлагал место председателя профсоюзного комитета.

— Зачем? — отметал Чуркин его предложение. — На жизнь хватает.

— Какие-то запросы у тебя ограниченные.

— Виноват.

— В том месте, где мы были, — замечает редактор, не без мечтательности, — и третья страна недалеко. — А та страна, к слову сказать, резко недружественная. — Может, ты и тамошних жителей освобождал?

— Может, и тамошних, — соглашался Чуркин. Виноват. Тягач нам только через неделю прислали, так что не один раз хаживали, виноват… Потом еще и Гуськова убило — из Архангельска он, из самого. А эти позовут — мы и идем, а кто они? Мы ж языков не знаем, только что: «Фашисты, фашисты», ну, мы и идем… Так что виноват: может, и еще, в какой стране были…

Но в недружественную державу Чуркина не пригласили, да и вообще он вскоре оказался в казенном доме: его обвинили в ограблении табачной лавки и последующем поджоге ее с целью сокрытия преступления. При всех наградах своих Чуркин был человеком столь малозаметным, что никто за него и не вступился. Впрочем, один разок главного потревожили: он куда-то вроде бы даже позвонил, но сказал: «Глухо».

Год спустя выявилось, что Чуркин не подпаливал и не грабил, наоборот — старался погасить пожар и спасти сигареты, которыми торговала его родственница. Она же что-то там и похитила, потом, как водится, подожгла и в конце концов свалила все на безответного Чуркина, а он, к вящей радости следователя, на все вопросы отвечал: «Виноват…»

— Зачем он нужен был тебе, этот ларек? — спрашивали ребята, когда Чуркин приехал восстанавливаться в типографии.

— Прибежали: горит, мол, я и… Виноват, конечно же, знаю…

Однако на работу его больше не взяли: главный подарил ему «Историю Великой Отечественной войны» и тихо выпроводил на пенсию.

# Протоиерей Сергий Правдолюбов

## Александрийская овца

В далекой уже теперь юности было много интересных случаев из студенческой и иподиаконской жизни. О некоторых хотелось бы вспомнить.

В Москву приехал «Святейший и Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Николай VI, Судия Вселенной». И это еще не весь титул. Семинаристам почему-то особенно нравилось «судейство». Эти два слова «Судия Вселенной» имеют очень древнее происхождение.

Встреча в Патриаршем Богоявленском соборе была торжественнейшая. Второй паре иподиаконов, о. Сергию (Соколову) (ставшему епископом Новосибирским, ныне покойному) и мне поручили облачить Александрийского Патриарха посреди храма. Первый иподиакон отвечал за пуговицы, омофор и панагии, то есть «лицевую сторону» Блаженнейшего, а я — за «тыл». Перед службой меня проинструктировали, что палица в Александрии надевается не через плечо, а подвязывается за специальную петельку, а остальное вроде все, как и у нас.

И вот хор поет, читаются входные молитвы, Патриарх поднимается на кафедру и начинается облачение. Все проходит чин чином, ошибок нет.

А в самом конце, когда все сложные пуговицы были уже застегнуты, я увидел, что омофор как-то странно, не по-русски лежит прямо на шее Патриарха, а ие вертикально и торжественно возвышается, как у всех наших архиереев. Я, решив, что это мой недосмотр, тихонько потянул его к себе и расположил на русский манер. Патриарх так же тихонько потянул его обратно к себе «на выю». Моей рязанской сообразительности не хватило, чтобы понять всю значимость обратного движения омофора александрийского святителя. И я снова возвратил омофор на прежнее место, потянув в свою сторону. Патриарх опять, уже сердито и решительно, повторил прежнее движение. И на этот раз я не понял грозного «Судию Вселенной». Увидев приближающегося протоиерея с подносом в руках и тремя панагиями, я подумал, что цепочки-то надо, как у нас принято, подвести под омофор, а он лежит на шее и мешает. И когда я в третий раз потянул за омофор Александрийского Патриарха, он резко повернулся ко мне боком и по-гречески энергично и сердито высказал мне все свое возмущение.

Я испугался, попросил прощения, и только когда увидел, что отец Сергий (Соколов) укладывает цепочки от панагий поверх омофора, который твердо и незыблемо покоится на святительской «вые», — сообразил, что такова древняя александрийская традиция с глубочайшим символическим смыслом, просто меня никто не предупредил.

Омофор должен лежать на шее, ибо он символизирует заблудшую овцу, которую Добрый Пастырь — Христос — берет на плечи и несет к своему дому, чтобы излечить ее и здоровой вернуть в стадо. «На рамо восприим, ко Отцу принесе». Так же и Александрийский Патриарх, по примеру Спасителя, берет на свои плечи и прижимает символическую александрийскую овцу к своей святительской шее. А я, рязанский «пришлец» к московским святыням, совершал вопиющее святотатство: стаскивал с плечей Судии Вселенной эту самую овцу, тем самым публично пытаясь лишить его патриаршего и святительского достоинства «посреде русския земли»! Хорошо, что Патриарх не отлучил меня от полноты Александрийского Православия, поняв мою недогадливость, и просто сильно поругал.

Может быть, все это случилось от моего лукавого превозношения, которое я невольно испытал накануне, во время всенощного бдения.

Сопровождающий Александрийского Патриарха переводчик, профессор греческого языка Московской духовной академии, магистр богословия и специалист по Древним Восточным Церквам, Борис Александрович Нелюбов (кстати, смиреннейший и добрейший человек), подозвал меня во время шестопсалмия и сказал:

— Отец Сергий, выручи, пожалуйста, я уж не буду выходить посреди храма в своем костюме, а наверняка Патриарху предложат прочесть Евангелие. Он просто не поймет, в каком месте

службы он находится. Надо ему подсказать по-гречески: «От Марка святаго Евангелия чтение». И необязательно говорить всю фразу, достаточно сказать начало: «Эк ту ката Марку…», дальше он сам скажет. Я запомнил фразу, пообещав не забыть и подсказать.

Вышли на «Хвалите», пропели все что положено, диакон произнес прокимен, наш Патриарх сказал: «Мир всем». Наступила та самая минута, когда все случилось так, как предвидел Борис Александрович. В полной тишине и молчании, после небольшой паузы, я, рязанский пришелец, совершенно непринужденно вполголоса произношу как нечто само собой разумеющееся:

— «Эк ту ката Марку…»

И Вселенский Патриарх, сразу сориентировавшись, повторил за мной всю фразу и начал читать Евангелие. Патриарх Пимен буквально пронзил меня взглядом, словно говоря: «Откуду сие? Из Рязани может ли быть что доброе?» Все иподиаконы-студенты беззвучно охнули: «Во дает о. Сергий, оказывается, он запросто по-гречески может!» И прославился я «в фараоне, и во всех колесницех и конницех его, в тристатах и прочей твари…». И никто не усомнился и не подумал, что здесь простая подсказка. А Борис Александрович, когда мы вернулись в алтарь, все понял, улыбнулся и не стал публично разрушать тот кумир, который был, воздвигнут за три секунды в тишине Патриаршего Богоявленского собора.

## Кот в соборе

Под воскресенье в Богоявленском соборе шла обычная всенощная. Пропели «Хвалите», Святейший прочел Евангелие, мы подошли к помазанию и ушли в алтарь. У самой стены в южной части алтаря за фанерной перегородкой было укромное место, где можно было незаметно посидеть, пока близко не было начальства, и два батюшки пошли туда, надеясь побыть в молчании и созерцании. Спокойно зашли и вдруг быстро выскочили обратно. Что случилось?

Какой-то бездомный и абсолютно дикий кот забрел днем в священническое убежище отдохнуть, посидел там, а когда началась служба, побоялся выйти. Он-то и зашипел угрожающим рысьим шипом на соборных протоиереев. Они сначала испугались, а потом стали смотреть, кто же там так страшно шипит. Кот был большого размера, коричнево-рыжий и, видать, свирепый.

Отец архимандрит сказал:

— Зовите отца Сергия, он вырос в деревне, пусть попробует его выгнать отсюда.

А я в детстве не отличался любовью к ловле котов и никогда не имел желания подражать лермонтовскому Мцыри в его поединке. Но слово архимандрита надо выполнять.

Я нашел какую-то тряпку потолще, подошел как можно ближе, даже не догадавшись снять стихарь, и совершил бросок, чтобы схватить зверя за спину. Кот разгадал мой маневр и в тот же самый миг резко бросился вперед мне под ноги. В моих руках оказался только хвост, и кот начал яростно освобождаться. Рядом стояли архимандрит Трифон, архидиакон Стефан и иподиакон, а может, тогда уже иеродиакон Агафодор, наместник Донского монастыря.

Я возопил:

— Помогайте! Кот вырывается! Он сейчас уйдет!

К моему сожалению, никто не среагировал и ближе не подошел. Наверное, испугались.

Наконец кот вырвался, быстро и энергично пересек пространство правой стороны алтаря, собираясь выскочить в южную боковую дверь. Выбранный им маршрут проходил прямо под ногами о. Трифона, и тот вдруг сделал какой-то совершенно неестественный книксен, думая, что кот, накрытый архимандричьей рясой, потеряет направление, устрашится монашеской темноты, и мы его снова поймаем.

Не тут-то было. Кот нисколько не был смущен ни темнотой, ни рясой Его Высокопреподобия и, выскользнув, с прежней скоростью побежал по намеченному пути.

В это время началась ектения по третьей песни канона. И все бы обошлось, если бы не громадное зеркало, которое было встроено в дверцу шкафа для облачений. Оно было так чисто, так аккуратно протерто чьей-то заботливой тряпочкой, что кот, увидев отражение приоткрытой двери в зеркале, бросился в эту щель, чтобы выбежать из алтаря.

Раздался глухой стук — это кот врезался головой в зеркало. Его буквально отбросило метра на полтора назад. Кот понял, что отсюда через боковую дверь ему не уйти, и побежал к Царским вратам главного алтаря. В это время завершалась ектения и о. Николай Воробьев, ключарь Патриаршего собора, заканчивал говорить возглас по третьей песне канона. По уставу в конце возгласа полагается повернуться и поклониться Святейшему Патриарху, который в это время помазывал народ и в сторону Царских врат не смотрел. Но на возглас священника он как раз должен был поднять глаза и благословить его, как это предписывается Типиконом.

Все совпало до секунды! Поклон священника, взгляд Патриарха и кот, пулей выскакивающий из Царских врат как раз в это мгновение.

Отцы впали в отчаяние и стали нещадно обвинять меня:

— Ну конечно, это все из-за тебя, это ты виноват, звероловец несчастный. Сейчас Патриарх будет в таком гневе, что достанется всем! Что делать?

— Надо упредить Святейшего, и как только он войдет в алтарь, сразу же просить у него прощения, он и смягчится, — сказал о. Агафодор.

— Кто ловил, тот пусть и кается, — отрезал о. архидиакон.

Отец Николай был печален и задумчив, он чувствовал, что патриаршего гнева не избежать, а ему всегда больше всех попадало.

Я сказал:

— Отцы, не унывайте. Я с детства научен каяться, мне не составит труда взять весь гнев на себя, — выдержу. Как только Святейший войдет в алтарь, я подойду к нему, а вы не беспокойтесь.

Но, о достойное удивления смирение отца-ключаря! Он опередил меня. Я только подошел к Святейшему Патриарху, а о. Николай уже сам начал говорить:

— Ваше Святейшество, простите! Это мы виноваты с этим диким котом. Никак не могли его поймать, вот он и выбежал прямо на возглас.

Святейший, пребывая в умиротворенном состоянии духа, ничуть не разгневался. Он просто сказал;

— Это ничего. Кот — не собака, ему можно. У моего предшественника, Патриарха Алексия тоже был подобный случай. В какой-то большой праздник отворяются Царские врата, а откуда-то сбоку вдруг выходит красивый откормленный кот, хвост трубой, и медленно и торжественно шествует впереди Патриарха на литию. Кота отловили, привели к Святейшему, посадили на стул, и Святейший совершенно серьезно обратился к коту; «Кот, а кот! Что же ты, Устава не знаешь?! Разве можно выходить на литию впереди Патриарха? Ты должен выходить позади всех, после протоиереев и иереев. Чтобы этого больше не повторялось». Все вокруг смеялись, но так и не поняли, усвоил кот урок литургики или нет.

Тем и закончилось это маленькое событие. Но не меньше дикой выходки кота мне запомнилось самоотверженное смирение соборного отца-ключаря, доброго отца Николая.

## «Пусть потолкают…»

Однажды в Николо-Хамовническом храме под праздник святителя Николая прихожане, отстоявшие до конца всенощную, были по-особенному вознаграждены. Раздался колокольный звон, открылись центральные двери, и в храм вошел митрополит Мир Ликийских Хризостом со свитой. Он не облачаясь, прошел в алтарь, приложился к престолу и после отпуста первого часа обратился с кратким словом приветствия к народу.

Перед нами стоял живой преемник по кафедре святителя Николая! Мы были счастливы. Митрополит сказал хорошее вдохновенное слово, благословил народ общим благословением и пошел к выходу. По русской иподиаконской привычке и я, и второй диакон стали отодвигать народ, чтобы митрополит свободно прошел к дверям. Владыка Мир Ликийских остановился, что-то стал говорить переводчику, и тот нам перевел:

— Митрополит говорит, что в его храме нет ни одного прихожанина, храм посещают только туристы. Он так рад, что его не выпускают из храма наши русские верующие. Пусть его потолкают, а он благословит всех желающих.

Мы отошли в сторону и решили, что если Его Высокопреосвященство просит, то действительно, пусть его прихожане потолкают…

## На Поклонной горе

Каждый год 9 мая и 22 июня наш храм Живоначальной Троицы в Троицком-Голенищеве совершает поминальную молитву — панихиду на Поклонной горе, перед крестом, поставленным пятьдесят лет спустя в день, год и час начала Отечественной войны. В этот день на горе всегда бывает народ: кто-то молится, кто-то просто смотрит.

Однажды после панихиды ко мне подошел статный, подтянутый офицер и сказал:

— Батюшка! Вы можете благословить моих солдат? — и показал на группу бойцов. — Им это очень надо.

Я спросил:

— А почему?

Он сказал:

— Они смертники. Мой взвод уже два раза почти полностью обновлялся. И сейчас мы отправляемся туда, откуда большая часть живыми не вернется.

— На то дело, которого не знаю и, видимо, не имею права знать, благословить их я не могу. Можно лишь дать благословение, чтобы Бог сохранил их от всякого зла. Но есть еще одна трудность: не заденем ли мы национальные и религиозные чувства солдат? Может, не все захотят принять благословение от православного священника.

Командир ответил:

— Да, вы правильно подумали. Среди них есть двое из Азии, они могут быть против.

— Тогда я буду у каждого спрашивать: «Благословить ли вас?» — предложил я.

Командир одобрил это решение.

— Строиться, — рявкнул он.

Солдаты вытянулись в шеренгу. Какой-то фотограф подбежал фотографировать, но офицер буквально одним междометием мигом отогнал его далеко от нас. Я посмотрел на солдат. Это были сверхопытные, натренированные, мощные и отборные спецназовцы. Лица у них были как каменные. Что-то их стягивало изнутри. Как некая невидимая печать чего-то страшного и неотвратимого. Таких лиц я никогда прежде не видел, это было что-то фронтовое.

Медленно, с молитвой, я подходил к каждому солдату и тихо говорил:

— Вас благословить?

И каждый почти шепотом, но твердо отвечал:

— Да!

Ни один не отказался от благословения! Я благословил всех.

Потом они разом тихо и неслышно снялись, как стая птиц, и ушли с Поклонной горы.

Разве такое можно забыть?..

# Протоиерей Савва Михалевич

## Безумный город

### 1

«Вы хорошенько подумали?» Секретарь Епархиального управления внимательно взглянул в лицо иеромонаха Серафима (Опочинина), словно рентгеном просвечивая его взглядом пытливых маленьких сереньких глаз и, после утвердительного кивка пожал плечами: «Но почему? Отчего вы сами выбрали именно Заострожск? Чем вас привлек этот городишко?» «Видите ли, тут, можно сказать, семейная традиция. Мой прадед служил в Заострожске земским врачом еще до революции, а его сын (мой дед) много рассказывал мне о городе своего детства». То была правда, но не вся. Молодой монах не стал распространяться о том, что его прадед Всеволод Опочинин в гражданскую войну служил врачом у Колчака и после разгрома белых был вынужден уйти в Китай, разлучившись с женой и сыном — дедом нашего героя.

— Понятно. А сами вы в Заострожске бывали? продолжал допытываться секретарь.

— Нет. Да это и не требуется. Я знаю обстановку в целом, а такие маленькие города мало меняются даже за целый век. Жизнь в них замедляет свой ход и всякого рода новшества запаздывают.

— Но это узел железнодорожных путей. В окрестностях Заострожска скапливаются десятки поездных составов, ждущих отправки по всем направлениям не только Сибири, но и всей страны,

— Так что ж с того? Какое ко мне это имеет отношение? Или я чего-то не понимаю? Моя задача, сформулированная Владыкой в частной беседе, заключается в возрождении Спасо-Заострожского монастыря, но это, так сказать, сверхзадача, а пока следует приложить силы для восстановления хотя бы храма Всемилостивого Спаса и общины при нем.

— Да, община уже есть» — кивнул секретарь, — вам даже подготовили жилье — домик рядом с церковью, правда без водопровода и канализации, зато с телефоном, но я не об этом. Знаете ли вы, чем занимаются жители Заострожска?

— Нет, но полагаю…

— А-а, не знаете! Заострожцы промышляют… Тут протоиерей понизил голос и прошептал:

— Ради Бога, не сообщайте никому, что это я вам сказал.

— Помилуйте! Тут какая-то тайна?

— Тайна — не тайна, вы все равно об этом услышите. Они грабят вагоны!

— Грабят вагоны?

— Ну да.

— Кто?

— Да жители Заострожска.

— Кто именно?

— Все.

— Все? Как это возможно?

— В наше, между нами говоря, паршивое время, все возможно. Это вас не расхолаживает?

— Почему этот факт должен меня расхолаживать? Я на то и послан, чтобы духовно окормлять народ и исправлять грешников…

— Ну-ну! Только не говорите потом, когда захочется обратно, что я вас не предупреждал.

— Ну что ж, благодарю.

— Желаю вам всяческих успехов на ниве исправления этих разбойников — пожелал секретарь уже несколько иронически, и лицо его приняло непроницаемое выражение. Он встал, давая понять, что разговор окончен и подставил щеку для поцелуя отцу Серафиму.

Иеромонах покинул канцелярию в легком недоумении. Последние пять лет своей 27-летней молодой жизни Всеволод Опочинин (мирское имя отца Серафима, названного в честь прадеда) готовился к служению Богу и людям. После окончания исторического факультета Новосибирского университета в нем созрело окончательное намерение посвятить себя церкви. С этой целью он просил благословения у духовника на поступление в Духовную семинарию, но тот посоветовал идти другим путем. Отвел юношу к архиерею и тот после доверительной беседы принял Всеволода к себе иподиаконом, а через год, уверившись в твердом решении кандидата стать монахом, совершил над ним постриг с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. Перед новопостриженным открывалась перспектива духовной карьеры, возможно путь к архиерейству, но он, пробыв еще четыре года при Владыке, попросился на приход. Епископ согласился не сразу. Ему не хотелось отпускать от себя усердного, благочестивого и исполнительного помощника, но решение Серафима было твердо и, в конце концов, он добился своего.

В тот же день отец Серафим уезжал к месту назначения с вокзала в Чите, причем весь его багаж состоял из двух небольших чемоданов. В зале ожидания он услышал объявление из репродуктора: «Граждан, едущих в Заострожск с целью наживы, просят сдать билеты». Далее приводилась ужасающая статистика: за последний месяц в Заострожске при попытке грабежа вагонов погибло такое-то количество людей. Иеромонах крепко задумался. Он с горечью констатировал, что намеки епархиального секретаря имели под собой реальную почву и ему достается приход в беспокойном месте. Он пожалел, что не навел заранее справок о современном состоянии Заострожска, удовлетворившись лишь устаревшими лирическими воспоминаниями деда. А реально, что он знает об этом захолустном местечке? Заострожск небольшой город в Бурятии на границе с Китаем. Население в основном русское. Незадолго до революции в нем был открыт мужской монастырь в честь Всемилостивого Спаса, закрытый большевиками в 1925 году. Чудесная природа. Вот и все. И уж конечно люди там теперь другие, не то, что в дедовские времена. Русский человек вообще изменился с тех пор даже внешне, это еще А.И. Солженицын отметил.

Священник в дороге был одет в штатское, волосы убраны под воротник, поэтому его попутчики — два крепко выпивших мужика, поначалу не признали в нем «служителя культа». «Ты зачем едешь, на работу или что-нибудь купить?» «А что вы называете работой?» «Как что, вагоны грабить». Они очень удивились, узнав о его миссии, но все равно, даже такой дивертисмент не вызвал у мужиков повышенного интереса. Они были поглощены собственными делами, обсуждая в полголоса цены на товары и рассуждая о том, как эти товары выгоднее сбыть, хвастались доходами и планировали дальнейшие «операции», словом жили в своем мире.

**2**

Вместо обычного памятника Ленину или какому-нибудь революционному деятелю в Заострожске на станции в 1992 году стоял танк, как впрочем и во многих других городах и поселках Забайкалья того времени. На его боку, написанный красными буквами, пламенел плакат: «Товарищ, помни, граница рядом». В воздухе над головой приезжего гостя раздалось урчание мотора и через несколько секунд над станцией закружил вертолет, зависая так низко, что экипаж вероятно мог разглядеть лица людей, сошедших с поезда. Какие-то типы криминального обличья с новенькими рюкзаками за плечами, целой группой садились во вместительную иномарку. Взревел двигатель и машина, резво тронувшись с места, понеслась к центру города. Вертолет полетел за ней. «Омон засек» — объявила какая-то женщина, — «сейчас проверку устроит». «То есть как? — удивился гость, они, что же, погнались за машиной?» «Ну да — подтвердила тетка, — сейчас снизятся и дадут очередь, сначала в землю, а потом…» «Неужто по машине?» «Эти могут и по машине. Мол, выходите и покажите

документы и если что, в «браслеты» и в участок…» По-видимому, жизнь в Заострожске била ключом, здесь не было места обычной провинциальной скуке.

Отец Серафим спросил у какого-то парня нужный адрес, указанный в Епархиальном управлении и записанный на бумажке. Идти пришлось через весь город, который впрочем, оказался совсем небольшим. Дома грудились типовые — совдеповские многоэтажки, очень запущенные и, можно сказать, вопиющие о ремонте. Справедливо полагая, что на новом месте его могут и не ждать, священник решил позаботиться о хлебе насущном. Первый продовольственный магазин на его пути оказался закрытым, второй тоже, но когда и третий оказался под замком, отец Серафим был немало озадачен. Лишь в конце пути ему удалось разжиться буханкой хлеба и куском сыра в какой-то крошечной палатке, торгующей по преимуществу спиртным.

«Отчего у вас все магазины не работают?» — поинтересовался пришелец. Не видя собеседника, он обратился в крошечное, чуть приоткрытое окошечко палатки. После минутного молчания старческий голос проскрипел: «А потому, что все работу побросали, мать их за ногу! Раньше здесь своя пекарня была, фермы разные, а теперь все вагоны трясут. Вот моя Фроська (дочь) раньше дояркой работала. Приходит к ней председатель: «Фроськ, пойдем, коровы недоенные стоят». А она ему бац — пять тысяч кидает: «Возьми деньги и делай со своими коровами, что хочешь, а меня эти дни не беспокой». Вот и стало жрать нечего».

Отец Серафим замер. Это походило на дурной сон. Городишко похож на других своих собратьев, каких множество на просторах России, но в то же время резко отличается от них, ибо его населяют особые люди, не такие, как повсюду. По улицам летает мусор, выдуваемый порывами ветра из неопорожненных баков, фасады домов топорщатся облупившейся краской, многие окна лишены стекол, как будто здесь прошла война или городские службы забастовали и не выполняют своих обязанностей по крайней мере год.

Он двинулся дальше и вскоре подошел к церкви. Это было довольно большое здание из красного кирпича, выстроенное в русском историческом стиле с тремя небольшими маковками-куполами, временно покрашенными коричневой грунтовкой. К его радости, храм оказался частично восстановленным — крыша блестела свежим железом, с западной части вход прикрывала массивная новая дверь. Правда колокольня оставалась разрушенной почти до основания. Храм стоял в небольшом запущенном парке, отделенный от посторонних железной решеткой. Чуть в стороне ютился не совсем еще обветшавший домик, в котором, как догадался монах, ему предстояло жить. Войдя в незапертую калитку, он осторожно постучался в дверь домика. Послышались шаги, щелкнул замок, и на пороге появилась старушка, при виде гостя всплеснувшая руками: «Ой, вы, наверное, новый батюшка? Проходите, проходите. Ой, да что же это я! Благословите». И она протянула стоженные руки для благословения. «Бог благословит». «Идемте батюшка. Вот сюда поставьте чемоданчики и туда, туда, в трапезную». Чувствовалось, что она рада его видеть. В небольшой комнате, важно названной трапезной, стоял обеденный сервированный стол, на котором дымились два чайника и горкой возвышался нарезанный хлеб. Старушка, назвавшаяся Антониной Федоровной, захлопотала вокруг гостя. «Даже в самые скудные времена в церкви всегда угостят» — подумалось монаху. Пока проголодавшийся путешественник закусывал с дороги, старуха успела доложить ему всю местную обстановку, весь здешний расклад. Хотя отец Серафим уже кое-что понял, услышанное превзошло его самые худшие ожидания.

Жизнь в городе была по существу парализована. Отлаженные когда-то госструктуры застопорились. Не работала почта, с продуктами было очень плохо, не функционировали школы, детсады и прочие учреждения. Учителя и ученики бросили школу. Их интересовал лишь грабеж вагонов. Сначала на это дело отправляли только детей — думали, по ним стрелять

не будут, но вскоре охрана стала открывать огонь и по детям. В Заострожск был введен ОМОН, собранный по всей России. Одни прилетали, другие улетали, когда подходил их срок. Во время чаепития совершенно неожиданно неподалеку от храма раздались резкие звуки. «Что это? Никак выстрелы?» — всполошился гость. «Не обращайте внимания батюшка — отозвалась Антонина Федоровна, — это омоновцы перед отправкой салютуют». С начала этой «эпидемии» в Заострожске постоянно гибнут люди, в том числе, как уже сказано, и дети. Старое кладбище уже заполнено до предела и поговаривают об открытии нового. Убитых хоронят ежедневно, да еще многие умирают от некачественного китайского спирта и самоубийств, которые приобретают в городе массовый характер. В бывших детских учреждениях — яслях, садах и т. п. размещаются теперь стихийные бандитские формирования, в которые входят, как дети 14–17 лет, так и взрослые. Город находится на военном положении. Днем постоянно в воздухе кружат вертолеты, повсюду патрули: государство и жители, среди которых и множество приезжих отовсюду любителей легкой наживы, воюют друг с другом и пока никто не одержал победу на этом жутком фронте.

**3**

Рассказ Антонины Федоровны окончательно поставил все точки над «и». Отцу Серафиму подумалось, что во всей Сибири, да что там, во всей стране трудно было выбрать место более неподходящее для начинающего пастыря, чем Заострожск. И в то же время, может быть, нигде настолько не нуждались в евангельской проповеди, как в этом безумном городе. Но сможет ли он, совсем еще молодой и малоопытный пастырь просветить это стадо? Не слишком ли тяжелую ношу взваливает он на свои неокрепшие плечи? Не бежать ли, пока не поздно?

После завтрака и потрясающего «доклада» местной уроженки он пожелал осмотреть храм. Оказалось, церковь внутри вполне качественно отштукатурена и покрашена в белый цвет. Иконостас из фанеры, иконы на нем бумажные. Кое-где на стенах и аналоях размещались и старинные иконы в окладах и без оных, пожертвованные прихожанами, как пояснила Антонина Федоровна. Вместо царских врат и боковых дверей в иконостасе висели занавеси. Внутри алтаря имелось все необходимое для совершения богослужения. Оказывается, у отца Серафима был предшественник-священник Петр Крылатов, о чем ему почему-то не сочли нужным сообщить в Епархии. На вопрос новичка, почему же он ушел, все та же Антонина Федоровна, выполнявшая, кстати, при храме функции казначея, поварихи и уборщицы в одном лице, махнула рукой и сокрушенно вздохнув, ответила: «Из-за сына». «Что случилось с сыном настоятеля?» «Да то же, что и со всеми в нашем городе — на вагоны пошел». «Вот это да! Сын священника?» «Вот-вот. И отец Петр так же ужасался и бедная матушка! Уж он его и увещал, и ругал: «Не делай этого! Не позорь меня!»» «Не буду больше, папа, не буду!» А сам снова пошел с другими ребятами. Ну, батюшка наш не выдержал и уехал восвояси, пока не поздно. У него еще двое маленьких детей подрастало, а матушка плакала и все мне говорила: «Володька (старший) и их на вагоны переманит».

По-видимому, эпидемия раскурочивания вагонов носила в Заострожске тотальный характер. Ночью новый настоятель никак не мог уснуть на незнакомом месте даже после длинного молитвенного правила. Ворочаясь с боку на бок, он все время вспоминал рассказ казначейши и свои первые впечатления и внутренне ужасался, догадываясь, как когда-то известный витязь у развилки дорог: направо пойдешь — мучеником станешь, налево пойдешь — сам потом себя презирать будешь.

Как всегда в подобных случаях, когда все «человеческие» рассуждения не приносили спокойствия и уверенности, он прибег к испытанному средству — молитве. Накинув рясу и совершив три земных поклона, стал на колени и раскрыл молитвослов. Тихо колебалось пламя лампадки пред ликом Спасителя. Город молчал. Ни один звук не нарушал ночную тишину.

Отец Серафим перевернул страницу и вдруг ясно услышал далекую автоматную очередь. Ему подумалось, что может быть, некий омоновец предупредил, кого-то выстрелами в воздух, а может, и нет, стрелял на поражение, и кого-то уже нет на белом свете, и душа отлетела… Он вздрогнул и взглянул прямо на иконный лик. В нижней ее части вилась надпись, сделанная славянской вязью: *Приидите ко Мне вси осуждающиеся и обремененнии и Аз упокою бы…* «Я понял, Господи, я все понял. Я должен привести их к Тебе» — прошептал монах.

Действительность вскоре подтвердила рассказ Антонины Федоровны и худшие опасения священника. Вечером следующего дня в церковном домике раздался телефонный звонок (телефонный узел каким-то чудом еще действовал). Мужской голос предложил отпеть убитого на дому. «Отчего вы не хотите привезти покойника в храм?» «Похороны за городом, в поселке и нам так удобней. Мы пришлем за вами машину в 8 часов утра». В назначенный час перед церковью остановилась шикарная иномарка, по размером раза в полтора превосходящая отечественную «Волгу». Марку священник разобрать не сумел, но разглядел над задним бампером вычурную позолоченную монограмму с именем мастера. Автомобиль был штучного изготовления. За рулем сидел чернявый невысокий, но чрезвычайно широкоплечий и дюжий парень с коротко остриженными волосами с толстой «голдой» на шее.

«Садись батюшка» — приветливо пригласил он, распахивая переднюю дверь. Взревел мотор и авто рвануло с места, чуть ли не с первых метров набирая 100 км в час, и понеслось через город. Отцу Серафиму подумалось, что лишь ранний час и почти полное отсутствие прохожих и другого транспорта спасли их от неминуемой аварии. Машина летела, не сбавляя хода, и лишь поскрипывала рессорами на крутых поворотах. Когда впереди показался пункт ГАИ шофер, отрекомендовавшийся Геной, и не подумал сбросить скорость. К удивлению монаха, два блюстителя с автоматами на груди, увидев их «кадиллак», демонстративно отвернулись.

За те 25–30 минут, что они добирались до места назначения, Гена рассказал историю гибели своего дружка, на похороны которого был вызван священник. Их банда, или, как он выразился, «общество» (слово «бригада» тогда еще не было в ходу) одна из самых больших и влиятельных в городе. Как известно, где крутятся большие деньги, все продается и покупается. Бригадиры команд, которые занимались грабежами вагонов (причем они это называли не грабежами, а работой), находили доступ к омоновцу, который сегодня должен был дежурить и просили: «Дай нам сегодня поработать». Обычный средний омоновец не отшатывался в негодовании, а чаще всего деловито спрашивал: «Сколько вас?» «Двенадцать человек». «С каждого по десять тысяч… Даю время с 3-х утра до 15-и минут четвертого, в 16 минут подхожу и открываю огонь. Ничего личного. Без обид». «Идет».

Трудно представить, что за 15 минут можно распотрошить два вагона, но это сплошь и рядом делается. Подгоняются грузовики, в которые закидывается товар, и машины уходят в неизвестном направлении. Разгрузить даже один вагон за 15 минут — фантастика, но люди это делают, работают, как никогда не работали ни в ГУЛаге, ни на Магнитке, трудятся, как книжный Павка Корчагин, потому что нигде и никогда русские люди так не зарабатывали. Но вот произошла какая-то нестыковка: или Петька (покойник) задержался на минуту дольше, чем следовало, или охрана выслуживалась перед начальством, но результат оказался фатальный — Петька прошит пулями. «Всю обойму всадили, суки!» — сжимая кулаки, цедил Гена. У убитого остались жена и новорожденная дочь.

Поселок, куда привезли отца Серафима, поражал своим убожеством. Вдоль единственной узкой улицы лепились ветхие деревянные бараки. На двух единственных кирпичных домах красовались надписи «Магазин» и «Клуб». «Кадиллак» затормозил у одного из таких неказистых бараков, подъезд к которому затрудняли многочисленные припаркованные машины. Перед распахнутыми дверями барака стоял открытый гроб из дорогого темно-

коричневого дерева, украшенный четырьмя блестящими металлическими ручками. Вокруг гроба собралась довольно значительная толпа «братков», но были и женщины и, по-видимому, соседи по бараку.

Бросалось в глаза, что почти все, кроме вдовы покойного и его матери, включая женщин, были в разной стадии пьяны. Молодая вдова громко рыдала, ей вторили соседки. Мать убиенного молчала, но на ее лицо было страшно смотреть. Гена, вылезший из «кадиллака», о чем-то пошептался с двумя парнями бандитского вида и, обозрев открывавшуюся картину, вернулся в салон. «Они тут долго прощаться будут. Съездим-ка пока к отцу». Полагая, что речь идет об отце покойного, монах кивнул головой. Они отъехали всего километра на полтора и остановились у красивого деревянного, похожего на сказочный теремок, домика.

**4**

Три огромных «азиата» подняли лай при появлении чужаков. Из флигеля вышел охранник с помповым ружьем наперевес и отпер калитку. Священника проводили в дом и усадили в холле за журнальным столиком. Мебель в помещении была первосортная, в воздухе витал запах дорогого табака, на стенах висели картины авангардистского стиля. Послышались неторопливые шаги и в комнату вошел стройный брюнет небольшого роста с гладко зачесанными и напомаженными, как у итальянских мафиози из американских фильмов, с небольшой проседью, волосами. Тут до отца Серафима дошло, что это и есть «отец», причем, несомненно, «крестный». Он протянул монаху холодную влажную ладонь и, скользнув по лицу собеседника внимательными черными угольками-глазами, негромко произнес: «Здравствуйте. Вы нам поможете, мы — вам поможем». Несколько смущенный собеседник пробормотал, что, мол, отпеть покойника его долг, но про себя отметил, что должно произойти нечто совершенно из ряда вон, чтобы решиться обратиться за помощью к подобному персонажу. Выпив предложенную чашку кофе, он распрощался с новоприобретенным знакомым, чтобы через несколько минут быть доставленному к месту погребения.

После отпевания монах поколебался, говорить ли проповедь, но учитывая обстановку, решил пока воздержаться от каких бы то ни было речей до полного прояснения всех обстоятельств, тем более предвидя, что убиенный Петр не последняя жертва «вагонной лихорадки». В тот же день он совершил свое первое богослужение на новом месте, а назавтра вознамерился совершить Литургию. Пришла довольно бодрая старушка, исполняющая обязанности псаломщицы, доверительно сообщившая настоятелю, что уставу обучал ее когда-то бывший регент закрывшегося Спасо-Заостровского монастыря. В компании двух столь же почтенного возраста певчих она провела всю первую службу и, хотя пожилое трио сильно дребезжало, отец Серафим был все же рад, что певчие у него уже есть. Антонина Федоровна продавала свечи за ящиком. Прихожан явилось совсем мало, в основном люди пожилые.

Назавтра в храм привезли отпевать девчушку лет четырнадцати, убитую при очередном грабеже вагонов. К удивлению священника, покойную сопровождала совсем небольшая группа людей, хотя в других местах в подобных случаях народу всегда много. Странно: многие из присутствующих совершенно не имели того удрученно-печального вида, какой полагается принимать в подобных обстоятельствах. В Заострожске, как это ни трагично, привыкли к детским смертям! Тут уж новый настоятель, решившись не упускать подходящий момент, сказал слово после отпевания. Он старался обратить внимание слушателей на недопустимость создавшейся обстановки, когда воровство есть норма жизни и его считают просто «работой», как всякую другую деятельность. «Братья! Я слышал, что многие ваши дети умирают безвременно, потому что в них стреляют. Это чудовищно! Это просто не укладывается в голове. Этого нет больше нигде в мире. Опомнитесь! Чему вы приносите в жертву свою плоть и кровь, свое будущее! Золотому тельцу, маммоне, точно по Библии! Гибните сами и собственноручно

умертвляете своих чад! Горе вам! Как священник это говорю. Почившей было только 14 лет. В этом возрасте еще в куклы играют, а вы послали ее за добычей. Хорошо, вы ее не посылали, она пошла сама, так почему не остановили? Это был ваш святой долг! Ребенок неразумен, но вы-то взрослые. Остановитесь сами, пока не поздно! Отринете ваше безумие!»

Его слушали мрачно, но внимательно, не прерывая, но можно ли надеяться на какой-либо положительный результат в ближайшем будущем, он не знал. Когда гроб с телом покойной вынесли из церкви, к монаху подошел приятный человек средних лет с грустным задумчивым лицом: «Я к вам батюшка. Дело в том, что вы по существу совершенно правы, но не всегда родители подают детям плохой пример, случается и наоборот. Бот хотя бы я. Лишился работы. Ничего заработать не мог, хоть волком вой, а у сына вдруг появляются деньги. Покупает себе то жвачку, то хлопушки. «Откуда?» «Из вагонов» И так он разбогател, что мы с женой (шутка сказать) стали занимать у него деньги на продукты и все необходимое. Скажете — это не нормально. Полностью согласен, но только где эти деньги, хотя на самое необходимое, взять? А тут еще жена начала пилить: «Вот, ребенок и тот понимает, что надо семью кормить, а ты ни на что не способен. Учись у сына!» Только вы батюшка не судите ее, когда ЭТО случилось, она три дня пластом пролежала, не вставая, уж думал, ума лишится. И стыдно мне стало перед семьей — юнец заработал, а я нет. И пошел я тоже грабить вагоны. И вот однажды случилось то, что должно было случиться — моего сына, моего Мишеньку застрелили».

Тут рассказчик запнулся, закрыл лицо руками, и плечи его затряслись от рыданий. Священник приобнял его за плечи: «Ну-ну! Не скорбите так! А есть у вас еще дети?» «Да, еще младший сын, но он у меня на вагоны не пойдет никогда, лучше умру!» Выяснилось: безутешного отца зовут Кирилл и в церковь он стал ходить после гибели сына. «Кирилл! Помогите мне хоть вы остановить это безумие. Здесь люди, словно сказились. Ими владеет одна страсть — нажива и ради нее они не жалеют ни себя, ни детей, сами топчут самое дорогое, что есть у человека и ничто, кроме бешеных денег их не интересует». «А как их, батюшка, остановишь? Я перестал воровать, когда потерял сына, но это не всех расхолаживает, иные все равно ходят на «железку» даже после гибели родственников и друзей». «Ну, может поговорить для начала хотя бы с начальством, чтобы хоть в детей не стреляли?» «Попробуйте, но думаю, они имеют приказ и вас не послушают».

На другой день настоятель направился к командиру сводного ОМОНа в чине полковника, резиденция которого находилась в здании городского МВД. Отца Серафима принял немолодой грузный мужчина с красным обрюзгшим и злым лицом. Не дослушав посетителя, он стал отвечать резким, громким «командирским» голосом, постепенно переходя на крик: «Вы говорите «не стреляйте», а как я иначе остановлю этих, как вы называете, «детей»? Это настоящие матерые преступники!» «Здорово, сильно сказано, товарищ начальник, блюститель закона!» Несколько смутившись и наливаясь краской, полковник закричал: «Знаете, как они на прошлой неделе украли китайские мотоциклы? Вскрыли вагон, положили доску, залили бензин, завели мотоциклы и уехали на них! У нас каждый день у отделения стоит автобус с китайскими товарами, конфискованными в эту ночь! Вы только что приехали и многого не понимаете и не знаете».

«А есть ли у вас приказ о стрельбе на поражение, в том числе и по детям?» Полковник побагровел так, что отец Серафим испугался, не хватит ли его улар. «Этого я вам не скажу — прорычал омоновец, — не обязан, но будьте уверены: здесь нет никакой самодеятельности!» «Из сказанного я делаю вывод, что какую-то, пусть тайную, инструкцию вы имеете». «Можете предполагать, что вам угодно. Займитесь лучше чем-нибудь другим, лучше всего своим прямым делом — с сарказмом посоветовал полковник, — а мы уж будем отвечать за наши дела». На этом разговор закончился.

**5**

С этого дня молодой пастырь начал активную борьбу с грабежами вагонов, которые в Заострожске воистину приняли характер эпидемии со всеми последствиями всех эпидемий, как в духовной, так и в материальной сфере, из которых самым страшным была смерть, не только духовная, о чем догадывались немногие, но и физическая, о чем знали все. Не проходило дня, чтобы отец Серафим не отпел хотя бы одного человека, убитого у вагонов. Каждый раз он говорил проповедь о недопустимости воровства, о призрачности счастья, купленного за деньги и т. п. Ему возражали, что никакой другой РАБОТЫ все равно нет. «Знаю, — соглашался священник, — но давайте посмотрим на дело с ваших позиций, оставив до времени нравственную, вернее безнравственную составляющую. Ведь удивительно: на вагоны ходят буквально все, а обогощаются единицы. Большинство сдает украденные вещи за сумму, в несколько раз ниже рыночной стоимости, разбогатели немногие, а так, в основном все проедается и пропивается. Вчера я разговаривал с женщиной, в прошлом ведущим экономистом на большом предприятии, а теперь она законченная алкоголичка и, что удивительно: не видит всей пагубности своего пути. В конце разговора она и мне предложила пойти потрошить вагоны».

На воротах храма, а со временем и в других местах по всему городу появились воззвания отца Серафима. Он сам сочинял их, стараясь простыми, короткими, но емкими фразами донести до читателей весь ужас сложившегося положения, укоряя и обличая, лаская и ободряя, приводя кошмарную статистику смерти в Заострожске. На ту же тему он постоянно говорил на богослужении и при совершении треб, как в храме, так и вне его. В Заострожске отец Серафим впервые столкнулся с неизвестным ему прежде феноменом — здесь никто не боялся смерти. Нет, никто не хотел умирать — просто смерти не боялись, так как жизнь впереди представлялась слишком заманчивой, сплошным праздником, в котором нет места печали. Так ведут себя наркоманы, но в данном случае наркотическим дурманом стало сребролюбие. Это было какое-то всеобщее ослепление, страсть, доведенная до абсурда под руководством сатаны.

В начале казалось, что все усилия пастыря напрасны, но постепенно у него появились сторонники — немногие сохранившиеся трезво мыслящие люди. Некоторые поплатились за свое вразумление, подобно Кириллу, смертью близких. Таких становилось все больше. Я не описываю в подробности всех мер, предпринятых священником для искоренения зла, отмечу лишь, что они были разнообразны и энергичны. Он прибегал к помощи разных лиц, имеющих хоть какое-то влияние в городе. Не всегда его желали слушать, но некоторым слова пастыря западали в душу. И постепенно деятельность отца Серафима стала приносить плоды. Первый ажиотаж прошел. Заработали школы, дети вновь стали учиться, но до восстановления порядка было еще далеко. Педагоги были вынуждены просить, чтобы родители не давали детям в школу более 5000 в день, потому что ребята покупали все, что им хотелось — пиво, сигареты, хлопушки и несли это в школу. Одновременно усилили контроль и власти. Ввели усиленное патрулирование железнодорожной станции. Тогда грабеж стал принимать иные формы. Например, на перегоне между станциями Заострожск и Байкальск перемыкали семафор, после чего машинист был вынужден остановиться на красный свет. К составу подлетали машины, быстро опорожняли вагон и стремглав разъезжались в разные стороны. Машинист все видел, но ничего поделать не мог. Это напоминало гражданскую войну. Только теперь пути не взрывали.

В 90-е годы XX века в когда-то тихом, провинциальном Заострожске сложилась уникальная ситуация — наступил массовый психоз, вроде пляски св. Витта и причиной ему была страсть сребролюбия. Ничего нового в этом феномене с точки зрения всечеловеческого опыта не было, но впервые, может быть, вся пагубность массовой одержимости проявилась на русской почве и с русскими людьми, в результате семидесятилетней селекции отчасти утратившими свой

православный генотип. В похожей ситуации когда-то находился весь еврейский народ и, когда его обличали специально посланные Богом люди — пророки, иудеи их убивали. В какой-то степени для заострожцев отец Серафим стал таким пророком, а значит, его участь была предопределена. С первых дней появления ему угрожали. Вполне очевидно, что он многим перешел дорогу, причем, как ни пародоксально, не только «потрошителям» вагонов, но и охранным структурам, некоторые члены которых, как было показано ранее, имели свой интерес в этом БИЗНЕСЕ.

Путник, спешащий по своим делам через Заострожск в сторону китайской границы, из окна поезда может заметить небольшой скромный обелиск — камень с металлическим крестом на вершине, но конечно ему не удастся прочесть надпись на камне, если только состав не сломается и случайно не остановится на этом отрезке пути. На памятнике написано: «Здесь покоится монах Серафим (Опочинин) 27 лет, трагически погибший, спасая ребенка 25 октября 1992 года». Священник прикрыл собой подростка, грабившего вагон, от пули омоновца. После этого трагического случая «вагонная война» стала замирать. С большими людскими и финансовыми потерями в ней победило государство, но как знать, может, она затянулась бы еще на несколько лет, и потерь было бы еще больше, если б не скромный труженик на ниве Господней иеромонах Серафим.

## На исповеди

«Отец Андрей! Начинай исповедь» — распорядился настоятель. Молодой священник, повинуясь, покинул алтарь и вышел в заднюю часть храма, где у бокового придела в честь свт. Николая уже стоял аналой, застеленный черной пеленой, с лежащими Евангелием и серебряным напрестольным крестом. Отца Андрея только что перевели на новый приход в свой родной город, где он родился и рос. До того пять лет он служил в другом месте диаконом. Наступила суббота первой седмицы Великого поста и народу в храме было битком. Начинающий иерей мельком взглянул на стоящую пред ним толпу и тут же выхватил из нее несколько знакомых лиц. Он только что начал служение на этом приходе, но уже не раз видел среди прихожан и молящихся людей, знавших его прежде, да иначе и быть не могло, коль он являлся местным уроженцем. Почему-то каждый раз при такой встрече новоназначенный пастырь испытывал некоторую неловкость, вероятно оттого, что *«несть пророка без чести, токмо во отечествии своем»* (Лк.4:24). Эти прихожане могли помнить его сопливым мальчишкой, знать его родителей или родственников, возможно его школьных учителей и т. д. Это смущало.

Вот и сейчас в первых рядах он заметил свою учительницу музыки. В свое время маленького Андрея против его воли отдали в музыкальную школу и заставили играть на скрипке. Ему это сильно не нравилось, и учился он из рук вон плохо, отчасти из-за лени и нежелания, отчасти из-за отсутствия таланта. Проучившись четыре года, скрипку он забросил, но, как ни странно, некоторые навыки, вынесенные из музыкалки, впоследствии, когда он поступал и учился в семинарии, пригодились: знание нот, пение, сольфеджио. Даже теперь, будучи взрослым и собираясь выступить в роли ее исповедника, он покраснел до ушей, вспомнив, как доводил до отчаяния свою наставницу-скрипачку. «Ведь она о Боге тогда и не помышляла и в церковь не ходила, уж я-то знаю» — в смятении терзался отец Андрей. — «А вон еще стоит Валентина Степановна из нашего дома!» — она жила в соседнем подъезде громадного дома сталинской постройки, где родился и жил Андрей со своими родителями. Мишке — сыну этой Валентины Степановны он однажды в детстве разбил нос (вполне заслуженно, тот сам напросился). Был жуткий скандал. Соседка кричала матери драчуна: «Ваш сын хулиган и будущий уголовник!» И вот она тоже здесь.

Молодой иерей вздохнул и начал читать молитвы чуть дрожащим голосом, досадуя на

архиерея, пославшего служить его в родной город. Однако постепенно голос окреп и, твердя знакомые слова, отец Андрей успокаивал себя: «Что за чушь мне приходит в голову! Прошло столько лет, все изменилось. Я изменился. Люди стали иные. Страна другая. Уже нет коммунистов у власти». Закончил он, совсем успокоившись, а когда предварял исповедь кратким напутствием, лицо и дух его были почти безмятежны. Исповедовали одновременно два священника, и была надежда, что знакомые перейдут для частной исповеди к другому пастырю. Однако вышло не так. Первой подошла скрипачка. Когда-то она была совсем молоденькой, всего лет на восемь старше его, почти девочкой с косой. Мальчишки дразнили его: «Кончишь учиться, женись на ней!» И конечно она узнала своего бывшего ученика. Она давно уже нашла Бога и ходит в церковь. Нет, нет, об Андрее у нее самые хорошие воспоминания. Отец Андрей читает над склоненной головой своей бывшей наставницы разрешительную молитву и шепчет: «И вы меня простите Нина Ивановна! Я был лентяй и лежебока. Вместо домашних упражнений книжки читал». Она молча улыбается, и они дружески расстаются. С соседкой и того проще. Оказывается, ее сыночек угодил на нары. Участь, предсказанная отцу Андрею, исполнилась на ее отпрыске. И теперь Андрюша — отец Андрей в качестве священника утешает несчастную мать. Впоследствии у него было много подобных встреч: приходили бывшие одноклассники, педагоги, соседи, каждый по своему делу, порой с горем, реже с радостью и каждому он старался помочь и услужить, с удивлением замечая, каким авторитетом и щитом является священный сан иерея Божия.

## Радоница

Сначала 1990-х годов, тогда еще молодой, отец Петр Цветков служил на многоштатном приходе в небольшом городке. Промелькнула Светлая седмица с ее пасхальной радостью, приподнятым настроением и разговением после долгого периода Великого поста. Наступил вторник второй седмицы после Пасхи — Радоница. В этот день после Божественной литургии и общей панихиды в храме весь причт отправлялся на городское кладбище и там снова служилась общая панихида с чтением многочисленных записок о упокоении. После этого настоятель с диаконом и певчими возвращались в церковь, а рядовые священники по просьбе верующих еще долго ходили по участкам и служили для желающих панихиды и литии приватным образом. Такая практика возродилась совсем недавно, после празднования 1000-летия крещения Руси в 1988 году. При коммунистах посещать кладбища священникам запрещалось.

В том году Пасха случилась довольно поздняя, и было уже тепло. Погода стояла чудесная. По небу весело бежали белые кучевые облака. Из-за старинного обычая сажать на могиле березку, старое кладбище со временем превратилось в настоящий лес, в котором помимо белоствольных, налившихся сладким соком красавиц, столь милых русскому сердцу, попадались и ярко-зеленые елочки, и клены, и дубки. Они уже распускали первые нежные листочки, радующие глаз свежей зеленью после долгой зимней спячки и однообразия черно-белых тонов. Птичьи голоса неслись отовсюду, порою заглушая пение утомленного причта. Зяблики, синицы, овсянки, скворцы и дрозды-рябинники — все находили здесь убежище и вносили свою лепту в общее радостное многоголосье.

Пока диакон осипшим голосом (он прочел сегодня вслух сотни записок с именами почивших) оглашал бесконечный список покойников, отцу Петру, как это частенько случалось с ним при посещении кладбищ, пришли мысли о собственной смерти. Он смотрел на свои мускулистые руки с крепкими толстыми пальцами, с розовыми блестящими ногтями, и силился представить, как он состарится, ослабеет и больше не сможет носить свое тело на обессиленных, распухших ногах (почти все священники к старости маются ногами из-за постоянного изнурительного стояния на службах, у них это профессиональная болезнь). Ему придется опираться на

палочку, как вон та старушка слева, а потом… Потом тело совсем перестанет ему повиноваться и, возможно, он сляжет и будет лежать беспомощно, как колода, и ждать, когда кто-нибудь перевернет его на другой бок. Да и будет ли рядом такой человек, способный перевернуть столь большое и грузное тело?

Отец Петр вспомнил слова одного знаменитого проповедника: «Самым важным моментом в жизни человека является смерть». Как сказал! В самую точку! Святые отцы много рассуждают о смерти и о памяти смертной. Неоднократно ими приводится мысль, что сознание неизбежности кончины пресекает поползновение ко греху. Обычно молодые люди редко задумываются о конце. Им кажется, что впереди еще уйма времени. С отцом же Петром все было иначе. Однажды он поделился невеселыми мыслями о собственной кончине с одним старым и совершенно одиноким протоиереем — вдовцом, предполагая найти сочувствие. Пожилой батюшка ответил следующее: «Да. Думаю, каждый человек опасается того же, что и ты. И меня посещают подобные мысли. Тогда я делаю вот что». Тут он подошел к высокому шкафу с книгами и вытащил толстый том старинного издания с надписью: «Преподобных отцев Варсануфия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни». Открыв тематическое оглавление и найдя нужное место, прочитал вслух: «Ответ 144-й. Некий брат, впадший в болезнь и боясь умереть в ней, просил с большим смирением Великого старца о прощении ему грехов и о терпении, потребном в болезни до конца. Старец отвечал ему так: «Не скорби, брат: смерть без грехов — не смерть, но переход от скорби к покою, от тьмы в неизреченный свет и жизнь вечную…»»

«Ну, отец Петр, ты все понял? Если увидишь эту книгу, не пожалей никаких денег, приобрети ее. Здесь ответы на все вопросы и о жизни, и о смерти».

После панихиды к отцу Петру приблизились две пожилые женщины и попросили посетить их кладбищенский участок. Подбросив угля в кадило и двинувшись в указанном направлении, священник услышал, как староста прихода, с которой у него не складывались отношения, довольно громко сказала ему в спину: «Ишь, пошел калымить!» Он не показал виду, что услышал это колкое замечание, сколь грубое, столь и несправедливое, но старостиха эта управлялась на приходе еще с советских времен и привыкла помыкать священниками. Ее давно нужно было переизбрать, но настоятель медлил по каким-то своим причинам.

Отец Петр, имея маленьких детей, действительно нуждался в приработке, но он знал, что на кладбище много не заработаешь. Начиналось время пресловутых ельцинских «реформ» и народ обнищал. Ему просто было приятно доставлять людям радость. Ведь живые всегда чувствуют себя должниками по отношению к покойникам и всякая служба, помин усопших удовлетворяет это чувство. К тому же, ему было просто интересно наблюдать за людьми на кладбище, как они по-разному относятся к таинству смерти. И если он чувствовал, что скорбь велика, непременно говорил слова утешения, цитируя Священное Писание или высказывания святых. И иногда он видел, как осушаются слезы, разглаживаются морщины и даже рождаются слабые улыбки на просветленных лицах слушателей, как ценят люди не столько слова, сколько искреннее участие. Нет, он никогда не считал бесплодными эти часы, проведенные на кладбище.

На этот раз, после перечисления довольно значительного списка покойников с большого огороженного высокой чугунной оградой участка, принадлежавшего пригласившим его женщинам, отец Петр отправился за маленькой сухонькой старушкой на одинокую могилу ее погибшего сына. И здесь он отслужил панихиду, а затем еще две-три в разных уголках кладбища. Отец Петр бродил по этому городу мертвых и рассматривал могилы и памятники. Он с удовлетворением видел, что все больше, особенно на недавних могилах, ставится православных крестов и все меньше нелепых пирамидок с пятиконечными звездами. А на

памятниках реже возникают языческие надписи, типа «Зачем?» (вот уж совсем не христианский вопрос), а все чаще изображается все тот же символ победы над адом и смертью — Животворящий Крест Господень. Эстетическое чувство, в высокой степени развитое у отца Петра, страдало лишь, когда он наблюдал изобилие искусственных аляповатых, грубых цветов на могилах. Их продавали у входа на кладбище и многие их покупали, хотя эти цветы, слишком яркие и безжизненные, вносили какую-то пошловато-карнавальную ноту в общую строгую и печальную кладбищенскую симфонию. «Живых цветов еще нет, вот они и украшают могилы, как умеют» — утешал сам себя священник.

К нему подошла худенькая девочка лет двенадцати с длинной русой косой и кудряшками, выбивающимися из-под тонкого платочка. Взглянув на отца Петра большими серьезными голубыми глазами, она произнесла тонким голоском: «Батюшка! Мой папа просит вас пройти к нам вон туда. Там похоронена наша мама». Священник поспешил на зов. У одинокой могилы, поверхность которой уже покрылась молодой зеленой травкой, стоял мужчина лет сорока с печальным лицом, держа за плечи мальчика лет 7–8, во все глаза рассматривающего подходившего иерея. Мужчина посторонился, давая проход к могиле. Отец Петр привычно подбросил ладану в кадило и начал панихиду. Во время каждения могилы, украшенной красными горящими свечками, горкой крашеных яиц и посыпанной крошками кулича, он украдкой наблюдал за семьей почившей и увидел, как по лицу вдовца скатываются слезы, как на его руки капает воск со свечи, а он, не замечая ничего вокруг, смотрит куда-то вдаль. Девочка истово крестилась и кланялась, заботливо снимая, время от времени, наплывы растаявшего воска со свечей, своей и брата. Мальчик внимательно и немного испуганно смотрел на отца и сестру и иногда торопливо крестился, подражая старшим и как бы стараясь не отстать от них. Закончив пение, отец Петр пошарил в карманах подрясника, нашел два крашенных яичка с переводными картинками и подарил детям. В ответ девочка протянула ему свой дар — яйцо, искусно покрытое разноцветными крапинками. «Это Симочка сама разрисовала — пояснил отец, — она у меня старательная, все делает, как большая: готовит, моет, убирает. Ей Маша (покойная жена) перед смертью так и сказала: «Оставляю папу и Павлушу на тебя». Она от рака умерла. Вот мы ходим сюда часто, почти каждую неделю, а послужить редко удается, так что спасибо вам батюшка». «Приходите к нам в церковь. Панихиду послужим, а будет возможность, и на кладбище съездим» — пригласил священник.

Отец Петр закончил свое служение, когда солнце клонилось к закату и кладбище почти опустело. Голос охрип, и ноги гудели от усталости. Он неторопливо шагал по песчаной дорожке между разнокалиберными оградами и оградками, меж высоких и низких крестов и памятников из камня, железа и дерева и думал о том, что завтра его очередь крестить в храме, как понаедут родители с младенцами, крестными, бабушками, дедушками и прочей родней. И все будут кричать, суетиться, плакать, смеяться и радоваться. Жизнь продолжалась.

## Мороз

Уже битый час отец Василий стоял на обочине дороги. Лютая уральская зима была в самом разгаре, и он начинал мерзнуть. Стыли ноги в поношенных сапожках, а пальцы рук в шерстяных перчатках начинало сводить. «Надо во что бы то ни стало добыть валенки, да валенки, а то, если свалюсь, все пойдет прахом», — стуча зубами, рассуждал он. Еще неделю назад было довольно тепло, всего –10° и, когда встал вопрос о теплой обуви, он решил повременить и купить шубку старшей дочери, хотя матушка Нюша отговаривала — она помнила, как он мучился в прошлом году. Вызовов на дом было много, а собственные машины в то время (начало 1980-х) были еще редкостью и ездил отец Василий Колодин, настоятель маленькой церкви крошечного поселка Урман, на требы на попутках. Вот и сейчас его вызвали причастить и пособоровать умирающую в деревню за 20 километров, а транспорта нет. И в

обычное время мало оживленная трасса, при 30° мороза совсем пуста. Отец Василий начинает притоптывать, ходить взад-вперед, хлопать свободной рукой (в другой у него специальный «требный» портфель со всей необходимой амуницией) по бедру, чтобы заставить кровь веселей бежать в жилах.

Однако слишком активно двигаться он не может, так как на его груди дароносица со Святыми Дарами, а полы рясы подняты вверх на плечи и стянуты вокруг туловища. Сверху одето широкое пальто, маскирующее священника от не всегда доброжелательных любопытных взглядов (не забудем: у власти в стране еще коммунисты и враждебность к Церкви и ее служителям в обществе не преодолена). Вместо скуфьи на голове отца Василия меховая ушанка с завязанными под подбородком клапанами, почти скрывающая покрытые сосульками волосы на бороде. Глаза слезятся от мороза, нос посинел, а дыхание облаком вырывается изо рта. Его начинает познабливать и, недавно появившаяся боль в груди ледяным молоточком толкается в легких, раздирающий кашель рвется наружу и в этот момент боль резко усиливается, как будто в грудь ткнули ножом.

«Что-то не так — понимает отец Василий, — лишь бы не слечь, лишь бы не слечь» — словно заклиная, бормочет он. «Господи помоги! Святитель Николай! Пошли «лошадку»!» И тут в клубах мелкого снега появляется обледенелый грузовик. Священник поднимает руку, машина останавливается и видно, что кабина занята, значит, придется лезть в открытый кузов. Отец Василий хрипло кричит шоферу название пункта назначения и, встав на заднее колесо, переносит ногу через борт грузовика. Кузов пуст — порожняк. У задней стенки кабины куча брезента — есть, где присесть. Священник, сгорбившись, прижимается спиной к борту, кабина частично защищает от встречного вихря. Положив портфель на колени, он придавливает его локтями, а кисти засовывает в рукава пальто. В этом положении он будет трястись не меньше получаса.

Машина с ревом трогается с места, пассажира швыряет вперед, потом отбрасывает назад, поземка со свистом летит в лицо и пудрит усы и ресницы. Отец Василий терпеливо переносит все неудобства. Ему не привыкать. До семинарии он был десантником. Его товарищи дивились, узнавая об этом, уж больно добродушный и «штатский» вид был у Васи Колодина и не походил он на бравого щеголя и атлета в берете, с грудью колесом и стальными мышцами, какими мы привыкли видеть «крылатых пехотинцев» на экранах телевизора.

— Ты что, и с парашютом прыгал? — спрашивали у него.

— Прыгал.

— Сколько раз?

— Пятнадцать.

— Страшно было?

— В первый раз. Меня прапорщики просто выпихнули из самолета, да и не только меня. Потом ничего. Привык.

Ежегодно 2 августа на Ильин день после службы в храме отец Василий отправляется праздновать день ВДВ. Таким образом, у него двойной праздник. Ряса снимается. Из шкафа извлекается китель со значками, тельняшка, голубой берет, все, как положено. На встрече с однодивизниками в райцентре он не напивается до бесчувствия, не купается в фонтане, не бьет морды «чуркам» на базаре, не затевает потасовок с милицией и не совершает прочие подвиги, столь излюбленные десантурой. Просто, после дружеской беседы на традиционном месте

встречи — полянке за городом, друзья и соратники идут в ближайшее кафе, где вскладчину устраивают скромный праздничный обед и поют песни, свои, десантные — хриплыми голосами под гитару, не очень умело, но зато с большим чувством. Немного выпивают, не без этого. Тут отец Василий дает себе маленькую поблажку, всего раз в году, но не допьяна, так что матушка уже и не тревожится и сама гладит и чистит его форму накануне торжественного дня.

Василий поступил в семинарию уже женатым. На втором курсе у него родилась дочь. Семинарское начальство старалось дать возможность «женатикам» поскорее окончить курс и отправиться на приход, так что Духовную школу он завершил за два года вместо положенных четырех, и отправился на родину — на Урал. Теперь у него небольшой приход и множество обязанностей, так как он единственный священник на площади в 300 квадратных километров. Правда, население здесь немногочисленное, а поселки разбросаны далеко друг от друга. В Урмане у отца Василия родилось еще семеро детишек. Нюша смотрит за малышами и ведет домашнее хозяйство. Она у него молодец! В период учения в семинарии она содержала семью, устроившись нянечкой в детском саду. Отец Василий вспоминает то время и улыбается про себя, забывая про стужу и холод, ползущий под грубую ткань пальто. Трудно было. Сейчас куда легче! Вот только бы не заболеть, не заболеть!

До места он доезжает совсем занемевший, с трудом разгибается и спрыгивает с кузова. Хорошо, идти недалеко. В жарко натопленной избе ему наливают стакан горячего чаю, и он выпивает его залпом, даже не ощущая, что это кипяток. В соседней комнате лежит больная старушка, к которой его вызвали. Только в конце чина соборования отец Василий немного отходит. Его уговаривают подождать, погреться, но попутка из деревни отъезжает в Урман через 10 минут и он, закончив требу, торопится обратно, надеясь, что теперь уж поедет в кабине с водителем. Не ту-то было! Оказывается, другая пассажирка — женщина с ребенком. Не посылать же их в кузов! И покорный судьбе батюшка снова трясется наверху под свист, встречного ветра. Озноб бьет его, не отставая и в голове гудит. Ему кажется, что он снова в армии. Сидит в самолете лицом к лицу со своими товарищами. Натужно воя, лайнер кругами поднимается выше и выше. Лица солдат бледнеют, не слышно обычных шуточек и перебранок. Глаза у мальчишек, как плошки — первый прыжок. Он снова переживает его. Опять видит внизу далекие квадраты полей и змейки дорог. Они приближаются, затем — бах! И он падает на землю, как учили, слегка согнув ноги в коленях. От толчка просыпается и видит, что машина стоит около его церкви. Приехали!

На другой день по настоянию матушки отец Василий идет в поселковый медпункт. Ему назначают рентген. Он терпеливо ждет результата. Лицо молодого врача делается серьезным и строгим: «У вас плеврит». «Вот оно! — вяло думает больной, недаром мне было так плохо». Его переводят в стационар и сразу отправляют на «откачку». Отец Василий торопливо пишет записку матушке и ложится на хирургический стол, прикрыв глаза. Придется семейству и прихожанам пока обойтись без него.

## Память вечная

*«В память вечную будет праведник»*

(Пс.111:6)

Белый потолок, белые стены, железные кровати… Как часто священник Ростислав Потемкин видел все это в истинной юдоли печали, как выражались в XIX веке, ну а проще сказать, в онкологическом отделении городской больницы. Он бывал здесь часто по вызовам и к нему привыкли. Спеша к больному в палату со Святыми Дарами или готовясь к соборованию, отец Ростислав не спрашивал «где это?», а уверенно шел по коридору в нужную палату, на ходу

здороваясь с персоналом. Заведующий отделением благоволил священнику и иногда приглашал его в кабинет для беседы. Канули в лету те времена, когда пастыря не пускали к больному. Старые враги «советской выдержки» часто в подобных случаях чинили препятствия, но потом под давлением и «сверху» и «снизу» отступили, уступили, разрешили, вернее вынуждены были разрешить, да и осталось их не много в результате смены поколений. В умах и душах многих людей произошел переворот, многие вернулись к Православию, зато здравоохранение деградировало. «Батюшка! Ну, найдите нам хоть кого-нибудь! Нету нянечек!» — взывала старшая сестра. Отец Ростислав только руками разводил. Младшего медперсонала катастрофически не хватало. Ну, кто же пойдет на тяжелую, грязную, неприятную работу за нищенскую зарплату?

И все же ему удалось уговорить двух девушек из числа своих прихожанок — студенток медицинского училища, поступить на работу в «онкологию». Мать одной из них в студенческие годы сблизилась со студентом из Танзании, поэтому Ниночка была негритянкой, вернее мулаткой. Когда отец Ростислав впервые встретил Ниночку, она была издерганным нервным подростком. У нас все-таки не Америка и ребенку с темным цветом кожи жилось несладко — дети порой, как известно, бывают жестоки и многие не упустят случая поглумиться над «черномазой», «Читой», «людоедкой». После нескольких встреч и разговоров со священником Ниночка перестала дичиться, а со временем полюбила бывать в храме, где все к ней относились подоброму, а среди маленьких прихожанок у нее появились подруги. Когда девочка подросла, и возник вопрос о выборе профессии, батюшка пожелал взять Нину к себе в хор. У нее был хороший, низкий, своеобразного тембра альт, вероятно унаследованный от африканских предков, и она очень красиво читала «Апостол», но регент установил, что кандидатка, к сожалению, совершенно лишена музыкального слуха, что весьма досадно и непоправимо. Вот тогда и решили послать Нину с подругой Дашей в медучилище.

Даша тоже прихожанка отца Ростислава, говорливая, веселая, пригожая девушка. Вместе они поступили, вместе и закончили сие заведение и вдвоем же поступили в «раковое» отделение. Кокетка Даша продержалась месяц, поняв, что ежедневное созерцание людских страданий и смерти не для нее. Кроме того, все сотрудники онкологического отделения пожилые люди и строить глазки здесь некому. Даша перевелась в платную поликлинику и состояла теперь при заведующем — молодом перспективном враче, по слухам, готовящим сенсационную диссертацию. Другое дело Ниночка. Сердце священника всякий раз переполнялось гордостью, когда старший персонал или больные хвалили заботливую сестру: и умелая она, и отзывчивая, и надежная, и ласковая! И даже ее необычная наружность нравилась им. У Ниночки были большие блестящие черные глаза с пушистыми ресницами, в которых сияла се чистая душа, и сияние это достигало чужих сердец.

Теплым весенним днем двери в палаты оказались открытыми и, следуя в конец коридора, священник услышал разговор больных: «Я вам говорила: все попы миллионеры! Вот и этот на «Мерседесе» приехал. Ишь, какую тачку отхватил! А на какие шиши, спрашивается? Обдирала и есть обдирала!» Тихий старческий голос что-то возразил. «И не говори мне об этом! Он что, сюда задаром ходит? Небось и ты и каждый ему в руку что-то сует. Будет он в эту богадельню зря ездить!» Отец Ростислав только ухмыльнулся. В молодости, когда он начинал свое служение, его до глубины души огорчали подобные высказывания. Теперь он относился к ним иначе, по-философски, стараясь на практике применить святоотеческий совет: относись одинаково и к тем, кто тебя хвалит, и к тем, кто хулит.

Дело в том, что его машина, его верная «девятка» неожиданно сломалась, и все попытки завести ее своими силами кончились неудачей. Тут, к счастью, в храм завернул какой-то бизнесмен — поставить свечку, охотно согласившийся подбросить батюшку до больницы. Вот откуда взялся «Мерседес». Узнал он и голос, приписывающий сребролюбие всему духовенству.

Он принадлежал женщине средних лет с прооперированной грудью по имени Зинаида. Ее место слева у окна. Когда на прошлой неделе отец Ростислав соборовал больную из этой же палаты — двадцативосьмилетнюю мать двоих маленьких детей с опухолью в мозгу, эта особа ему всячески мешала. Когда священник зажег положенные при елеосвящении семь свечей, скандалистка заявила, что задыхается от чада. Напрасно другие обитательницы палаты пытались ее успокоить. Чем больше они ее уговаривали, тем громче она кричала и под конец устроила настоящий концерт с закачиванием глаз под лоб и пусканием пены изо рта. А поскольку Екатерина — больная, к которой вызвали священника, в результате своего недуга несколько повредилась в рассудке и стала раздражительной и капризной, пастырь оказался между двух огней — среди женщин, бьющихся в истерике. С трудом нашли компромисс — Екатерину вместе с кроватью вынесли в коридор, где отец Ростислав и совершил Таинство.

Потому он не удивился, слыша обличение из уст Зинаиды. Было бы странно, отнесись она к духовенству иначе. Прослужив достаточное время, иерей ясно понял: семидесятилетняя атеистическая пропаганда сделала свое черное дело. У некоторых «Иванов, не помнящих родства» до сих пор все, связанное с верой и церковью вызывает отторжение и пройдет Бог знает, сколько лет, прежде чем положение изменится к лучшему. Он знал также, что большинство его собратьев-священников вообще не берет денег с болящих, особенно тяжелых, за требы в больнице. Сам он поступал несколько иначе. В большинстве случаев к больному священника вызывали заботливые родственники. Они же и оплачивали требу, но сколько раз, приехав причастить и пособоровать одного, отец Ростислав приобщал еще троих-четверых, а то и больше. Все, даже самые одинокие и бедные старушки старались его хоть как-то отблагодарить, и он понимал, что отказ от вознаграждения оттолкнет и обидит их. Потому поступал так: брал с благодарностью, что ни давали — тысячу или десять рублей, иногда просто пару яблок или апельсин. Если не давали ничего — не просил и не требовал. Иногда даже сам незаметно оставлял на тумбочке у кровати больного пару сотен, когда попадались особенно бедствующие.

Сегодня же он спешил к своей недавней знакомой Варваре Михайловне Поспеловой, безнадежно больной, как было ему известно со слов главврача. Старушка с пожелтевшим высохшим лицом лежала на высокой, чисто застеленной постели, укрытая простыней до самого подбородка. При появлении священника опущенные веки взметнулись вверх, открывая еще не совсем потухшие бледно-серые глаза и две худые руки, высунулись из-под простыни, сложившись для принятия благословения. Сидящий у изголовья юноша, держащий в руках толстую раскрытую книгу, тоже привстал, приветствуя вошедшего иерея. «И ты здесь Вася?» «Да. Читал Псалтирь для Варвары Михайловны».

Этот Вася — семинарист из областного центра, уже второй сезон появлялся в поле зрения отца Ростислава. Родители семинариста имели дачу поблизости от его прихода. Хотя иерей повидал множество бурсаков и сам когда-то учился в духовных школах, Василий не переставал его удивлять. Все свободное время юноша отдавал церкви: пел, читал на клиросе, помогал убирать и украшать храм, ездил со священником на требы, звонил в колокола, помогал гладить облачения и всегда с готовностью отзывался на всякую просьбу. Именно он первый познакомился с Варварой Михайловной, на которую ему указала одна прихожанка. Во время очередного посещения «онкологии» Вася приблизился к священнику и тихо сказал: «Тут я со старушкой одной познакомился. Она такая… необыкновенная! Всем, говорят, помогала. Настоящая «Русь уходящая»»! И под действием этой красноречивой рекомендации отец Ростислав не преминул познакомиться с Варварой Михайловной, оказавшейся совсем незаурядным человеком.

Старушка прожила долгую и трудную жизнь, сохранив верность Богу и церкви и один этот факт уже достоин почтения и удивления, если не забывать, какое было время. Она и детей

воспитала в вере и благочестии. Рано лишившись мужа, поднимала их одна, умудряясь при этом еще и помогать другим людям. Но даже не это удивляло священника. Он и прежде не раз встречал таких тихих праведниц, и они не были ему в диковинку. Поражался он Васе. Ну, какой двадцатилетний парень ясным майским днем будет сидеть в душной палате ради чтения умирающей старушке? А он приходил сюда почти ежедневно. Варвара Михайловна привыкла к Васиному присутствию и радовалась всякий раз его появлению. Попутно гость оказывал разные мелкие услуги и другим болящим: то подушку поправит, то стакан чаю подаст. Делалось это так естественно и просто, что даже самые стеснительные и нервозные больные не чувствовали неловкости от этих знаков внимания. Очевидно, у этого семинариста был особый талант общения с людьми. Его открытое и нелицемерно доброе отношение согревало сердца несчастных, порой озлобленных страданиями людей, собранных в «онкологии». А отец Ростислав не раз говорил про себя: «Ну, этот всем нам десять очков форы даст. Настоящий прирожденный пастырь! Из таких в прежнее время миссионеры формировались, чтобы целые народы к Богу приводить».

Все было приготовлено к соборованию. На тумбочке у изголовья стояла миска с рисом и стаканчиком, наполненным маслом и вином, в окружении семи тоненьких свечек. Быстро облачившись, отец Ростислав начал: «Благословен Бог наш…» Вася басом пропел: «Ами-инь». Запахло ладаном и воском. Больные приумолкли, вслушиваясь в незнакомые слова молитв, причем каждый реагировал согласно своему настрою: большинство — сочувственно, кое-кто равнодушно, но враждебно настроенных в этой палате не было. Василий сноровисто помогал священнику, то беря из рук кадило, то читая глуховатым баском «Апостол», то поддерживая и поворачивая руки беляшей во время помазания. К концу Таинства старушка, кажется, совсем обессилела — глаза закрылись, дыхание стало редким. И вот, после седьмого помазания отец Ростислав положил ей на голову Евангелие и прочел последнюю молитву. Почему-то многие считают, что Таинство Елеосвящения (соборования) проводят только над умирающими. Из-за этого родственники часто медлят с вызовом священника, боясь напугать больного или сами не веря в его скорую кончину. И напрасно. Соборование совершается как раз с целью исцеления.

У этого Таинства есть и другое замечательное свойство — оно снимает неосознанные и забытые грехи. Вот почему оно важно: даже если человек вскорости умирает, грехи, по выше приведенным причинам не исповеданные, ему прощаются. У Варвары Михайловны после совершения над ней этого замечательного Таинства последовало улучшение самочувствия. К сожалению, оно было не долгим, и через одиннадцать дней она умерла. После отпевания отец Ростислав и Вася, который вычитал всю Псалтирь полностью у гроба почившей, были приглашены на поминки. Сын и дочь Варвары Михайловны жили в другом городе и оба были скромными служащими, поэтому угощение оказалось недорогим. Однако, почтить память усопшей явилось не менее 60-ти человек. На отпевании храм был полон, как в двунадесятый праздник.

Теперь эти люди толпились в маленькой полуторной квартирке, и каждый подходил к детям покойной не с пустыми руками. Приносили банки солений и маринадов, конфеты, фрукты, какие-то полуфабрикаты, кто что мог, кто чем был богат, и рассказывали разные истории из жизни покойной. Кого-то она выручила деньгами, причем в такую минуту, что хоть в петлю… Другому вовремя дала добрый совет, что иногда дороже денег. Третью прятала от разъяренного мужа-алкоголика. Тому крестила детей, ту пустила к себе жить, когда собственные дети выгнали из дома и т. д. и т. п. до бесконечности. Каждый, буквально каждый гость, какого угодно возраста и пола рассказывал подобные случаи, выслушивая которые отец Ростислав вспоминал историю гибели Содома и Гоморры, когда ради десяти праведников Господь обещал помиловать весь город. Для него было совершенно очевидно: покойная раба Божия Варвара одна из таких десяти, благодаря которым и стоит их город.

## За ящиком

Стоять за церковной кассой, так называемым «ящиком», совсем не простое дело. Обычно продают церковную утварь (свечи, иконы, крестики и прочее) и принимают записки о здравии и о упокоении приходские старосты, казначеи или их помощники, но на одноштатном приходе все иначе — людей не хватает и за ящик встает и матушка настоятеля, а то и сам настоятель. Народ у нас все еще мало церковный, поэтому иногда задаст задачки, которые простая бабушка-прихожанка, пусть даже облеченная определенной властью и доверием приходского совета, решить не в состоянии. Она ведь не училась в церковно-приходской школе (те, которые учились до революции, уже вымерли) и не изучала Закон Божий.

— Где подать записку «за здорово живешь?»

— Что такое «внембо»?

— Можно в записке поминать католиков?

— Дайте мне икону Божией Матери, но не с мальчиком, а с девочкой (?).

Мое доверенное лицо — старушка Раиса Ивановна довольно легко справляется с первым пунктом, второй и третий ставят ее в тупик, четвертый поражает откровенной тупостью. Она бежит ко мне за разъяснениями и мне приходится выяснять, откуда взято непонятное слово. «Ну, батюшка, это на Рождество поют: «… внембо звездам служащим звездою учахуся…»» «Так это не одно слово, а несколько; «в нем бо», то есть «ибо в нем», имеется ввиду «в событии Рождества»». В записках можно поминать только православных. На домашней молитве допускается помин инославных — протестантов, католиков, армян. Умалчиваю о том, что есть и другие мнения. Сейчас неуместно заводить дисскусию на данную тему.

В записках почему-то особенно достается новопреставленным. Их обзывают то «новоприставленными», то «по новой представленными», а один раз мне написали «ногу приставленную». Иногда в записках попадаются дополнительные сведения о поминаемых: «Помянуть Петра- прелюбодея» или «Ивана-коммуниста» (это еще в советское время). Выдают не только имя, но и фамилию и отчество, что совершенно излишне, иногда возраст: «старца», «младенца», что не необходимо, но допустимо. Однажды о здравии поминали «раковичку Ирину» и весь алтарь гадал: то ли она отроковица, то ли больная раком? Часто пишут сокращенные имена: Таня, Фрося, Миша. Но это еще ладно, а вот поминали как-то о здравии Ролика, так с большим трудом удалось выяснить, что это Роланд- тоже имя популярное на Западе, но в святцах отсутствующее. Трудность в том, что священнику приходится читать записки вслух и на ходу «преображать» такие имена в полные, настоящие. Но тут уж ничего не поделаешь, ибо в большинстве своем записки пишут старые люди, порой с больными глазами, не всегда достаточно образованные, часто страдающие склерозом. Одна бабулечка принесла записку о здравии «Коляна», «Вована» и проч. Выяснилось, что записку под ее диктовку писал внук. Прежние старушки, родившиеся и воспитанные до 1917 года, в церковных вопросах порой были весьма сведущими. Нынешние же — поколения 20-х — 30-х годов не имеют понятия об этих предметах. В молодости они по известным причинам были лишены церковного образования, а в старости запомнить что-то новое гораздо сложнее, хотя ныне духовной и церковной литературы просто море.

Особая проблема с мусульманами. Поминают Муххамеда, Али, Мусу, Ахмета. Объясняем: иноверцев писать нельзя, ведь они даже не христиане. «Так мой муж татарин. Что ж, мне его не поминать?» «Если он крещен в Православии, то национальность не имеет значения, но если он мусульманин, в церкви за него молиться нельзя». «Что вы понимаете! Бог для всех един!»

«А ты чего за него вышла? Тебе русских мужиков не хватает?» Приходиться вмешиваться и объяснять, что «Боги» у нас разные. У нас Святая Троица, у них Аллах. В чине перехода из ислама в Православие есть отречение от лживого бога Аллаха и от лжепророка его Муххамеда. Христа мусульмане признают, но считают Его пророком, а не Богом. И кстати, по исламским законам, жена-христианка для мусульманина считается просто наложницей, а дети признаются законными, только если примут ислам. Об этом не знали многие наши соотечественницы, опрометчиво выскочившие замуж за иностранцев с Востока.

Вопросы, недоумения: «Что такое сорокоуст? Нужно ли на него устраивать поминки? До какого срока покойник считается «новопреставленным»?..» и т. д., до бесконечности. Продавец за ящиком должен обладать большим запасом духовной прочности, чтобы не сорваться, не нагрубить, не оттолкнуть. Он должен спокойно реагировать на выпады и неуместные выражения: «Нравится мне эта братва!» — заявляет бритоголовый дюжий мужчина, показывая татуированной рукой на икону новомучеников Российских, — «беру ее всю». «Куда ставить свечки за упокой? А за здравие? А где этот канун?» — и так с утра до вечера. Лично я доволен людьми, стоящими за ящиком в моем храме, потому что прихожане, пришедшие к нам впервые, частенько благодарят их и обещают снова прийти в наш храм.

## Алешин день

Алеша проснулся около 8 часов утра. За окном было еще темно, а полная тишина в большой коммунальной квартире свидетельствовала о том, что все уже ушли: взрослые на работу, а два брата Антипины в детский сад. Алеша подивился: спал настолько крепко, что не слышал их утренних воплей и ссор. Антипины теснились вчетвером в комнатушке в 12 квадратных метров. Папаша Антипин почти не просыхал, а его горластые отпрыски вечно выясняли отношения вне семейной жилплощади — в коридоре, в кухне, в ванной — им явно не хватало места. Вчера Алексей сильно утомился и спал без задних ног. Утром он смутно помнил, что мама поцеловала его на прощанье и торопливо сказала несколько слов, наверное, как всегда: «Бегу на работу. Суп и второе в термосе. Позанимайся музыкой». Он — полусонный, толком не разобрал, но обычно она говорит что-нибудь в этом роде.

Однако, сейчас еще рано. Можно немного поваляться в постели, благо учится он во вторую смену. Уроки и музыка немного подождут. Алеша смотрит в большое заиндевелое окно. Ишь, как его изукрасило! Причудливые узоры, словно затейливой резьбой покрывают стекло и за ним ничего не видно. Значит на улице мороз и снег, наверное, не выпал. Хорошо, потому что лед на дворовой «коробочке» (импровизированном катке) по-прежнему гладкий и можно будет сыграть в хоккей с другом Илюшей. Вчера Илья похвастался новой клюшкой, подаренной родителями и надулся от гордости. У большинства мальчишек (и у Алеши тоже) клюшки самодельные из двух палок, прибитых под углом друг к другу. Они то и дело ломаются от ударов, и их приходится часто ремонтировать. То ли дело клюшка из магазина! Но она стоит дорого. У Алешиной мамы таких денег нет. Впрочем, он вовсе не огорчается — знает, Илюша ему, как лучшему другу, даст поиграть дефицитной клюшкой. Скорее бы! Но сначала надо выполнить ежедневные рутинные обязанности.

Алеша решительно откидывает теплое одеяло, встает и идет в ванную мимо длинного темного коридора, в который вглядывается с некоторой опаской — там абсолютная тьма, ничего не видно, а если звенит звонок, приходится бежать к двери с риском налететь на соседский шкаф или сундук. В коммуналке каждая семья платит за какое-нибудь помещение. За коридор платят Великановы. Они не разрешают зажигать свет в коридоре днем из экономии. Хотя Алеша уже большой — ему 8 лет, он все же немного боится темного коридора. Тетя Рита — мать братьев Антипиных подобрей и, заметив его страх, позволяет зажигать свет в той части коридора, где комната Антипиных.

Алеша наскоро заканчивает свой туалет и приступает к завтраку. По настоянию мамы он всегда ест в комнате за столом, а не в кухне, как зачастую делают соседи. Посуда и еда аккуратно прикрыты розовой салфеткой. На завтрак сегодня два бутерброда с маргарином и чай в термосе. Жильцы на кухне пользуются керосинками, а это техническое средство пожароопасно, потому мама оставляет ему еду в термосах — все сохраняется тепленьким.

Теперь за уроки. Попыхтев немного, Алеша решает арифметическую задачу и наскоро делает упражнения по русскому. Так… По литературе задали прочесть отрывок… Можно не делать, он его уже раньше читал. Теперь музыка. Мальчик нехотя достает из чехла, обшитого «чертовой кожей», маленькую скрипку, ставит на пюпитр ноты и долго мрачно смотрит на них, В музыкальную школу он поступил по настоянию мамы. Особых музыкальных талантов не имеет, а главное не имеет никакого вкуса к занятиям. Медленными движениями натирает он смычок канифолью, натягивает волос при помощи винта и, вздохнув, прикладывает инструмент к левой ключице. Раздаются резкие скрипучие звуки — конский волос соприкоснулся с жилами струн.

Поскрипев минут пять, музыкант останавливается, задумывается и, отвернувшись от постылого «упражнения», начинает тихонько наигрывать «Песню Вани» из «Ивана Сусанина». Эту вещь он играл в прошлом году. Она простая, но Алеше нравится. «Си, си, до, ля, фа диез, соль, ре» — шепчет мальчик, двигая смычком. Мама говорит, что по-настоящему эта опера называется «Жизнь за царя». Зажмурив глаза, он начинает представлять себе заснеженный еловый лес, старого крестьянина без шапки, с всклокоченными волосами, брошенного в сугроб и разъяренных врагов вокруг него, размахивающих саблями. Крестьянин смотрит спокойно и грустно, поднимает правую руку и медленно крестится… Не закончив песню, Алеша опускает смычок и нерешительно кладет инструмент в футляр. Занимался всего 10 минут. А, ладно!

Мальчик подходит к окну и долго дышит на стекло, пока во льду не появляется маленький «глазок», через который виден двор их большого мрачного дома. На дворе пока — никого. Тем не менее, мальчик начинает одеваться. Выглаженная одежда висит на стуле. Всегда, как себя помнит Алеша, мама встает раньше него, а ложится много позже. Утром завтрак всегда на столе, а одежда вычищена, выглажена и бережно сложена.

Нахлобучив меховую шапку с ушами, ребенок берет самодельную клюшку через плечо и выходит из квартиры, тщательно заперев дверь на два оборота. Ключ висит на шее под одеждой, так что риск потерять его сведен к минимуму. Подойдя к соседнему подъезду, Алексей достает маленький самодельный свисток и дважды дует в него. В окне второго этажа появляется стриженая голова Илюши, а через пару минут хлопает дверь подъезда, выпуская мальчишку на холодный воздух. В руках Ильи новая вожделенная клюшка, заботливо обмотанная свежей изолентой. Друзья бегут на «коробочку», где в игре и радостной беготне незаметно минует два часа. Пора обедать и в школу.

Разгоряченные мальчишки прощаются у подъезда и договариваются, кто к кому зайдет перед школой. Алеша отпирает дверь и видит зажженный в коридоре свет. Это в обеденный перерыв забежала соседка тетя Рита — худая изможденная женщина, работница местного завода. Сейчас она гремит кастрюлями на кухне. Всюду разносится неприятный запах жареной рыбы. Все соседка делает наскоро — торопится опять вернуться вовремя на работу. Пробегая мимо Алеши, старательно отворачивает голову вправо, но мальчик замечает багровый синяк у нее под глазом. Значит дядя Вася опять бил жену. Он делает это часто — всегда, когда напивается. Соседские дети при этом пугаются и громко ревут. Семейство Великановых потише, но с Антипиными сильно не в ладах — почти не разговаривают.

Алеша откручивает крышку термоса и заглядывает внутрь. Там картофельное пюре и кусочки рыбы из банки «щука в масле». На катке разыгрался аппетит, и все съедается без остатка и

запивается сладким чаем. Раздается три звонка. Это Илья зашел перед школой. Друзья неохотно бредут к своей Alma mater. По дороге к ним присоединяются другие мальчики, которым по пути. Закинув ранцы за спины, компания исчезает за воротами школы. Занятия завершаются, когда уже стемнело. Вяло обсуждая события школьного дня, та же группа лениво бредет домой, мечтая об ужине и отдыхе.

Алешина мама еще не пришла. Наверное, опять задержала заведующая. Мама хорошо рисует и теперь перед Новым годом эти ее способности бессовестно эксплуатируют: мама выпускает стенгазету, делает украшения для детской елки и т. д. Затем, опаздывая, она с боем садится в переполненный автобус и едет усталая и измученная домой, на другой конец города.

Алеша достает из потайного убежища маленькую коробочку — свою копилку и пересчитывает желтые и серебристые монетки. Их оказывается на 75 копеек. Он бережно складывает их обратно. Это остатки денег на школьные завтраки и мороженое. Если он увидит, что мама снова вздыхает и вытряхивает пустой кошелек, он опять подойдет к ней и скажет: «Мамочка! А я опять немного денег скопил. Возьми, пожалуйста». И отдаст ей все, пусть порадуется и не плачет. Вот когда он вырастет, он заработает много-много и мама никогда уже не загорюет, что у них нет денег.

## Тропинкой Гоголя

Крепкими, жилистыми, мозолистыми руками Володя подтянул подпругу, предварительно слегка шлепнув по брюху Мальчика — коренастого мерина-полутяжеловоза белой масти, по обычаю всех лошадей, понявших, что их седлают, раздувшего живот. С Володей я познакомился через своих приятелей, живших по соседству — в Абрамцеве. Володина же избушка в Глебове, вернее сказать, на хуторе, в лесу, метрах в пятистах от деревни. Он построил ее своими руками, этими самыми, умелыми и неутомимыми руками, которые успешно управлялись и с зубилом, и с топором, и даже с гитарными струнами, руками, с которых я начал свой рассказ. Размеры его скромного жилища не превышали 9-ти квадратных метров. Большую часть площади занимала русская печь с лежанкой. На оставшемся пространстве разместились стол и две лавки, так что двигаться в избушке можно было лишь вокруг своей оси, каковое обстоятельство мало смущало хозяина, поскольку в избушке он только спал, проводя остальное время дня в бесконечных хозяйственных хлопотах на открытом воздухе.

Рядом с избушкой находилась конюшня, служившая убежищем не только Мальчику, но также козам и кроликам. С другой стороны избушки стояли ульи, и мимо них шла тропиночка в лес к роднику. По обе стороны тропки располагались картофельное поле и огород. Подходы к дому охраняла старая лайкообразная сука Найда, поднимавшая тревогу при приближении постороннего человека, но лишь этим и ограничивающая свои охранные функции, ни на кого не набрасываясь. Кроме упомянутой живности, вокруг домика всегда шныряли три-четыре кошки, без которых жизнь в лесу невозможна из-за убийственного количества мышей.

Семья Володи проживала в городе Хотьково. Там у него имелась квартира, но большую часть жизни он проводил в Глебово, а жена и дети регулярно его навещали. Володю нельзя с полным правом назвать фермером, ибо он где-то числился сторожем и подрабатывал плотницким ремеслом, но хозяйственная деятельность играла решающую роль в формировании доходов его семьи. Кое-какую прибыль приносил Мальчик. На нем хозяин пахал, перевозил грузы, ездил в лес, да мало ли дела для коня в сельской местности! А еще летом Мальчик катал туристов верхом, зимой — на санях. Помимо прочего, Володя единственный известный мне бортник. Теперь все забыли, что это такое, а ведь, когда еще не было разборных ульев, мел добывали из бортей — колод, повешенных на деревья.

Как-то при мне Володя приволок с помощью Мальчика три громадные колоды и долго их обрабатывал топором и стамеской, а потом повесил в глухом месте, где чужой недобрый глаз не заметит. Так ведь еще надо знать, как эти борти делать и как вешать! А он знал. Вообще он необычный и интересный человек: спокойный, немногословный, роста небольшого, но сильный, выносливый и подвижный, опытный охотник и лесовик. Свои угодья изучил досконально. Знал каждое дерево и каждую поляну. Я любил посещать его, покататься на Мальчике, отведать свежего медку. После верховой прогулки мы сидели, смотря по погоде — или снаружи, за врытым в землю столиком, или внутри избушки, где приятно по-домашнему пахло дымком, шерстью и травами, за чаем с медом, и вели разговоры. Володя человек думающий, религиозный и, несмотря на занятость, читающий.

При первом знакомстве с конем, когда я шел к Мальчику с пучком травы в руке в качестве гостинца, коварный мерин схватил зубами рукав моей куртки. Затем, когда я с помощью хозяина взгромоздился на него, пустился вскачь с места, не разбирая дороги, проверяя, как я перенесу столь стремительный аллюр и не «запашу ли редьку», то есть, не слечу ли на землю? С трудом удалось удержать коня натянутыми изо всех сил поводьями. После этой «проверки» Мальчик пошел неспешным шагом, изредка, после понуканий, переходя на тряскую рысь. В дальнейшем он больше не делал попыток меня кусать и милостиво позволял сидеть на своей спине, что я оценил по достоинству, учитывая свой немалый вес (подобно аксаковскому башкиру Мавлютке, я мог сказать, что из всех знакомых лошадей Мальчик «один меня таскай»). Мерин был настолько сильным, что даже не потел с такой ношей в седле, шагая по лесным тропинкам в течение целого часа.

Все лесные стежки-дорожки он знал наизусть. Бывало, гонишь его прямо, а конь упрямо свернет и пройдет в обход полукругом, минуя какое-нибудь препятствие — большую лужу, лежащее бревно или корягу, которых я и не приметил. Получалось — животное право, а человек ошибался. В дождливую погоду Мальчик делался очень осторожен: ступал медленно, обнюхивал дорогу, особенно на склонах крутых лесных оврагов. Интересно складывались отношения между конем и моим неизменным спутником — таксой Вереском. В качестве городского пса Вереск чуть ли не впервые близко столкнулся с таким чудищем — лошадью. Сначала он попытался запугать Мальчика — бегал с лаем вокруг него и пытался куснуть сзади, но мерин не проявлял ни страха, ни агрессии, как в подобном опыте с коровами, к тому же от хозяина за такое поведение сильно досталось и пес смирился, признал коня и во время прогулок бежал сзади, иногда отвлекаясь немного в сторону ради изучения каких-нибудь интересных объектов по сторонам дороги, а иногда пристраиваясь даже между ног лошади, под ее брюхом. Я опасался, что могучий конь нечаянно придавит малыша, но этого ни разу не случилось — Мальчик ступал так осторожно, а Вереск настолько слаженно двигался с ним «в ногу», задорно посматривая своими глазенками снизу на меня, что мы ко всеобщему удовольствию прогуливались по часу и более.

Иногда конь наклонялся и на ходу тихонько обнюхивал песика, а тот в ответ вилял хвостом. Как чудесно ехать на лошади по лесу! Ныне это мало кому доступное удовольствие. Мотор рычит и распугивает всю живность, но мерный топот копыт не тревожит лесных обитателей. Вовсю поют птицы, жужжат и кружатся насекомые, мыши шуршат в лесной подстилке, а ты сидишь высоко, попирая пространство крепкими ногами коня, порой склоняясь под ветками, раскинувшимися поперек тропы так густо и вольготно, что смотришь сквозь них, как через стенку шалаша, и подставляешь лицо ветерку, несущему нежный запах цветов, смешанный с густым ароматом еловой смолы.

Некоторые дорожки в лесу сильно исхожены, другие меньше, но однажды я выбрался на незнакомую стезю, особенно живописную и красивую. Тропа эта на некотором своем протяжении извивалась между высоких цветущих лип. Такое впечатление, что ты едешь по

аллее к какой-нибудь старинной усадьбе, и сейчас тебе навстречу попадется экипаж, запряженный парой-тройкой лошадей, с кучером на облучке. Как ни странно, ощущение оказалось верным. Когда я рассказал Володе про липовую аллею, он сообщил, что это въезд в усадьбу помещиков Пальчиковых и по этой дороге холил Н.В. Гоголь из Абрамцева, где он гостил у Аксаковых, в Мураново к Баратынскому. И тут я вспомнил рассказ своей покойной престарелой родственницы Елены Андреевны Левенстерн, которая очень давно, еще до революции, молоденькой Левушкой гостила у друзей своих родителей — Пальчиковых, где-то под Хотьково. От усадьбы после всех бурь, войн и революций не осталось ничего, кроме лип, посаженных в рядок, цветущих летом благоухающим цветом. И надо же! Здесь гулял сам Николай Васильевич Гоголь! Наверное, тоже вдыхал сладкий липовый дух и, может быть, дорогой обдумывал свои произведения?

## Элефант

Моя тетка, сестра матери, София Владимировна Огнева (по мужу — хорвату — Микшич) была необычным человеком: доктор биологических наук, почетный гражданин города Сараево, настоящий исследователь-натуралист, она свободно говорила на пяти языках, объездила полсвета. «Не была только в Австралии и Антарктиде», — говаривала тетушка. Происходила она из семьи естествоиспытателей. Известный русский зоолог С.И. Огнев — ее родной дядя. В начале своей деятельности София Владимировна шла по его стопам, занималась териологией (наукой о млекопитающих), но, встретив будущего мужа-энтомолога, увлеклась гораздо менее исследованным миром насекомых.

Обстоятельства сложились так, что впервые свою родную тетку я увидел в девятилетнем возрасте. Мы жили в СССР, она — в Югославии. Но с самого раннего детства я запомнил длинные полосатые конверты, оклеенные яркими марками, в которых приходили пространные и очень интересные тетушкины письма. В них были описания экспедиций и заграничных симпозиумов, рассказывалось о разных странах: о римских катакомбах, об аристократических английских замках, о соборе Парижской Богоматери, о венецианских гондолах, о теплом Адриатическом море, о темнокожих эфиопах, о ливанских кедрах и многом-многом другом, таком необычном, захватывающе-интересном, непохожем на окружающую меня действительность.

В начале 60-х годов отношения между СССР и Югославией потеплели, и тете разрешили приехать к нам. Ее приезд стал событием и надолго запомнился мне. Теперь уже не из писем, а от нее самой я услышал рассказы о путешествиях. Истории эти были чрезвычайно увлекательны и окрашены мягким юмором. В них всегда видную роль играл тетушкин муж по имени Рене, самый удивительный чудак и оригинал, каких я встречал в жизни, почище кузена Бенедикта и Паганеля у Жюля Верна! Он был видным энтомологом, автором ряда книг и множества научных статей, но в житейских вопросах — совершеннейший ребенок. Так что тетя являлась для него не только женой, но как бы и матерью, и нянькой, заботившейся и ухаживающей не только за самим ученым, но и за его громадной коллекцией насекомых, самой большой из частных собраний на Балканах.

Я очень жалею, что не записал по молодости и легкомыслию тетушкины рассказы, а сейчас уже многое забылось. Установить утраченное невозможно, ибо Софии Владимировны уже давно нет в живых, что впрочем, наверное, к лучшему, ибо им с дядюшкой (а скончались они друг за другом в один год) не пришлось пережить весь ужас балканской войны с бомбежками их любимого Сараево… Все же кое-что я помню и по возможности постараюсь передать.

Как я уже говорил, тетя с дядей очень много путешествовали. На поездки уходила значительная часть их немалых доходов. Однажды я спросил, какое место им больше всего

понравилось, где было интереснее всего. «В Кении», — единодушно ответили супруги. Глаза дяди Рене заблестели восторгом: «Кения прекрасна, мой мальчик! Великолепный климат: всегда тепло, около 30° по Цельсию, но не чересчур жарко, потому что высоко над уровнем моря, всюду зелень, цветы. А какое изобилие фруктов и овощей! Масса самых разнообразных животных: слоны, носороги, бегемоты, буйволы, жирафы, львы, леопарды, множество антилоп, и это в таких количествах, какие и не снились европейцу. Народ замечательный: добродушный, веселый, красочный! Удивительное сочетание изысканного комфорта в городах и первобытной дикости за их пределами, в саванне. Но самое главное: Кения рай для энтомолога! Такое изобилие насекомых! Они везде: на деревьях, на земле, в воздухе, цветы буквально облеплены ими. Тропические жуки и бабочки необычайно ярки и крупны, сверкают, как драгоценные камни. Даже тараканы там, в 5 раз больше европейских! Мы были в Кении 8 раз и нигде на земле не нашли места лучше!»

Найроби — прекрасный город, выдержанный в современном стиле в сочетании с местными архитектурными формами. Отсюда специальные автобусы развозят путешественников по национальным паркам и заповедникам. Особенность кенийских резерватов в том, что на их территориях проживают не только разнообразные звери, но и африканские племена, некоторые из них находятся в полудиком состоянии. Из последних самые многочисленные и своеобразные — масаи. Это скотоводческое племя, многие из них из принципиальных соображений не признают европейскую цивилизацию.

Живут, как и 1000 лет назад: пасут крупный рогатый скот, причем мяса его не едят, только пьют молоко, смешивая его с кровью, отчего все коровы ходят с шрамами на шеях, не признают другого оружия, кроме копья с железным наконечником из местной руды. Одежду заменяет красное покрывало, обмотанное вокруг торса. Необычна внешность масаев. Все они очень рослые люди. Для мужчин рост 190 см считается вполне обычным. При этом они худощавы и мускулисты. Женщины бреют головы наголо. На шею, ноги и руки надевают множество браслетов. У масаев обоего пола искусственно растянуты мочки ушей, в которых прорезаны отверстия. Иногда растянутые уши достигают плеч и служат своего рода карманами для всяких мелких предметов. Племя это храброе и воинственное. В свое время сумело победить арабов-работорговцев, вооруженных огнестрельным оружием. Охота для них — второстепенное занятие, но среди масаев попадаются первоклассные ловцы и следопыты. Кое-кого из масаев удается привлечь к работе в национальных парках: егерями, шоферами, обслугой и т. п. Туристам в резерватах позволяется передвигаться только в специальных автомобилях, управляемых местными водителями. Выходить из машин строго запрещается.

Ранним утром к отелю, выстроенному в виде бунгало, но с кондиционером и прочими удобствами внутри, где остановились тетя с дядей, подрулил новенький лендровер. Из кабины вылез шофермасай, приветствовавший гостей на ломаном английском. Это был типичный представитель своего племени: высокий, худой, с оттянутыми ушами, добродушное лицо с белозубой улыбкой. В виде уступки цивилизации на проводнике вместо традиционного покрывала были одеты шорты и рубаха цвета хаки. Зеленую форменную фуражку он держал в согнутой левой руке. Открыв дверцу машины, приветливым жестом пригласил гостей внутрь. Перед тем, как усесться самому, этот славный африканец завернул свои уши спиралью и, соединив на макушке, прикрыл фуражкой.

Суля по манере трогаться с места и стремительно вращать баранку, проводник сидел за рулем во второй или третий раз в жизни, что, учитывая отсутствие дорог в парке, обещало остроту и разнообразие впечатлений. С гулом и ревом, урча на поворотах, «лендровер» рассекал просторы саванны. Звери на автомобиль не реагировали — привыкли. Мимо проносились тонконогие и изящные газели Томсона, большой прайд львов лениво взирал на путешественников и, даже когда вездеход приблизился метров на 20, никто из зверей не

пошевелился. Зебры, жирафы, буйволы, гну, бородавочники — все были здесь и чувствовали себя в безопасности на этом участке заповедной территории.

Автомобиль достиг участка тропического леса. Вот здесь и встретили путешественники большое стадо слонов. Через лес шла грунтовая дорога, и гиганты как раз собирались переходить ее. Первой перешла на другую сторону огромная слониха — вожак. И тут шофер, вместо того, чтобы остановиться и подождать, пока все стадо проследует за своим предводителем, решил не терять времени и проскочить между слонихой и ее соплеменниками. Толстокожую предводительницу этот поступок привел в ярость. Подняв хобот и распустив огромные уши, с трубным ревом слониха ринулась в бой. Перевернуть автомобиль, набитый людьми, какие-нибудь полторы тонны, слону ничего не стоит. Машина только разгонялась, а слониха уже развила порядочную скорость.

Перепуганный шофер выжал педаль газа до отказа. Повернув посеревшее лицо (так негры бледнеют), покрытое множественными капельками пота, масай в ужасе забормотал: «Мадам! Элефант! Мадам! Элефант!» Как будто она сама не видела! Грозный топот все приближался, и уже были видны маленькие злые глазки, покрасневшие от ярости, но тут техника показала свое превосходство над живой плотью: слониха стала отставать, а «лендровер» — от нее удаляться. С перепугу шофер на бешеной скорости выкатил из леса и со всего размаха влетел в болото. Колеса машины стали медленно погружаться в трясину, но, к счастью, остановились, дойдя до осей. Вытащить «лендровер» не представлялось возможным, так как в непосредственной близости от него мирно паслась самка носорога с толстым детенышем. Прекратив жевать траву, эта представительница африканской фауны некоторое время задумчиво наблюдала за странным урчащим существом, выбрасывающим из-под себя фонтаны грязи. Результатом ее раздумий было, к счастью, неспешное отступление вместе с отпрыском. Обитатели автомобиля вздохнули с облегчением, потому что носорожиха вполне могла приблизиться и попробовать «лендровер» на прочность. Только через час, с помощью другой машины, удалось вытащить застрявший вездеход. Итак, впечатлений было с избытком, а встреча с «элефантом» вряд ли когда-нибудь забудется участниками.

## Манящие горы

Я родился в Боснии. Может быть, поэтому так люблю горы. В прежнее время боснийцы шутили: если нашу страну выпрямить, она по площади будет, как Советский Союз. Лично для меня такая метаморфоза произошла реально: в годовалом возрасте меня перевезли из Югославии в СССР. С тех пор до 11 лет я жил на равнине и гор не видел. Как ни величественна Великая русская равнина, покрытая колоссальными массивами леса, в которых теряются островки городов и селений, как ни прекрасны степные просторы с их необозримыми горизонтами, горы меня трогают больше. Они придают пейзажу какую-то особую значительность, величие и красоту. Любая возвышенность никогда не представляется оку однотонной, благодаря игре света и тени, из-за разных сортов растительности ее покрывающей, отличной в оттенках, или в силу отсутствия флоры. В последнем случае горная порода пестрит всеми красками, в зависимости от геологической структуры и угла падения солнечных лучей.

Первыми горами, которые я увидел из окна поезда Москва-Белград, были Карпаты. С лязгом и скрежетом состав мчался между зеленых холмов. Теплый ветер трепал занавески. Взрослые пассажиры спали, а я, не отрываясь, наблюдал через стекло калейдоскоп прекрасных пейзажей: нарядные буковые леса, сменявшиеся у вершин темно-синими пихтачами, тщательно обкошенные полянки с аккуратными стожками сена, многочисленные прозрачные ручьи, низвергающиеся с вершин в долины, редкие маленькие домики с черепичными крышами. Густая растительность придает Карпатам совершенно особое очарование. Голые

скалы и камни гораздо мрачнее.

Динарский массив — та часть Балканских гор, которые составляют территорию Боснии — моей родины, чем-то напоминают Карпаты, но они выше и скалистей. Впрочем, лишь немногие вершины достигают высоты 2000 метров или немногим больше над уровнем моря. Сараево — город, куда я попал во время своего первого большого путешествия и где жила моя тетушка София, лежит в горной котловине. Впечатление такое, будто ты сидишь на дне огромной чаши и куда ни посмотришь — всюду видишь крутые стены. Самая высокая гора в окрестностях Сараева — Требевич. К ее вершине провели канатную дорогу. Четырехместная кабинка забрала меня, маму и тетушку с ее мужем-энтомологом дядей Рене. По подрагивающему толстенному канату наш вагончик медленно полз наверх, а внизу по склону Требевича лепились домики сараевской окраины. Ясно виднелись фруктовые сады, минареты, маленькие обработанные поля, разгуливающий скот и люди, занятые своими делами, привычные к движению вагончиков над головой. Странно было все это видеть сверху. Потом под ногами появился лес. Вершины некоторых деревьев, казалось, заденут пол кабины. На краю глубокой пропасти прилепилась старинная турецкая крепость, сложенная из подручного материала — карста. Эта твердыня когда-то прикрывала дорогу с юга — от Адриатики. Местами лес был вырублен, и освободившееся пространство заросло орешником. Дикие орехи здесь никто не рвал, должно быть хватало грецких. Только дядюшка Рене, державший дома ручную белку, раз в год набивал превосходными лесными орехами большой рюкзак, и белочке хватало запасов на целый год.

Когда мы доползли наверх, город, раскинувшийся внизу, выглядел не больше муравейника, если смотреть на него с вершины высокого дерева. Река Миляцка, забранная в гранит, казалась не шире тесемки, а уличный грохот, затруднявший общение на улицах, походил на пчелиное жужжанье. А ведь мы поднялись всего лишь на 1500 метров!

Впоследствии я облазил немало боснийских гор, чему способствовала и профессия моей тетушки. Она была энтомологом, и ежегодный полевой сезон проводила в экспедициях. Несколько раз я сопровождал ее, и эти поездки оставили неизгладимое впечатление. В горах меня очень занимало классическое деление на ландшафтные зоны. У подножия начинается широколиственный лес, где растут дубы, буки, липы, клены. Повыше начинается зона хвойных деревьев: ели, сосны, пихты. А затем пояс альпийских лугов с их разнотравьем и обилием насекомых. Выше уже становится прохладно, травка укорачивается и повсюду россыпи камней. Если гора достаточно высока (выше 2000 м), появляются пятна снега. Речь, напомню, идет о балканских горах.

В других горных массивах картина несколько иная: деление на пояса не такое четкое и снега можно не встретить в летние месяцы даже на высоте 4000 м. Некоторые массивы, особенно в соседней с Боснией Герцеговине (одна из республик бывшей Югославии так и называлась «Босния и Герцеговина») почти лишены растительности, и вы идете по голым камням, кое-где покрытым серо-зеленой плесенью. Такие горы выглядят зловеще, и от них веет чем-то инопланетным, неземным. Но что всегда веселит слух, вкус и взгляд в Балканских горах, так это обилие воды: всюду звенят ручейки. Много источников, речушек и озер со студеной, чистой, вкусной, бодрящей водой, в некоторых случаях, минеральной. Журчание ручейков вместе с нежным звоном ботал, подвешенных к шеям пасущихся коров и овец, создают неповторимую, чарующую музыку Динарских гор. Я и сейчас слышу ее, как наяву. Часто, в тяжелые минуты, я вызывал в памяти эти мирные баюкающие звуки, вдыхал воображаемые запахи смолы и таволги, смотрел на ветхие домишки пастухов, крытые дранкой, курящиеся ароматным дымком из примитивных, первобытных очагов, и мне казалось, что я, если не в раю, то где-то поблизости от рая, и душа успокаивалась.

Следующей горной страной, какую довелось увидеть, стал Алтай. Я пересек его по Чуйскому тракту на грузовике зоологической экспедиции, где числился рабочим, из конца в конец, до самой монгольской границы. Здесь все было совсем иначе, чем в Югославии. Мы просто ехали на грузовике по широкой и неровной дороге. Машина то и дело подпрыгивала и сотрясалась вместе со всем содержимым, так что участники экспедиции хватались обеими руками за сидения, чтобы не пробить головой потолок фургона. Вроде бы все время поднимались, но это как-то не очень было заметно. Потом выяснилось, что мы уже на грозном перевале Чикет-Аман на высоте 2400 м. Все деревья по обеим сторонам дороги были увешаны выцветшими тряпочками — так алтайцы умилостивляют злых духов гор.

Затем мы потихонечку стали спускаться. Кругом темнели крутые хребты, увенчанные белоснежными шапками нетающих снегов. Самым захватывающим зрелищем стал закат в Чуйской степи — огромном высокогорном плато, простирающимся до самой Монголии. Здесь зубчатые гребни гор как бы расступились, образовав широкую и ровную многокилометровую площадку, посыпанную песком и щебнем с редкими купами кустарника и полыни. Пояс гор вокруг был двойным. На переднем плане темнели лесистые вершины, покрытые хвойными породами. За ними возвышались, слепя глаза, сахарные пики более высоких хребтов. Когда солнце коснулось их вершин, вся палитра красок чудесным образом изменилась. Тайга у подножий стала темно-лиловой, а снега окрасились в бледно-алый цвет. Это явление продолжалось несколько секунд, но увиденное с лихвой окупало дальность путешествия и трудности пути. Затем светило скрылось из глаз, как будто на холст набросили черную вуаль, а потом задул ветер такой силы, что чуть не сорвал брезентовый навес над нашим бивуаком, а температура с +25° сразу упала на десять делений.

Самым красивым местом, где мне довелось побывать, я считаю Абхазию, эту волшебную страну моря и гор! Где еще увидишь такое богатство растительности? У берега моря пальмы, кипарисы, магнолии, акации, катальпы. В горах: бук, дуб, граб, каштан, липа, клен, самшит, лавровишня, рододендрон. В садах вызревают, кроме традиционных мандаринов, даже латиноамериканская диковинка — фейхоа. В засушливом Средиземноморье флора гораздо бедней. Нигде больше я не видел деревьев таких исполинских размеров: 8 и более метров по длине окружности! Реки Абхазии: Бзыбь, Келасури, Гумиста многоводны и чисты. А озера Рица и Амткел прекраснейшие в мире.

В 1997 году я совершил паломничество в Святую Землю. Паломничество достойно отдельного рассказа, поэтому в данном случае я затрону лишь «горную» тему. Палестина тоже большей частью горная страна. Знаменитая Елеонская гора (гора маслин, масличная) вблизи Иерусалима, на восток от него. Это место часто упоминается в книгах Нового Завета. На западном склоне ее находится Гефсимания, место упокоения Божией Матери, а у подножия ее протекает поток Кедронский. Елеон называют также горой Вознесения, так как именно отсюда Господь вознесся на небо. Вифлеем — город рождения Спасителя стоит на горе и это одно из красивейших мест Палестины.

Поднимался я и на Кармил в пещерный храм святого пророка Илии. Именно здесь он испросил дождь на землю после трехлетней засухи, здесь низвел огонь на приготовленную жертву и одолел жрецов Ваала. Само название «Кармил» переводится как «Плодоносное поле» и действительно, почва ее когда-то славилась плодородием и рожала оливы, виноград, прекрасные деревья и цветы. Но с пророческих времен климат Святой Земли стал более суровым — еще более жарким и засушливым — и ныне на Кармиле растительность скудна. Преобладает голый камень, пышущий жаром, и вся эта громада грозно возвышается над сверкающим стальным блеском — Средиземным морем.

Побывав во всех местах, связанных с евангельской проповедью Спасителя и отслужив

воскресную службу в иерусалимском Храме Воскресения, я однако ж был лишен возможности увидеть гору Преображения — Фавор, так как время нашего паломничества было ограничено. «Фавор н Ермон о имени Твоем возрадуются» (Пс.88:13) — восклицает псалмопевец Давид. Ермон — высочайшая вершина хребта Антиливан, покрытая снегом даже летом. В наше время евреи — выходцы из СССР катаются здесь на лыжах. Наверное, это единственное место в раскаленной Палестине, где подобное удовольствие доступно.

Прежде, чем попасть в Святую Землю наш паломнический корабль подплывал к горе Афон. Путешествие наше началось 1 октября в Одессе, которая встретила нас холодным дождем. Люди одели плащи и куртки. Пока плыли по Черному морю мы их так и не снимали, но когда прошли Дарданеллы, оказалось, мы вернулись в лето. Было раннее утро. Я поднял голову с каютной койки и поглядел в иллюминатор. Передо мной громоздилась вершина, очертания которой показались удивительно знакомыми. Я сотни раз видел ее на картинках и фотографиях. Это и был Афон. Поспешил на палубу. Погода стояла чудная. На небе ни облачка, на море штиль. Воздух напоен совершенно особым ароматом, как в церкви после службы: запах средиземноморских пиний и кипарисов смешивался с испарениями морской воды, и вместе это напоминало благоухание ладана. Было тепло, так тепло, что хотелось нырнуть в тихую соленую воду и всласть поплавать. К громадному сожалению всего мужского состава нашей паломнической группы, сойти на берег нам не позволили. В тот период между Московской Патриархией и Константинополем, которому подчиняются афонские монахи, в том числе и русские, возникли серьезные разногласия из-за Эстонской Церкви, так что пришлось ограничиться разглядыванием Святой Горы в бинокль и прослушиванием лекции о монастырях Афона. Затем к нам на корабль доставили святые мощи великомученика Пантелеймона и главу старца Силуана.

На обратном пути из Иерусалима мы посетили Италию и Турцию. После целого дня хождения по прекрасному городу Неаполю, нас посадили в автобус и повезли на обед в ресторан, расположенный в самой высокой точке города. По дороге у автобуса лопнуло колесо. Ремонт отнял целый час, потому что запасной камеры у шофера не оказалось и за ней пришлось посылать куда-то далеко. Все, кроме меня жалели о потерянном времени, но дело в том, что эта маленькая неприятность произошла на вьющейся серпантином дороге, высоко над морем, и отсюда открывался чудесный вид на город и Неаполитанский залив.

Мне вспомнилось детство, школа, урок географии. Я смотрю на тусклую черно-белую картинку с видом Неаполя: древний город с узкими улочками, широкая гладь залива, слева черный, как будто обугленный, Везувий, справа прекрасный остров Капри, на первом плане сосна — раскидистая пиния… Я гадаю: «Увижу ли эту красоту когда-нибудь?» Увидел. Даже пиния перед глазами, точно такая же, как в учебнике географии, но не тускло-серая, а нежно-зеленая, живая. Тут же и грозный Везувий, из жерла которого когда-то вырвалась смерть и унесла жизни жителей Помпеи и Геркуланума, и справа Капри — последнее прибежище императора Тиверия и предпоследнее — «пролетарского писателя» Максима Горького.

Тут же в памяти непроизвольно всплывает рассказ интеллигентной старушки, которая в 1920-х годах устроилась работать в одну из питерских библиотек. В библиотеку иногда заглядывали рабочие кировского завода и просили дать почитать что-нибудь стоящее. Она дала Горького, полагая, что для них это самое подходящее чтение, но пытливые пролетарии возразили: «Не хотим читать мужикастые книги. Дайте лучше Пушкина, Гоголя или Тургенева». Даже в то далекое время наш народ вполне мог обойтись без нянек и сам понимал, что почем.

Впоследствии довелось достаточно поездить по странам Средиземноморья и полюбоваться гористыми побережьями Далмации, Турции, Греции, Италии. Это горы сравнительно невысокие, скалистые, небогатые растительностью. Здесь отчасти вина человека: неумеренный

выпас скота, пожары и прочее. Возможно, пару столетий назад они были зелеными. Помню, в Хорватии телевидение все время сообщало о самовоспламенении как о причине большинства пожаров на Адриатике. Стекло брошенной бутылки под горячими лучами балканского солнца может сыграть роль линзы — воспламенителя. Сухая лесная подстилка, усыпанная мертвыми иглами пиний, вспыхивает мгновенно…

Крым, как известно, тоже относят к средиземноморской зоне. Мне довелось побывать там незадолго до отделения Украины. Было начало июня. Бода в море еще не прогрелась, и от купания удовольствия было мало. Зато мы много ездили по побережью в окрестностях Ялты. У подножия гор вдоль шоссе густо золотились неизвестные мне цветы, похожие по типу соцветий на дикий горошек, только крупнее. На ходу в открытые окна машины врывался их аромат, настоянный на смолистом соке сосен и кипарисов. Давно известно, что запахи пробуждают воспоминания. Это благоухание возвращало меня в детство. Я снова поднимался по крутым отрогам Требевича вслед за тетушкой, таща свой маленький рюкзачок, навстречу новым впечатлениям и приключениям.

## Встреча с морем

Я часто думаю о том, как трудно сочинять и писать в XXI веке. До нас столько написано и рассказано! И кем? Величайшими, гениальными мастерами слова. Я уж не буду перечислять имена. Каждый может при желании припомнить таковых с десяток и более. Какую ценность для литературы представляет, например, мое описание солнечного заката? Да его видели до меня миллиарды людей и сотни писателей всех времен и народов его изображали. Так что же, отказаться от описания закатов и прочих картин природы? Рассказывать о явлениях и событиях только новейших, неведомых предшественникам? Но тогда повествование утратит яркость, лиричность и красочность и станет сухим и сжатым. Некоторые писатели так и поступают, ибо иные жанры вроде бы исключают лирический элемент, скажем столь популярные в наше время детективы. Там главное интрига, изображение лиц, в ней задействованных и развязка, хитроумная и редко угадываемая читателем. Или мемуарная литература… Зато в других жанрах без красот природы просто не обойтись. Пускай сотни миллионов глаз это видели и тысячи рук запечатлели, я лично вижу это в миллион первый раз и вижу по-своему, как никто другой лицезреть не может. Созданный Богом мир столь разнообразен, что всей мудрости и наблюдательности человеческой не исчерпать его до конца! Каждый в нем может найти что-то свое особенное, незамеченное другими, и рассказать об этом людям. Поэтому расскажу о своей встрече с морем, вернее морями, может кому-то будет интересно?

В первый раз я увидел море в пятилетнем возрасте из окна вагона. В этом смутном, мимолетном впечатлении есть какой-то промыслительный элемент, так как море это почти исчезло, от него остались лишь жалкие фрагменты. Это было Аральское море, и я увидел его в 1960 году, когда мы с мамой ехали в Ташкент к ее подруге детства тёте Оле. Я помню только долгую остановку поезда, пустынный берег и сверкающую гладь воды под нестерпимо палящим солнцем.

Вторая встреча с морем стала более основательной. Море было Адриатическим и я прожил на его берегу долгих счастливых пятнадцать дней. Все эти две недели я и море были неразлучны, потому что мы жили на маленьком острове и шум волн покрывал все другие звуки и днем и ночью. Под отдаленный грохот прибоя я засыпал и под него же просыпался утром. Я все еще был ребенком, но уже одиннадцатилетним и свои тогдашние впечатления хорошо помню. Тогда я впервые вошел в прозрачную соленую воду и увидел первых морских обитателей: актинию, рака-отшельника и морского ежа. Ощутил упругую силу волн и вдохнул ни с чем не сравнимый морской запах, включающий в себя множество элементов, разделить которые в

полной мере человеческое обоняние не в состоянии, тут и йод, и гниющие водоросли, и рыба, и солнце и еще многое и многое, в совокупности хорошо узнаваемое даже на значительном удалении от берега.

С помощью взрослых я как-то очень быстро научился держаться на воде, а вскоре и поплыл. Забегая вперед, могу сообщить, что в техническом отношении мое умение плавать осталось на том же уровне. Прибавились только сила и выносливость. Быстро плыть я до сих пор не умею, но медленно передвигаться, равномерно загребая руками и ногами, могу хоть целый день. Несколько позже я научился и нырять, но не глубже 5-ти метров. Этих умений для меня вполне достаточно, чтобы в полном довольстве проводить время у воды.

На острове хорошо замечалась разница между приливом и отливом. Во всех других местах на морских побережьях, где мне довелось побывать, эта разница так в глаза не бросалась. Моя ученая тетушка довольно доходчиво мне объяснила это природное явление и его связь с фазами луны.

Тогда же я пережил и первый шторм, должно быть балла в три. Мы плыли на катере из Дубровника на Локрум (так называется наш остров). Нас энергично подбрасывало и порой обдавало холодными брызгами, что приводило в восторг меня и других детей, путешествующих на катере. Я сидел на скамейке или по-морскому «банке», крепко держась за борт, и смотрел на вздымавшиеся валы, воображая себя то Синбадом-Мореходом, то капитаном Куком, то пиратом в одном лице. Катер из-за волнения не смог пристать в обычном месте и пришвартовался на промежуточной пристани, причем мужчины (и я с ними) удерживали нашу посудину у причала с помощью двух канатов, пока сходили женщины и дети.

Я часто приходил на берег и часами смотрел на море. Море мне никогда не надоедало. Цвет воды все время менялся, как выражение лица тонко организованного человека. Временами оно было голубым и малоподвижным, почти гладким, как большой пруд, темная глубокая синь концентрировалась внизу, а верхние слои воды соперничали чистотой и прозрачностью с небом. Иногда же море слегка волновалось, и гребни волн принимали зеленоватый оттенок, сгущавшийся у основания валов, а когда оно громко шумело и начинало бить о берег, валы вспенивались курчавой белизной и швыряли брызги, летевшие на десятки метров вглубь берега. Во время же шторма вода темнела, сорвавши со дна кусочки водорослей и таща пригоршни песка. Шум волн переходил в неистовый рев, а волны ударялись о прибрежные скалы с такой бешеной силой, что вспоминался рассказ о бакенщике, жившем на маяке всего в паре километров от Дубровника на крошечном островке. Однажды во время сильнейшей бури на Адриатике волны достали до его жилища на 15-метровой высоте и хлестали в иллюминатор. Бакенщик сошел с ума от страха.

Третьим морем в моей жизни стало Черное. Туда я попал уже взрослым, отправившись в свадебное путешествие в Одессу. Понятно: в этом случае море отступило для меня на второй план и я уделил ему меньше внимания, чем в детстве, но отметил для себя некоторые его специфические черты, в частности значительную опресненность по сравнению с Адриатикой. В Одессе я довольно успешно рыбачил с помощью дотоле неведомого мне «самодура». Это (для непосвященных) короткая толстая леска с множеством крючков, на которые в качестве приманки навязываются тонкие красные ниточки. На конце лески тяжелое свинцовое грузило. Снасть погружается в воду и вытаскивается через 3–4 минуты. За это время на крючки попадается 4–5, а то и больше ставрид, которые видимо без ума от красных ниточек. Чудеса, да и только! Другой лакомой добычей были креветки, которые в одно прекрасное утро вдруг заполнили прибрежные воды. Мы ловили их сачками, банками, рубашками и просто руками.

Впоследствии я бывал на Азовском, Средиземном, Мраморном, Балтийском морях и о каждом

мог бы что-то рассказать. Надеюсь, что список этим не ограничится. К тому же, я еще не видел ни одного океана, но все равно, детские впечатления от первых встреч со стихией самые трогательные и самые яркие.

## Старый плащ

### 1

Моя покойная мама, учившаяся до Второй мировой войны в русской гимназии в Югославии, рассказывала, как однажды учительница русского языка и литературы задала им сочинение на тему: «Старинная вещь рассказывает свою историю». Вот это тема! Не то, что в советской школе: «Как я провел лето» — это значит грибы, купанье, удочки. И я подумал: тема годится не только для школьно-гимназического сочинения, но и для вполне «взрослого» рассказа, если убрать «сказочный» элемент и не вести повествование от первого лица. Судите сами, что у меня получилось.

Вот он, старый военный плащ. Висит на вешалке. Зеленый, точнее, цвета хаки, как и положено предмету офицерского обихода. Плащ длинный и широкий. Такой укроет самого крупного мужчину. Изнутри ткань прорезинена, поэтому он практически непромокаем. В любую, самую ненастную погоду вы и ваша одежда под ним останетесь сухими. Снаружи плащ несколько выцвел, полинял, как форма боевого солдата, подвергавшаяся воздействию всевозможных природных катаклизмов от проливных дождей до колючего, режущего лицо, снега. Кое-где видны какие-то мелкие пятна россыпью. В этих местах ткань почти белая, как будто пятна старательно пытались вывести. И вывели, но окружающая материя теперь оказалась темнее, чем на пострадавшем участке. В трех местах плащ слегка порван, но заштопан, судя по всему, не очень умелой, не женской рукой, зато толстыми суровыми нитками и заштопан надежно. В двух случаях штопка приняла такой же оттенок выцветшего хаки, как и весь фон, в третьем — нитки более свежие.

Первым хозяином плаща стал тридцатилетний капитан ВВС Владислав родом из Подмосковья. В начале 90-х годов XX века служил он на Украине. Воинская часть с громадным аэродромом дислоцировалась на окраине небольшого городка в 20-ти километрах от побережья Азовского моря. Места жаркие, степные, славные своими фруктовыми садами. Здесь даже городские аллеи обсажены не липами, каштанами или кленами, как в других местах, а персиками, сливами, яблонями и черешней. Ешь — не хочу! Маленькие дети Владислава — мальчик и девочка, объедались этими фруктами. Каждое лето отец с двумя-тремя приятелями-сослуживцами приезжали в какой-нибудь заброшенный совхоз с семьями и набирали черешню ведрами. Со сторожами договор был «фивти-фивти»: ведро вам, ведро нам. Набранные ягоды по отлаженной цепочке шли в Москву тоннами (ведь к сторожам приезжали не только офицеры), а из доставшейся военным доли устраивали пир: варили компоты, давили соки и конечно ели в натуральном виде до упаду. У детей в это время был настоящий праздник. Какой только черешни не было в садах! И алая, и розовая, и желтая, и темно-красная, и почти черная. По вкусу разная — от медовой сладости до лимонной кислинки. Постелет мать плащ на землю, чтоб детишкам не было сыро, взрослые вывалят на него ведро ягод и они ползают по плащу взад-вперед, давя и поедая спелую черешню, обливаясь соком и поднимая к солнцу перепачканные рожицы.

Владислав попал в М. сразу после училища и все ему завидовали — место считалось удачным. А ведь у него не было никакого блата, никакого родственника в генштабе. Просто однажды, в конце его обучения в военном училище, произошло ЧП — пожар. Тогда курсант Владислав, рискуя собственным здоровьем и даже жизнью, спас дорогостоящую военную технику. О том, что именно он сделал и что сохранил, капитан со свойственной военным сдержанностью,

никогда не распространялся, но факт, что пред строем ему вынес благодарность сам начальник училища, а замполит с глазу на глаз пообещал позаботиться о его распределении. И позаботился. Молодой лейтенант, только что женившийся, поехал на Юг к теплому морю, тогда, как большинство его товарищей попало на Север и Дальний Восток. Первые годы службы прошли вполне благополучно: получил квартиру, родились дети, появились друзья-однополчане, начальство благоволило. Правда, жизнь офицера ВВС вовсе не мед. Она подчинена строгому распорядку, раз и навсегда заведенному, и оставляет мало свободного времени для отдыха и семейных радостей.

Затем началась война в Афганистане. Правда, Владислав непосредственно участия в боевых действиях не принимал, так как, во-первых, служил в транспортной авиации, а во-вторых, будучи по специальности авиаинженером, отвечал за электронное оборудование самолетов. Его задачей было подготовить и проверить авиаоборудование на земле, чтобы в небе у летчиков уже не было никаких проблем. Однако громадные транспортные «Русланы» в то время только поступили на вооружение армии и мало кто понимал что-либо в их сверхсложном радио-электронном оборудовании. Откажи оно во время полета и громадный лайнер окажется гробом для нескольких сот людей и многочисленной дорогущей техники, вроде танков, БМП и прочего. Владислав же заслуженно слыл спецом в своем деле. Поэтому часто его товарищи-летчики просили, просто умоляли: «Лети с нами! Как бы чего не вышло!» И он соглашался и летел в Кабул, хотя делалось это тайно и незаконно, так что даже жена про эти полеты не знала.

Был, конечно, риск попасть под обстрел. Пустит какой-нибудь «дух» «Стингер» с плеча и пиши, пропало! Но все обошлось. Супруга Владислава все же что-то подозревала, так как со слезами заставила мужа надеть тоненький серебряный крестик на шею — благословение Троице-Сергиевой Лавры. Владислав было уперся. Он был не то, что неверующий, а так, невоцерковленный. Вырос в атеистической семье, где никто не молился и в церковь не ходил. А вот его жена — другое дело, бегала, таясь, в местный храм и все ставила свечки за «воина Владислава». Еще один характерный для воинской среды штрих: все летчики на «Руслане» имеют парашюты на случай аварии. Владиславу, как непредусмотренному пассажиру, парашют не полагался. И вот, весь экипаж из солидарности свои парашюты оставлял на земле, тем самым оказывая нашему герою беспримерное доверие.

Однажды «Руслан» с Владиславом на борту обстреляли моджахеды. Капитан видел из иллюминатора яркие вспышки в скалах, проплывавших далеко внизу. Вспышек было много, и он ясно видел: эти люди в скалах — враги, одержимые желанием убить его — Владислава и оставить вдовой его молоденькую хорошенькую жену и сиротами его малышей. Он сам не помнил, как схватил крестик на цепочке, прижал его к губам и мысленно воззвал: «Господи помоги! Господи спаси!» но уже спешила подмога. Из-за гребня горы вынырнули три вертолета, очевидно поджидавшие «Руслан» на подлете к Кабулу, и открыли огонь «нурсами» по огневым точкам противника. «Руслан» благополучно приземлился в столице Афганистана. Молодой капитан стеснялся рассказывать кому-либо про эти тяжелые минуты, но для себя сделал выводы: очевидно Господь слышит его молитвы, а также молитвы его супруги. Наконец, из Афганистана мы ушли, и наш герой продолжал служить на Украине.

Однако спокойствие и стабильность пропали. Военные чувствовали это острее чем штатские «в миру». Напрасно Владислав отгонял дурные предчувствия, стараясь отключиться от внешних забот и нестроений в лоне семьи. Слишком уж быт и все существование офицера завязано с его главным делом — службой. Кругом соседи — такие же офицеры, товарищи по оружию, их жены и дети — соседи по дому. С ними встречаешься повсюду: в магазине, в клубе, в бане. И от общего предчувствия беды никуда не деться. Союз дал трещину. Началось отделение Украины от России. Как будто военнослужащие уже были подготовлены к этому трагическому акту

грозными событиями на Кавказе и в Прибалтике, но все равно, крах СССР, разделение армии, и ее имущества по национальному признаку потрясали, возмущали, ставили в тупик.

Власти «Нэзалэжной» распространили среди офицеров анкету, в которой был и такой вопрос: «В случае войны Украины с Россией, на чьей стороне будете вы?» Это было неслыханно, как гром среди зимы: единый народ разделяли, рвали с кровью все родственные связи, растаптывали общее славное прошлое, натравливали обе ветви единой нации друг на друга, и за всем этим проглядывала коварная и мерзкая маска исстари знакомого циничного и наглого заокеанского врага, расползающаяся мерзкой, сатанински торжествующей гримасой. Однако, что мог ответить на такой иезуитский вопрос прямодушный русак, уроженец Подмосковья? Прочитав анкету Владислава, командование сообщило, что в его услугах «Свободная Украина» не нуждается. Пусть катит в свою «Московию»! И он покатил. Правда, восвояси отправилась половина офицерского состава.

Любопытно: среди присягнувших Украине оказались некоторые этнические русские, а в рядах беженцев — украинцы. Поделили и имущество. Аэродром, военный городок и три «Руслана» достались Украине. России отдали только один «Руслан», но летчики, невзирая на приказ, ухитрились угнать в Россию еще один самолет, таким образом, Украине досталось два, из которых, как выяснилось позднее, в воздух уже не поднялся ни один. Горючее стоит дорого, и где напасешься авиационного бензина, если «москали» не помогают? Впоследствии украинские «Русланы» разрезали на металл. Владислав повез семью домой к матери в однокомнатную «хрущевку». При увольнении и расчете, как бы в виде компенсации, ему выдали зарплату в украинских гривнах и обмундирование, в числе которого оказался и новый свеженький плащ.

**2**

Этот новичок был темно-зеленым щеголем, ловко сидевшим на широких плечах хозяина, а плащ-ветеран, о котором мы ведем рассказ, уже начал линять. У Владислава имелся свояк — муж свояченицы, то есть младшей сестры жены. Они недавно поженились. Офицер с супругой еще приезжали к ним на свадьбу. Познакомившись с новым родственником, Владислав узнал, что Георгий (имя свояка) страстный рыбак. Военное снаряжение всегда считалось добротным и удобным в походах. Все, кто носил форму, это знают. В частности, офицерские плащи — замечательный подарок рыбаку или охотнику. Владислав подарил старый плащ Георгию. Молодая, но хозяйственная супруга Георгия Марина сочла, что плащ слишком хорош, чтобы грязнить его на рыбалке. «Носи его в городе в ненастную погоду, а когда сносишь, тогда и бери в свои походы» — заявила она. Это был момент материальных затруднений. НИИ, где работал Георгий, дышал на ладан. Зарплата стала ничтожной, да и ту задерживали. Попытки подзаработать молодой супруг предпринимал постоянно, но они оставались мало удачными.

Между тем, Марина забеременела и плохо переносила свое состояние. Трудилась она преподавателем в музыкальной школе и тоже получала гроши. В то тревожное время родители не спешили обучать своих чад музыке. Семья жила в основном на грошовую, но стабильную пенсию Валентины Сергеевны — матери Георгия. Наступило осеннее ненастье. По утрам после скудного завтрака Георгий отправлялся на поиски работы, которые шли с переменным успехом. Иногда ходить (он предпочитал передвигаться пешком, экономя на транспорте) приходилось много и долго. И тут новенький плащ сослужил хорошую службу. Под ним было сухо и тепло. А когда дождь поливал с особой яростью и силой, Георгий нахлобучивал широкий капюшон поверх берета и застегивал его на горле. Тогда голова и лицо находились, словно в трубе, куда не попадали никакие холодные струи, и даже отдельные капли.

Он состоял на учете в бюро трудоустройства, но там ему предлагали то работу кочегара, то

землекопа. Георгий считал это издевательством, справедливо полагая, что инженер с высшим образованием достоин чего-то лучшего. Не то, чтобы он был против физического труда как такового, но кидать в печку уголь лопатой и с перемазанным лицом дышать угольной пылью или стоять в резиновых сапогах в хлюпающей грязью траншее — увольте, это слишком! Георгий неплохо владел английским языком, и раза два ему удавалось подработать переводами. Однако, бюро переводчиков находилось в Москве, а в столице своих специалистов в избытке, так что на его долю больше таких удач не выпадало.

Когда денег совсем не оставалось, молодой инженер шел на рынок. Город располагался всего в получасе езды на электричке от Москвы, поэтому все торговцы, по каким-либо причинам не продающие товар в столице, спешили провернуть свои сделки в ближайшем пригороде. В длинных бесконечных рядах торговали и продуктами и ширпотребом. В основном продавцами были женщины, привозившие товар в громадных матерчатых сумках-баулах. Вот эти баулы и подряжался за скромное вознаграждение таскать Георгий, если у торговки не было спутника-мужчины, которого можно использовать в качестве лошадиной силы.

В тот день ему повезло. Целая компания женщин цыганского обличья столпилась у ворот рынка, громко крича и жестикулируя. Перед ними вздымался Эверест разномастных сумок и узлов. Довольно скоро Георгий выяснил, что дамам не хватает как раз грузчика и предложил свои услуги. Пришлось попотеть, но в результате он получил довольно хорошее вознаграждение и поспешил купить на том же рынке немного фруктов для жены, которая в ее положении нуждалась в витаминах. Он спешил домой, думая обрадовать супругу, но на пороге мать встретила его сообщением, что Марину срочно увезла «Скорая помощь». У нее открылось кровотечение. Тут же, не раздеваясь. обеспокоенный муж собрался в больницу. «Я пойду с тобой» — вызвалась Валентина Сергеевна. «Не надо мама. На улице ненастье, да и идти далеко» (больница находилась на другом конце города). Однако мать настояла на своем: «Ничего. Доберемся. И не волнуйся так. Вог милостив. С женщинами чего только не случается! Мы выносливее вас — мужчин и многое способны перенести». И они вышли вместе — Георгий, кутаясь в офицерский плащ, и Валентина Сергеевна со старым зонтиком в руке.

Непогода, между тем, разыгралась не на шутку. Ветер свистел и завывал, задирая полы плаща и выворачивая наизнанку зонтик. Косые холодные струи летели в лицо и хлестали, как мокрым шлангом. Под ногами слякоть, а весь асфальт там, где он был проложен, скрылся под слоем воды. Мать с сыном долго шли навстречу ветру. Лишь через полчаса они выбрались на финишную прямую — уже на виду у больницы предстояло пресечь территорию каких-то складов. За ними начинался больничный двор. Неожиданно возникло препятствие: в конце переулка путь к складам преградили ворота, которых прежде здесь никогда не было. Вероятно, складские помещения срочно кому-то понадобились. Какой-то «новый русский» купил их для своих целей и для начала обвел высоким забором. Вход теперь был закрыт, а обходить нужно было очень далеко и в такую непогоду для усталых людей просто невозможно.

Впрочем, приглядевшись, Георгий заметил, что ворота не заперты и даже слегка приоткрыты. Обрадованный, он ринулся вперед, таща за собой под руку, уставшую задыхающуюся мать. Вдруг, из будки сбоку от ворот показались два мужика, очевидно сторожа. Один был высокий, грузный, чернобородый в кепке, другой — маленький, худой и шустрый, одетый в ватник и большие резиновые сапоги. «Ну-ка подсоби!» — крикнул бородатый щуплому и они оба, навалившись на воротину, раскачали ее вперед-назад и стали медленно закрывать. «Подождите! Подождите пожалуйста! — срывающимся голосом прокричала Валентина Сергеевна, — мы так спешим! Можно пройти?» «Да, пропустите нас, пожалуйста! — вторил Георгий, — нам скорее в больницу надо!» Но мужики продолжали закрывать створку. «Попустите, пожал…» «Иди, иди! — гаркнул бородатый, — иди отсель! Не положено!» «Но мы опоздаем. Скоро в больницу перестанут пускать. Пожалуйста!» — взмолился Георгий, но дверь

безжалостно закрылась. Этого он уже не мог стерпеть. Все обиды и горечь последних дней, а теперь и тревога за жену и будущего ребенка выплеснулись из души молодого супруга, выразившись в самых отборных выражениях, каких никогда ранее он не употреблял. Мать, слегка остолбенев, воззрилась на сына, не веря своим ушам: как это ее интеллигентный Юрик, тихий и ласковый, вдруг ругается, как портовый грузчик? А сторожа решительно двинулись на него, причем замухрыжка сжимал в руке какую-то железяку.

Как истый интеллектуал, Георгий никогда не дрался и старался избегать конфликтов. Теперь же он сам удивился ярости, которая кипела в его душе. Ему захотелось разорвать и смять этих двух случайных людей, ставших у него на дороге. Размахнувшись, он изо всей силы, но не очень умело, двинул бородатого в зубы. Противник приостановился на мгновение, но снова попер буром. Валентина Сергеевна закричала на весь переулок и повисла на руке сына, стараясь его остановить. Ее любимый сыночек, оказывается, умеет не только ругаться, но и руки распускает! Из-за этого неожиданного препятствия Георгий не смог воспользоваться левой рукой, которой собирался нанести второй удар, и пнул ногой противника в голень. Это было чувствительно — бородач взвыл от боли. В этот момент коротышка замахнулся своей железкой, но инженер успел его опередить и тоже двинул недомерка ногой в живот, после чего тот участия в схватке уже не принимал, достал свисток и засвистел, что есть мочи.

Между тем, бородатый, выплевывая кровь изо рта, бросился на Георгия и мертвой хваткой вцепился в его плащ. Освободиться никак не удавалось — Георгию сильно мешала мать. Напуганная, она, как безумная вцепилась в его руку и кричала. Наконец инженеру удалось скинуть с себя плащ, оставив его в руках нападавшего. Валентина Сергеевна на секунду выпустила сына. Этого момента ему хватило, чтобы бросить на землю бородатого. Георгий уже собрался спешно удалиться, уводя мать с собою, но тут, как из-под земли возникли четверо дружинников с красными повязками на рукавах, и схватили его с двух сторон за руки. Видимо они услышали свист сторожа и подоспели к месту свалки. «Вот! Избил сторожа! — завопил коротышка, — ведите его в участок, пусть его посадят!» Дружинники повели грязного и мокрого нарушителя по улице в ближайший пункт милиции. Рядом громко причитая и плача, следовала его мать, сбивчиво рассказывая на ходу, как было дело. Уловив суть, старший из дружинников приостановился: «Вот оно что. «Бороду» надо было брать. А вы, молодой человек, все-таки будьте поосторожней! Зачем в драку ввязались?» «У него жена болеет!» — всхлипнула Валентина Сергеевна. «Ну-ну! Выздоровеет, успокойтесь пожалуйста. Никуда мы вас не поведем, а отпустим с миром. Вот только проводим до больницы, чтобы уж без приключений…» и довели. У больничной двери распрощались, провожаемые изъявлениями благодарности и благословениями Валентины Сергеевны. Плащ же, между прочим, забытый хозяином и всеми участниками конфликта, остался лежать на улице.

**3**

По еле освещенному переулку, сгибаясь под порывами ветра и закрываясь от дождя воротником, шествовала высокая сухопарая фигура в длиннополом стареньком пальто. Человек двигался мелкими быстрыми шажками, что-то бормоча себе под нос. Споткнувшись о какой-то предмет, распростертый на земле, он приостановился, нагнулся, взял его в руки и приблизился к фонарю, бросавшему неровный колеблющийся свет на небольшую площадку вокруг столба, на котором он висел, подрагивая и поскрипывая под ударами стихии. Если бы какой-нибудь прохожий находился поблизости, он признал в этом человеческом экземпляре старика, очень худого, с длинными седыми редкими космами, выбивавшимися из-под шляпы, маленькой реденькой бородкой на остром подбородке. Щеки его были впалыми, так что скулы, обтянутые желтоватой, словно пергаментной, кожей, выпирали слишком резко.

Старик поднес свою находку к свету и взглянул на нее маленькими, глубоко запавшими

глазами. В предмете, подобранном стариком, тот же прохожий признал бы нашего старого знакомого — военного плаща. Однако, никаких прохожих вокруг не было и вся сцена ограничивалась одним действующим лицом. «Ого! Хорошая вещь! Добрая вещь! Потерял кто-нибудь? Или выбросил? Ага! Здесь порвано и двух пуговиц нет. Значит, все-таки выбросили. А сукнецо-то доброе’ Мне бы сгодилось. Взять, что ли? Сейчас народ такой пошел: ничего не бережет. Чуть с изъяном — на помойку, а ведь это грех расточительства!»

Произнося вполголоса этот монолог, старик вертел и ощупывал плащ узловатыми негнущимися пальцами. «Его зашить и снова носи, износу не будет. Возьму, пожалуй». С этими словами старик перекинул находку через плечо и заспешил в прежнем направлении, не домой, ибо своего жилища у него не было, а в то место, где удалось найти приют. Вассиан — таким было необычное имя старика. Необычное для мирянина, но он был иеромонахом, поэтому отселе мы будем именовать его отцом Вассианом.

Судьба этого человека была необычна и трудна. Тяжкое голодное детство на Украине, пришедшееся на коллективизацию и раскулачивание, затем война, оккупация. После многих злоключений и невзгод он, еще довольно молодым человеком, пришел в С-й монастырь, куда был принят послушником. В постриге получил имя Вассиан, а после окончания семинарии стал иеромонахом. «Усердный, ревностный, трудолюбивый» — так характеризовали его собратья. И если последнее качество, выработанное тяжелым крестьянским бытием, всех устраивало, то два первых часто вредили отцу Вассиану. Его ревность и обостренное чувство справедливости, привычка говорить всем правду-матку в глаза и нежелание отступать от правил благочестия, преподанных духовными наставниками и переданных в писаниях святых отцов, в трудное время при богоборческой власти снискали молодому монаху репутацию «неудобного», «неуживчивого» и даже «скандального». Вассиану не раз делали внушения и непосредственное и высшее начальство. Грозили даже изгнанием из монастыря, однако до крайностей до поры до времени не доходило. Эти угрозы его пугали, но каждый раз пересиливала мысль, что его долг выполнять свое предназначение (в том виде, как Вассиан его понимал) и нельзя преступать Божия повеления ради каких-то сиюминутных выгод и желания нравиться начальству.

К тому же, он был популярен у прихожан, и на исповедь к отцу Вассиану выстраивалась очередь, даже когда он был еще молод и не набрался духовного опыта. Его простота, доброта, отзывчивость, искреннее стремление всем услужить, и вместе с тем какая-то строгая целомудренная сдержанность, проявлявшаяся в решении самых щепетильных и тонких вопросов, наконец, его аскетическая внешность и некоторая наружная суровость импонировали паломникам. В пожилом возрасте его авторитет духовника вырос еще сильнее. Влияние Вассиана на паломников было отмечено и соответствующими структурами, беззастенчиво вмешивающимися в жизнь Церкви. Его отстранили от исповеди и «посадили на воду», то есть поручили раздавать паломникам целительную влагу, бившую из святого монастырского источника.

Но тут его недоброжелатели просчитались, так как далеко не все посетители монастыря, среди которых встречалось немало туристов — любителей старины и просто зевак, ходили к исповеди, но святой источник посещали абсолютно все. Соответственно аудитория отца Вассиана на порядок увеличилась. Он завел еще больше знакомств и привел к Церкви еще больше народа. Некоторым по их просьбе он давал книги: то Священное Писание (Библию в те времена достать было невозможно), то брошюрки христианско-назидательного содержания, то перепечатки из святых отцов. Когда все это было поставлено ему в пику, монах, твердо уверенный в своей правоте отвечал: «Да, мне запрещали общаться с паломниками, тем более снабжать их литературой, но люди меня спрашивали, а мне что, надо было молчать и пренебрегать своим долгом проповедника? Они погибают, а моя обязанность помочь им

спастись. Разве я не покорен властям и начальству? Но это до тех пор, пока дело не касается моего пастырского долга. Тут уж мне лично отвечать перед Богом, а не перед власгь имущими». Кончилось все изгнанием из монастыря. Разумеется, произошло оно из-за давления «сверху». Братия, да и сам настоятель монастыря ему сочувствовали, но поделать ничего не могли. 55-летний отец Вассиан поселился у своей духовной дочери, усердной прихожанки Марфы, владевшей половиной небольшого домика с садиком и огородом на окраине города. Вначале он очень горевал по монастырю, по своей привычной и уютной келье, по братии, среди которой у него были добрые друзья.

Монах, большую часть жизни проведший за монастырской оградой, в миру чувствует себя рыбой, вытащенной на берег (сравнение избитое, но чрезвычайно выразительное и точное). Если у него раньше были две обязанности: ora et labors (лат. «Трудись и молись»), а все прочие попечения, как то: одеяние, пропитание, ночлег брали на себя другие, то теперь отцу Вассиану пришлось самостоятельно прокладывать курс в этом чуждом житейском море, иными словами, искать источник существования. Крошечной пенсии Марфы и овощей с огорода было недостаточно на двоих. Отец Вассиан нашел работу сторожа при детском садике. Зарплата небольшая, зато трудиться надо было через трое суток, и у него оставалось достаточно времени для молитвы, чтения духовной литературы и возделывания скромного участка земли у своей хозяйки. Обладай он хорошим слухом и голосом, можно было бы устроиться певчим в монастырском хоре, предлагался такой вариант, но отцу Вассиану еще в семинарский период поставили «диагноз» — «петь не будет», так как полностью лишен музыкального слуха.

В свободное время, утром и вечером, он неуклонно посещал монастырские службы, только стоял теперь не впереди, вместе с другими монахами, а сзади, с мирянами. Братия жалела Вассиана и исподволь помогала ему: то гостинец, какой дадут, то рублик в руку сунут и обязательно скажут пару ободряющих фраз. Вот такому человеку достался офицерский плащ.

**4**

Дома старый монах усердно занялся находкой. Плащ был тщательно выстиран, выглажен, пуговицы пришиты. Пуговиц, подобных прежним, не нашлось, и он использовал черные и пришил их нитками такого же цвета, так как зеленых у Марфы просто не было. Отец Вассиан стал брать плащ на работу и одевал его, делая обход территории в непогоду.

Между тем, его пятилетнее изгнание близилось к концу. В стране начались перемены. Новые люди пришли к власти. Изменилось отношение к Церкви. В отличие от многих, отец Вассиан не испытывал эйфории от этих событий. С недоверием отнесся он к перекрасившимся коммунистам и с тяжким предчувствием следил за событиями, прозорливо полагая, что новые люди у руля не принесут русскому народу добра и счастья. Впрочем, его личная судьба устроилась. Прежний настоятель, выставивший Вассиана на улицу, умер. Новый отнесся с симпатией и отец Вассиан получил разрешение возвратиться в монастырь, в котором тоже начались некоторые перемены. Теперь за то, чем занимался изгнанник — общение с паствой во внеслужебное время, поощряли. Церковь возобновила свое социальное служение: духовенству открыли доступ в больницы, тюрьмы, детские дома. Никто больше не препятствовал отцу Вассиану общаться с паствой. Наоборот, молодым монахам и послушникам его ставили в пример, и в глазах молодежи у него даже возник ореол страдальца за веру.

Подобранный когда-то плащ продолжал служить монаху. Правда, теперь по назначению употреблялся не часто. Хозяин плаща почти никогда не покидал пределов монастыря, а идти от своей кельи до храма ему приходилось всего метров двести, а до трапезной и того меньше. Поэтому плащ мирно висел на вешалке в крохотной келье вместе с немногочисленными предметами монашеского гардероба: старенькой рясой, мантией, выцветшим подрясником и

парой клобуков. Вне богослужений отец Вассиан, на ту пору уже игумен, принимал многочисленных паломников. Его келья сообщалась с небольшой комнаткой, вроде прихожей или скорее чуланчиком. В ней стояли: аналой с лежащими на нем Евангелием и крестом, столик и пара стульев. На стене висел киот с многочисленными иконами, а перед ним горящая лампада, да в углу светился подсвечник, весь уставленный свечами всех размеров.

Перед дверями старца Вассиана всегда была толпа. Я не случайно здесь впервые назвал его «старцем». Он вполне заслужил это почетное наименование, которое в нашей Церкви является своеобразным знаком отличия, наградой за богоугодную жизнь, за ОКОРМЛЕНИЕ пасомых. Здесь дело вовсе не в возрасте, хотя и по годам, в прямом смысле, отец Вассиан соответствовал этому званию. В принципе, старцем может быть и молодой монах, обладающий старческой мудростью и влиянием. Люди, некоторые из которых приезжали из самых дальних окраин страны, сидели и стояли в ожидании вызова и хотя бы краткого разговора с отцом Вассианом. Иногда в приемные дни их набивалось столько, что келейник ради доступа свежего воздуха приоткрывал дверь кельи, а форточка в ней всегда была открыта, и дышать становилось легче.

Тут, если б наш старый приятель-плащ оказался существом одушевленным, какую пищу для размышлений заимел бы! Какие тайны узнал бы! И если допустить такое чудо, чтобы кусок материи заговорил, кое-кто наверное бы распрощался с жизнью, а уж со свободой наверняка, сколько бы начинаний рухнуло, а браков распалось! Один перечень лиц, побывавших в крошечной каморке, поразил бы несведущего слушателя откровений старого плаща, и наверняка даже прорезиненное нутро нашего знакомца содрогнулось бы от услышанного, особенно, когда старца посетил седовласый летчик с орденом героя Советского Союза за Афганистан или громкоголосый, «аки лев рыкающий», генерал — десантник. Да, здесь частенько появлялись военные или сотрудники МВД, иногда одетые в форму, иногда в штатское. Что тут удивительного? Несмотря на оголтелую антирелигиозную пропаганду в военных училищах советского времени, военные и священнослужители тяготеют друг к другу. У них много общего. И те и другие СЛУЖАТ. У тех и других мужской коллектив, скрепленный накрепко соответствующим воспитанием, чувством долга, дисциплиной, строгой иерархией. Кроме того, многие священники и монахи в прошлом военные — иногда офицеры, а солдаты — почти всегда, по крайней мере, старшее поколение. Им легко понять друг друга.

Вот и теперь, вслед за группой монахинь из какого-то отдаленного монастыря в комнату вошел высокий, моложавый и подтянутый милицейский майор в форме. Подойдя к старцу, он с улыбкой протянул руки, сложенные для благословения. «Благословите батюшка». «О, Миша! — отозвался отец Вассиан, — давно тебя не было. Какими судьбами?» «Да вот, благословиться пришел. В Чечню отправляют». При этом известии старец нахмурился и покачал головой. Затем встал, повернулся лицом к киоту и стал вполголоса читать молитвы. Михаил стоял, почтительно склоняясь и вслушиваясь в слова монаха. Закончив молитву, старец несколько секунд молчал, прикрыв глаза, очевидно о чем-то размышляя. Затем шагнул в свою келью и вынес из нее на вытянутых руках защитного цвета плащ. «Вот, возьми Михаил. Он мне добрую службу сослужил, а теперь он тебе нужнее. Как в непогоду оденешь этот плащ, так и обо мне вспомнишь. И знай: моя молитва всегда с тобою и не бойся ничего!» Михаил молча поклонился и поцеловал руку монаха.

**5**

В довольно большой неуютной комнате полуразваленного обгоревшего дома на окраине Грозного сидит с десяток собровцев. СОБР — Специальный отряд быстрого реагирования — создан для борьбы с террористическими организациями Управлением по борьбе с организованной преступностью под командованием нашего знакомого Михаила. Сырой холодный воздух беспрепятственно проникает через разбитые окна, заставляя голодных

людей, оставшихся без завтрака и обеда, дрожать от холода. Поэтому командир разрешил развести огонь в нише, скрытой от глаз чеченских снайперов. На топливо пошли оторванные доски пола, горящие жарким веселым пламенем. Черный вонючий дым вытягивают дыры и частично проемы окон. В первую очередь поближе к теплу переносят раненого, распростертого на двух снятых товарищами бушлатах. Сверху он прикрыт выцветшим хорошо нам знакомым командирским плащом, из-под которого время от времени раздаются тихие стоны. Собровец ранен осколками гранаты из подствольного гранатомета. Его перевязали, но иной помощи оказать не в состоянии.

Медиков в этой группе не имеется, а подойти со стороны никому не удается — все подходы простреливаются боевиками. «Хотел бы я посмотреть на того кретина, который сочиняет и пишет эти дурацкие приказы! — с возмущением рассуждает молодой собровец Володя Уржумцев, — отвечать огнем в дневное время только по видимой цели. Где ты видел эти цели днем? Пальнут из развалин и поди догадайся — откуда!» «Точно! — вторит ему Гена Шмаков, коренастый крепкий парень с обветренным красным лицом, — крысы тыловые! Теоретики хреновы! Что они понимают в реальной войне!» «Это братцы не командование виновато, а эти козлы — политики, дерьмократы и либералы! — отозвался третий собеседник Женя Котов, — всякие там Ковалевы, Бабицкие, что б их всех прихлопнуло! Слышьте! Они Басаева Робин Гудом кличут! И уж конечно! Наступи чечену на мозоль, вся эта свора визжать начинает: не трожь патриотов-освободителей! Они за свою родину умирают! Вот наши командиры только и озабочены не тем, как противника зажать, а как ему не навредить! Тьфу! Можно так воевать, я спрашиваю?»

«Да, в прежние времена было не так — поддакнул до сих пор молчавший собровец Иван Чурилов, — с генералом Ермоловым в ту, «царскую» войну такие шутки не прошли бы. Он «духов» умел держать в кулаке. Они его боялись и называли «Ермул»». «А по-моему, все одно — возразил Уржумцев, — и тогда генералы лишь о наградах думали, а на простого солдата им было наплевать». «А вот и ошибаешься! К Ермолову это никак не относится — снова заговорил Чурилов, — вот, кто слыхал про дело Швецова?» Оказалось, что никто. Пользуясь затишьем все стали просить Ивана рассказать об этом необычном деле, дабы время скоротать и отвлечься от невеселых дум.

Чурилов внял просьбе товарищей и начал свой рассказ. «Был на Кавказе такой капитан Швецов. Не Бог весть, какая шишка, но герой и храбрец — трижды георгиевский кавалер. По-нынешнему это, как бы трижды Герой России. Представляете?» «Да уж, понимаем. Такие всегда на перечет» — отозвались слушатели. «И вот попал этот капитан в плен. Ехал в отпуск. Конвоя при нем не было, только несколько горцев из «мирных», да и случилось нападение во владениях князей, с Россией не воевавших. И вот одолели Швецова числом и хитростью. Он, однако ж, так просто не дался — троих успел уложить, молодец был! А сопровождавших его джигитов всех убили. Ну, абреки видят — вся грудь в орденах, знать важная птица и заломили за него выкупа аж 250 тысяч рублей. По тем временам сумма баснословная! И взять ее неоткуда. Тогда все офицеры и солдаты (и не только Кавказского корпуса, но и некоторых других подразделений) стали эти деньги собирать по крупицам из своего жалованья. Узнал об этом Ермолов и возмутился. Вызвал всех горских князей, через земли которых проследовал Швецов, в количестве 18-ти человек и объявил: если вы все, такие сякие, в течение десяти дней не найдете мне капитана, все будете повешены на крепостном бастионе. Вот они забегали! И за свои денежки выкупили Швецова, всего за десять тысяч рублей! Так-то вот!»

«Вот это да! Молодец был Ермолов!» — горячо отозвался Уржумцев. Все остальные тоже согласились, что нашим современным командирам не худо бы поучиться у предшественников на предмет заботы о подчиненных. Беседа была прервана самым энергичным и бесцеремонным образом: «духи» дали очередь по уцелевшему окну комнаты, где засели собровцы. «Вот они! На

крыше пятиэтажки. Я засек!» — гаркнул Михаил и пустил ответную порцию свинца по замеченной цели. Остальные бойцы заклацкали затворами. Завязалась перестрелка. Влетевшая граната осыпала осколками собровцев. Михаил слышал их свист и удары по стенкам. Со всех сторон гремели выстрелы. Укрываясь за выступами и подоконниками, собровцы вели изнурительный бой сразу с несколькими группами противника, засевших в зданиях сбоку и напротив. Во время минутного затишья командир заметил, что его правая штанина вся в грязи и намокла. Ничего удивительного: на полу стояло несколько грязных луж из талого снега пополам с грязью, которой пропитались комбинезоны собровцев. Однако, задрав штанину, он обнаружил в икроножной мышце два красных отверстия, кровь из которых сочилась в ботинок.

Стрельба продолжалась до наступления темноты. После прекращения огня в дом пробрался врач из соседнего подразделения и спросил, нет ли раненых. Ему указали на фигуру, закутанную в плащ, распростертую у догоравшего костра. Хирург откинул покрывало и обнаружил, что раненый собровец уже закоченел. Товарищи не заметили его кончину среди яростного боя. Других пострадавших, кроме Михаила не было. Врач сделал перевязку и, заявив, что кость не задета и раны скоро заживут, отбыл восвояси. Пользуясь плащом как носилками, бойцы унесли покойника из здания и на специальной бронированной труповозке отправили в тыл. Окровавленный плащ не вернули хозяину. В результате описанных событий и появились на плаще те выцветшие пятна, о которых говорилось выше.

**6**

Самолет с пресловутым «грузом 200» летел из Ростова-на-Дону в Иркутск. Отсюда был родом погибший собровец, напарник Михаила. Так получилось, что в цинковом гробу находились и кое-какие вещи убиенного. Вместе с ними и наш знакомец-плащ. Собственно, родители погибшего жили в глухой деревне в Иркутской области, а не в самом городе. Поэтому еще не скоро они смогли похоронить сына. Опустив все тяжкие и грустные подробности, скажу лишь, что интересующий нас предмет обрел нового хозяина. Им оказался старший брат собровца — таежник и охотник. Он взял себе плащ и в качестве грустного напоминания о безвременно отшедшем родственнике и как жизненно необходимую в промысле вещь. В наше время, когда жизнь сосредоточилась вокруг больших городов (в Москве — в первую очередь), когда большинство жителей России — горожане, лишь летом стремящиеся в тихие зеленые пригороды на дачи от скученности, смога и чада мегаполисов, не все могут представить, что в глухой провинции жизнь течет во многом по-прежнему: тихо, неторопливо, где, пожалуй, главные заботы и потребности неприхотливого населения исчерпываются повседневными нуждами и потребностями: накормить, одеть и обучить детей и хоть как-то просуществовать самим. Там ждут не дождутся начала охотничьего сезона, когда можно будет приобрести патроны (иногда в кредит, ибо средств не хватает) и уйти в тайгу на промысел, чтобы выручить хоть какую-то деньгу, добыть рыбы, мяса, что-то продать и на эти, тяжким трудом добытые гроши содержать семью. Брат погибшего собровца Андрей Высотин — жилистый сорокалетний мужик, с нетерпением ожидал момента, когда можно будет вырваться в лес. Летом он нанимался на лесопилку, где заработал мизер. Работа эта ему не нравилась, и он отбывал ее, как рабскую повинность, возможно оттого, что в душе Андрей был лирик, любитель природы и в лесу он проявлялся не хищником-добытчиком, а рачительным хозяином и доморощенным натуралистом. Обрабатывая топором огромную сосну, он размышлял о том, как это дерево красиво смотрелось среди себе подобных, как давало приют и пищу зверям и птицам, как гордо поднимала свою зеленую крону к небу и жалел, что безжалостная пила сгубила такую красоту. Однако нужды семьи — двух подрастающих дочерей и супруги требовали нешуточных расходов. И под вечное ворчание жены, недовольной скудным заработком мужа, Андрей тащился на пилораму и под несмолкаемый рев пилы, которая, казалось, заменяла в рабочие

часы сварливую супругу, среди облака опилок, предавался тайным мечтам о таежном приволье, о чистых студеных речках с тайменями, о стройных красавцах-кедрах, о птицах и зверях, о благословенном безлюдье.

Его прошлый сезон не был особенно удачным. Он добыл всего двух соболей, и белки встречалось мало, так как кедровый орех не уродился. Правда, завалил он пару изюбрей и заготовил мясо, которое вывез уже по санной тропе домой, В этом году Андрей задумал разведать новые места для промысла, куда никто из его соседей не заходил. Быть может там, в глухих угодьях, пушного зверя будет больше и ему повезет? Следующим летом старшая дочь Лена оканчивает школу и собирается в город в институт плюс забота о престарелых родителях, обязанность, легшая теперь, после смерти брата, целиком на плечи Андрея. Деньги понадобятся. Его задача — их добыть. С этой целью Андрей предпринял разведку: в конце августа прибыл в намеченный район налегке, с минимумом снаряжения. Договорился с летчиками, что заберут его через неделю на том же месте, где высадили — у небольшого лесного озерка.

Первым делом Андрей нашел на берегу место для ночлега под большим кедровым выворотнем на берегу небольшого чистого шумного ручейка, впадавшего в озерцо. Отсортировав свое имущество, охотник повесил все, что могло заинтересовать непрошеных гостей, таких, как росомахи и медведи, на высокое и тонкое деревце, обрубив нижние сучья и снабдив ствол «ожерельями» из крупных рыболовных крючков жалами вниз — старинный таежный способ отпугивания четвероногих грабителей. В первый поход отправился налегке, закинув за плечи ружье и небольшой рюкзак, в котором лежали: топорик, запасная пара носков, котелок, кружка и прочие мелочи, а также чай, сахар и сухая колбаса. Патроны, нож, спички в непромокаемой упаковке он рассовал по карманам. Сверху накинул видавший виды плащ — память о брате, поскольку небо хмурилось, и накрапывал дождь. Еще, когда вертолетчики искали подходящее место для посадки, Андрей заметил в иллюминатор темную полосу спелых кедрачей на востоке. Вот сейчас он и отправился в этом направлении.

Некоторые думают, что в глухом лесу вдали от людских поселений дичь кишмя кишит. Это не так. Хотя, идя по тайге скорым пружинистым шагом, охотник с радостью убеждался в отсутствии в данной местности следов пребывания человека — ни порубок, ни тропинок, ни кострищ, лес встречал его угрюмым молчанием, нарушаемым лишь скрипом дерева, да писком невидимых синиц. Только опытный таежник, каким и был Андрей, по еле уловимым признакам отметил наличие зверя и промысловой птицы. Часа три шел он к кедрачам и за это время удостоверился, что окрестности посещает медведь-самец средних размеров. Бывают здесь и изюбри, а также рысь, росомаха, колонок. Следов пребывания соболя пока не находилось. Зато рябчиков и глухарей водилось немало.

Судя по первым встречным кедровым деревьям, год обещал быть урожайным на орехи. Белок хватало, наверное, должны быть и соболя. Довольно скоро путешественник получил неопровержимое доказательство присутствия драгоценного зверька — наткнулся на останки недавно убитого молодого изюбря. Тщательное изучение следов показало, что юный олень стал жертвой медведя, а когда хищник насытился, к трупу подходили, по крайней мере, два соболя.

Кедровый бор был великолепен. Сосны вздымались колоннами, загораживая небо, и Андрей обрадовался, что верно выбрал место и его надежды начинают оправдываться. И тут он заметил нечто, испортившее ему настроение. До этой минуты он шел по тропе, проложенной зверями. Теперь что-то изменилось, он даже не сразу сообразил, что его насторожило, и вдруг понял: в эйфории он пропустил явный признак присутствия постороннего двуногого — порубку. Глаз зафиксировал это необычное для здешних мест явление, а мозг только сейчас послал сигнал. Андрей резко повернулся назад и зашагал обратно. Вот это место — дерево

наклонилось поперек тропы и от него отпилили кусок, чтобы не мешал проходу. Охотник внимательно осмотрел распил. Он был старым — года три, не меньше. Однако отсюда следовало, что и здесь бывают люди.

Открытие расстроило его. Теперь ищи избушку и если она имеется, возможно, кто-то другой может предъявить права на этот охотничий участок. Надо выяснить, есть ли кто-нибудь поблизости. Еще с полчаса шел Андрей по тропе и убедился, что если кто из людей по ней и ходил, то достаточно давно. Он нашел еще пару распилов, тоже застарелых. Звери также пользовались этим маршрутом и ходили по тропе в обоих направлениях, о чем красноречиво свидетельствовали следы и свежие и давние. Вскоре тропинка привела к ручью, и некоторое время змеилась по его берегу, пока, наконец, не подвела к маленькому роднику, откуда ручей брал свое начало. Путник напился чистой холодной воды, а когда повернулся, увидел то, что искал — небольшую бревенчатую избушку, старую, замшелую, словно в сказке, про бабу Ягу. Нельзя сказать, чтобы это открытие его сильно обрадовало, но, в конце концов, охотник уже раньше догадался, что эта местность не столь глухая, как казалось, и по-видимому посещается людьми.

По неписаным таежным законам всякий путник, нуждающийся в убежище, вправе занять подобное жилище и стать его временным постояльцем, поэтому Андрей спокойно вошел в избушку. Она была сложена из крепких сосновых бревен и глядела на мир крохотным квадратным окошком, затянутым какой-то мутноватой пленкой, как выяснилось позже, полиэтиленовой. Дверь, висящая на кожаных петлях, бесшумно отворилась, и нос гостя уловил сильный запах аммиака и немытого тела. В избушке кто-то был. Дневного света оказалось недостаточно, и Андрей включил фонарик, предусмотрительно взятый с собой. Большую часть избушки занимала большая русская печь. В углу стоял грубый самодельный стол и две лавки. В красном углу висела икона старого письма с потухшей лампадой. С печки раздался не то вздох, не то стон и луч фонаря, направленный на лежанку, высветил груду шкур и какого-то вонючего тряпья, на которой лежал человек.

**7**

Это был древний старик с длинными жидкими прядями свалявшихся желто-белых волос и нестриженой бородой. Одет он был в какое-то подобие власяницы из мешковины. Кожа на впалом лице мертвенно бледная, глаза закрыты, так что если б не звук, послышавшийся при появлении незнакомца, старца можно было принять за покойника, тем более, что от постели шел тяжелый запах, говоривший, что незнакомец не вставал уже давно. Печка, судя по всему, тоже не топилась изрядное количество времени, и только деревянный выдолбленный ковш с водой на дне стоял у изголовья. Не открывая глаз, старик чуть слышно вздохнул, и на его лице появилось страдальческое выражение. «Эге дедок! Так ты точно живой!» — воскликнул гость и принялся хлопотать вокруг ожившего «покойника».

Первым делом он достал из рюкзака маленькую фляжку и, разжав губы больного, влил несколько капель водки в беззубый старческий рот. Дед закашлялся и приоткрыл глаза. «Так-то лучше дедуля! Гляди веселей! Сейчас тебя спасать буду» — приободрил незнакомца Андрей, но старик был вероятно при последнем издыхании и не понял, что происходит. «Ну, полежи, полежи. Сейчас я тебя отогрею и накормлю, а там посмотрим» — заявил гость и побежал в дровяник, в котором к счастью оказалось вдоволь сухих дров. Через пару минут огонь уже ярко пылал, наполняя избушку дымом и теплом. На стене Андрей обнаружил источник света, о котором он только слышал от стариков — лучину, то есть щепку, воткнутую в щель между бревен наклонно к полу под углом в 45 градусов и деревянную чашку с водой под нею. В лампаде перед иконой масла не оказалось. Андрей пока воспользовался лучиной.

Все предметы в избушке, очевидно, были сработаны руками старика, надо сказать, очень умело и рационально. Была тут и кое-какая заводская посуда, но в незначительном количестве. Из съестных запасов обнаружились лишь несколько вяленых рыбин, подвешенных к потолку, туес сушеных ягод и жбан прошлогодних кедровых орехов. Андрей вскипятил воду в древнем жестяном чайнике, насыпал в кружку заварку из собственных припасов, добавил несколько капель водки и размочил сухарик. Все отвратительное тряпье с лежанки он выкинул вон, постелил вниз две полустертые оленьи шкуры, переодел деда в собственное белье, предварительно протерев старческое тело зельем все из той же бутылки, и укрыл плащом.

Объект его забот никак не реагировал на происходящее и только, когда горячая жидкость заструилась и забулькала в горле, сделал попытку разглядеть Божий мир. Он молча прожевал беззубыми челюстями два размоченных сухаря и спросил: «Ты кто?» — «Я Андрей, охотник. А тебя как зовут?» — «Архип». «Ну вот, дедушка Архип. Напугал ты меня спервоначалу. Думал, уж не жилец. Ты попей-ка еще чайку потихонечку, согрейся, а потом поспи, а я тебе что-нибудь посущественней сварганю». «Чай — антихристово зелье» — изрек старик и снова прикрыл глаза. «Так ты из кержаков что ли? — опешил от такой реакции на свои заботы Андрей, — уж извини, не знал, а то бы аброзии и нектара притащил!» Но старик не отозвался. Он снова спал. «Все эти староверы малость чокнутые! — забормотал Андрей, — вот хотя бы моя бабка, которая для «никониан» в избе особую посуду держала, называемую втайне «поганой» и гостей «не нашей» веры только из нее потчевали. Ну да это… У каждого свой закон». И утешившись таким философским умозаключением, принялся за стряпню.

Охотничьим ножом Андрей покромсал высушенную рыбу, добавил кое-каких съедобных трав, собранных на полянке, и получившимся супчиком накормил старика. Воздух в избушке между тем согрелся, приятно потянуло ароматом сосны. Архипу заметно полегчало: исчезла мертвенная бледность лица, порозовели щеки. Установив эти благоприятные для хозяина зимовья перемены, Андрей задумался, что делать дальше. До ближайшего селения 150 километров. Даже будь у него лошадь, доставить Архипа живым в такую даль нереально. Остается только ждать вертолета. За неделю старик, быть может, настолько оправится, что вынесет перелет. Похоже, у него никакой особой болезни нет, просто старческая слабость. Он слег, а потом и голод сказался. Во всяком случае, оставлять его одного нельзя. Архипово отшельничество закончилось. В принципе уже ясно: угодья здесь богатые и ничто не мешает Андрею с началом сезона вернуться сюда и поселиться в избушке старика. Самому же хозяину суда возврата нет. Это очевидно. Его срочно надо везти в больницу и выхаживать, а там, как Бог даст.

На другое утро, убедившись, что Архип чувствует себя сносно, Андрей сходил к лагерю за вещами. Собственно, он взял только продукты. Не было смысла таскать туда-сюда вещи. Если старик доживет до появления вертолета, Андрей вместе с летчиками решит, как быть дальше: может машину удастся посадить ближе к избушке и тогда перенести Архипа не составит труда. Прихватив маленький разборный спиннинг, Андрей через семь часов вернулся в зимовье. Архип находился в том же положении, но предложенный обед съел, чем немало порадовал своего спасителя: «Кушай, кушай дедуля, поправляйся, авось еще небо покоптишь!» В последующие дни до появления вертолета дела пошли столь успешно, что старый таежник совсем воспрял и скоро более-менее связно поведал свою историю.

Архип был из старообрядцев или, как говорят в Сибири, из кержаков (по реке Керженец — притоку Волги, где в прежние времена хоронились раскольники). У Андрея отцовская родня тоже придерживалась старой веры, в этом не было ничего из ряда вон, но Архип принадлежал к довольно редкому согласию или секте «бегунов», которые издавна не признавали никакой власти, считая ее «антихристовою». Они не держали паспортов и прочих документов, считали себя «страдальцами за истинную веру христианскую» и, чтобы скрыться от преследований,

скитались с одного места на другое, оттого и «бегуны».

После 1917 года совершенно понятно, каково пришлось людям с подобными воззрениями. Для них, очевидно, начался Апокалипсис. «Бегуны», как и прочие беспоповцы, не имеют священной иерархии. Крестины и некоторые обряды у них совершают так называемые «старцы», то есть знатоки закона, начетчики, хотя по возрасту они могут быть и не старыми. Вот таким «старцем» при бегуновской молельне и был Архип. Коллективизация и жестокие сталинские репрессии загнали его единомышленников в самые глухие, труднодоступные места. Но и здесь до них добрались. В 1942 военном году преследования «неблагонадежных» усилились и Архипа тайно предупредили: молельню прикроют, и ядро секты арестуют. Он принял меры. Срочно собрал все ценное: древние книги, иконы, серебряную утварь и спрятал в тайнике, а сам снарядил лодку и подался на восток, увозя лишь самое необходимое снаряжение для жизни в тайге. Таежником он был опытным, а кроме того владел плотницким, слесарным и гончарным ремеслами. Нашел подходящее место и срубил избу. Развел огород. Ловил рыбу, собирал орехи и другие дары леса. Удивительно: Архип не был охотником. У него не имелось ружья, но он ловил зверей и птиц ловушками, слопцами, силками и прочим. Правда, мясо на его долю доставалось редко, но жил он вполне сносно. В этом Андрей убеждался ежедневно: в жилище старообрядца все было продумано до мелочей, даже баня с парилкой имелась.

Изредка, может раз в 3–4 года он добирался до какого-нибудь таежного поселка и приобретал некоторые крайне необходимые предметы в обмен на рыбу, шкуры, кедровые орехи и другие таежные гостинцы. У Архипа имелся целый сундук старопечатных книг. Он ежедневно (!) вычитывал службу Божию (то, что можно читать мирянам) и помнил Евангелие наизусть. Ни одна душа не знала о его местопребывании. Никто не потревожил его за почти 60-летний период строго отшельничества и ни тени сомнения в своей правоте Архип не испытывал. Конечно, он вовсе не был бесчувственным, и его расположение к Андрею как к своему спасителю день ото дня возрастало, но все же они жили в разных измерениях. Архип спрашивал Андрея: «Ты никонианин?» — «Кажется я понимаю, о чем ты дед хочешь спросить, хотя на моем месте далеко не каждый парень моего возраста сообразит, о чем идет речь — ответствовал вопрошаемый, — можешь считать меня никонианином, коль крещен я в православной вере, хотя отец у меня, как и ты, из кержаков, но правил ваших особо не придерживается — курит, случается и выпивает».

Мать Андрея была дочерью раскулаченного крестьянина из Курской губернии, сосланного в Сибирь на поселение, отец же из старообрядцев «беспоповцев». Охотник хорошо помнил деда по отцу с редким именем Амос. Именно он был наставником Андрея в охотничьем деле. Дедушка Амос не был фанатиком своей веры, но никогда не пил, не курил и не ругался. Он спокойно относился к тому факту, что далеко не все люди разделяют его религиозные убеждения и, в отличие от своей супруги, не препятствовал сыну в женитьбе на «никонианке». Охотником слыл лучшим в округе. И если Амос шел по следу, можно было быть уверенным — без добычи не останется. Он брал внуков в тайгу с 12-ти лет и если Андрей сейчас в лесу, как дома, то это, главным образом, благодаря науке дедушки Амоса.

Через четыре дня Архип уже мог сидеть, свесив ноги с печи. Ходить пока не получалось, но этого и не потребовалось. Когда летчики, наконец, прибыли и, выслушав рассказ Андрея, появились в избушке, было решено, соорудив носилки из знакомого нам плаща, перенести старика на борт. Архип благополучно перенес перелет и был доставлен в районную больницу. Его удалось вылечить. Собственно, как и предполагал его спаситель, у старого таежника не было серьезных заболеваний. Главный врач больницы все дивился: «Надо же! В 91 год с одра поднялся и хоть бы что!» Дедушку Архипа устроили в дом престарелых, где его пару раз до начала промыслового сезона успел навестить Андрей. Плащ достался больничному санитару,

присматривавшему за дедушкой. Именно в квартире этого санитара я и увидел плащ в том виде, как это написано в начале этой маленькой повести.

## Мои знакомцы и питомцы

Как и многие дети, я с детства мечтал о собаке. И как многим и многим неудачливым, любителям живности, близкие не шли навстречу моим пожеланиям, по крайней мере, до поры до времени. Мы жили в коммунальной квартире, где кроме нас ютилось еще две семьи и содержание домашнего питомца вызывало большие трудности. Все же, мое желание исполнилось, когда я достиг 12-летнего возраста и смог самостоятельно заботиться о подопечном, но до этого пришлось довольствоваться содержанием всяких мелких зверьков и, конечно, птиц. Первую живность я завел в пятилетием возрасте. В то лето мы гостили у маминой подруги тети Оли в Ташкенте. Ее муж дядя Гриша принес мне в ящичке птичку, которую поймал возле своего гаража. Это был птенец скворца, оказавшийся очень прожорливым. Он лопал все, что ему давали: моченый хлеб, творог, виноград. Около меня не оказалось сведущего в орнитологии человека и вскоре стало понятно, что с птичьим рационом не все в порядке, потому что у птенца под хвостом сильно грязнились перья — явный признак неправильного пищеварения. Я был слишком мал, чтобы обратить на это внимание, а взрослые совершенно неопытны в сложном деле содержания птиц. Когда пришло время отъезда, скворчонок отправился с нами в Москву в новом чистом ящичке. При проверке билетов перед отправлением поезда Ташкент — Москва контролер-узбек оштрафовал мою маму за безбилетный проезд «животного», милостиво не задержав внимания на нашей соседке-узбечке, не купившей билет для своей восьмилетней дочери.

Птичка неважно перенесла трехдневное путешествие — сидела на дне ящичка, нахохлившись и отказываясь от еды. По приезде в Москву мы остановились у родственницы. Тетя Инна в отличие от нас имела опыт содержания животных в неволе, и нездоровый вид птенца бросился ей в глаза. Она посоветовала пока оставить птицу у нее для консультации со специалистами. Когда через месяц мы снова приехали к тетушке, меня ждал сюрприз: вместо грубо сколоченного ящика на подоконнике стояла изящная металлическая клетка с выдвижным дном, лакированными жердочками и фарфоровыми кормушкой и поилкой, а в ней, весело щебеча, прыгала совсем другая птица, маленькая и пестрая. «Видишь ли, — начала тетя Инна, — твой птенец был очень болен. На нем налипло множество перьев и всякой грязи. Пришлось его хорошенько почистить. В результате он стал меньших размеров, но зато теперь он чистенький и маленький! Это, оказывается, был вовсе не скворец, а щегол». Я был совсем мал и поверил в эту фантастическую историю. На самом деле мой питомец (как я узнал много лет спустя) околел сразу по прибытии в Москву. Тетушка была в панике. Побежала в зоомагазин, но там не было никого похожего на моего птенца и ей пришлось купить совершенно другую птицу, чтобы избежать моих слез. Тут она сделала правильный выбор, потому что щегол прост в содержании, весел, красив, все время поет и идеально подходит для начинающего любителя.

Были у меня две черепахи. Правильно содержать это пресмыкающееся вовсе не так просто, как кажется многим. Кто-то из известных зоологов утверждал, что большинство черепах у некомпетентных любителей просто медленно умирают. Моих черепашек кто-то принес в детский сад, где работала моя мама. Ухаживать за ними было некому, и мама принесла их мне. Одна из черепах была слепой и скоро околела к величайшему моему огорчению. Зато другая прожила лет пять у нас дома, пока не появилась возможность выпустить ее на волю в подходящей местности. В то время у меня уже была собака. Она проявляла интерес к черепахе: играла с ней: теребила лапой, таскала в пасти. Как ни странно, пресмыкающееся собаки не опасалось. Правда, мы следили, чтобы пес в своих играх не заходил слишком далеко — не пытался переворачивать ее вверх ногами или прокусить панцирь, но часто смотришь,

бывало, Дружок тащит в зубах черепаху, а она лапы не втягивает, видно доверяет ему. Или ложится пес вздремнуть, черепаха подползает, вытягивает шейку и кладет голову на теплое собачье брюшко. Черепашка обожала молоко и свежие одуванчики.

Репутация юного натуралиста привела к тому, что соседи и знакомые стали тащить мне всякую живность. В результате я попеременно был счастливым обладателем то ежика, то сороки, то грача, то дрозда-рябинника. А на окне у меня стояли банки, в которых развивалась лягушачья икра, плавали тритоны, сидели гусеницы разных видов и в разной стадии развития: одни пожирали листья деревьев и кустарников, которые я им усердно поставлял, другие окукливались, готовясь превратиться в красавиц-бабочек. Держал я и прожорливых хищниц — личинок жука-плавунца. Этим, бывало, только добычу подавай, замешкаешься — друг на друга охотиться начинают. Один взрослый плавунец прожил в банке два гола.

К сожалению, далеко не все питомцы выживали. Создать диким животным нормальные условия в неволе очень и очень непростая задача, требующая знаний и средств, а порою, самого настоящего самоотвержения. Я это довольно скоро понял и брал на себя заботу лишь о таких питомцах, которые нетребовательны в содержании, не создают слишком больших неудобств домашним или об инвалидах, которые в естественных условиях непременно бы погибли. В тех случаях, когда имелась полная уверенность в способности животного выжить на воле, я выпускал его. И все же, приходилось идти на разного рода жертвы и ухищрения. Так, например, наша соседка по коммуналке закатила мне скандал из-за того, что обнаружила в коридоре собачью шерсть (на прогулку мне приходилось выводить пса мимо ее двери) и с криком требовала убрать собаку из квартиры: «Развели тут кобелей!» Пришлось трижды в день выносить моего довольно увесистого песика на руках, чтобы никаких следов в коридоре не оставалось. Спускал его на пол я только в подъезде. Ни разу я не позволил себе понежиться лишний часок в постельке, когда знал, что мой хвостатый Друг нуждается в прогулке. Вообще, это особая тема — общение с домашними животными: лошадьми, кошками, собаками. О них я уже написал несколько рассказов. Здесь же мне хочется вспомнить о питомцах пернатых. Среди многих и многих представителей пернатого племени мне больше всего запомнились двое: ворон Черный и японская амадина Степочка.

Ворон принадлежал не мне, а моему родственнику орнитологу новосибирцу Алеше, в доме которого я как-то прожил целое лето и вдоволь пообщался с этой занятной птицей. Вороненка подобрали во время экспедиции на юге Западной Сибири. Алеша с родителями жил в знаменитом новосибирском Академгородке. Семья занимала половину двухэтажного коттеджа с примыкавшим участком соток в шесть. В садике, в обрамлении смородиновых кустов, стояла довольно большая вольера, забранная сеткой-рабицей. Как только хлопнула калитка и я, волоча свой чемодан, вступил на асфальтовую дорожку, ведущую к коттеджу, оттуда раздался торжествующий вопль: «к-аа, ка-а!» — это Черный приветствовал меня. Он обожал общество и не любил долго оставаться в одиночестве. Как только кто-нибудь появлялся в саду, вороненок требовал внимания и добивался его с помощью пронзительных криков, сильно беспокоивших соседей генерала с семьей.

Поэтому приходилось держать горластого постояльца ночью в подвале, а в сад выносить не раньше 9-ти часов утра, когда все уже проснулись и птичьи вопли не могли никого разбудить. Мы подошли к вольере, и Алеша открыл дверцу. Вороненок сейчас же взлетел ему на плечо и, хлопая крыльями, снова прокричал свое «каа-а». Он выглядел совсем взрослой птицей, только крылья были чуть коротковаты, а хвост был еще слишком куц для полноценного ворона. Алеша почесал пальцем шейку своего питомца. Черный втянул голову промеж крыльев, закудахтал вкрадчивым тоном и прикрыл голубоватый глаз с видом гурмана, смакующего особенно желанный кусочек. Я тоже протянул руку и почесал упругую спинку, покрытую черным блестящим пером. Вороненок на секунду приоткрыл глаз и тихо воркнул что-то дружелюбное.

Так состоялось наше знакомство.

Никогда я не встречал столь общительной птицы. Сидя в вольере Черный зорко следил за дверью коттеджа и калиткой на улицу. Стоило появиться любому человеку, как раздавался приветственный крик. «Лучше иной собаки — говаривала тетя Надя, Алешина мама, — я всегда знаю, что кто-то пришел, благодаря Черному». Так как дом постоянно посещали многочисленные друзья и знакомые Алеши и его сестры Лены, калитка хлопала беспрестанно, и вопли слышались регулярно. Завсегдатаи вместо того, чтобы в первую очередь поздороваться с хозяевами, спешили к клетке приласкать вороненка. Птенец воспринимал визиты как должное и очень обижался, если его игнорировали. Тогда он начинал возмущаться и издавать такие резкие крики, что непривычный человек спешил заткнуть уши. Если вы приближались к вольере с лакомым кусочком в руке, Черный исполнял радостный танец, подпрыгивая и взлетая к потолку вольеры, а затем бочком, прыжками приближался к сетке и выхватывал приношение. Особенно любил мясо. Глотая, он издавал утробно-воркующие звуки и так торопился, что я каждый раз боялся, что он подавится и задохнется.

При всей расположенности к людям Черный не любил фамильярности и особенно не терпел, чтобы его брали в руки. А это приходилось делать дважды в день — утром и вечером, при переселении в подвал и обратно. В первый же раз я был наказан. Ворон своим кремнеподобным клювом несколько раз ущипнул меня до крови. Алеша не успел предупредить меня, что надо пользоваться кожаными грубыми перчатками, пробить которые строптивая птица не в состоянии. Вне этих щекотливых моментов ворон был само дружелюбие. Ел он все: мясо, хлеб, каши, овощи, червей, фрукты, творог, насекомых. Всеядность врановых значительно облегчает их содержание в неволе. Несмотря на юный возраст, вороненок проявлял и хищнические инстинкты. В Академгородке много сосен, посадки которых подступают к городку со всех сторон и окружают коттеджи. Сосновые шишки привлекают многочисленных белок. Зверьки полуручные — людей совсем не боятся, берут из рук лакомство, забегают в дома. Довольно часто белки появлялись и в Алешином саду. Каждый раз ворон пытался схватить непрошеную гостью и с громким клекотом кидался на сетку при виде скачущей рыжей проказницы.

К концу августа Черный превратился во взрослую птицу и стал учиться летать. Первые опыты ограничивались садовым участком хозяев и были мало удачны, но настал день, когда вороненок перелетел через забор, сделал круг над домом и скрылся из глаз. Все забеспокоились, потому что на большие расстояния птенец еще не летал и неизвестно. сможет ли он найти свой дом. Через несколько минут Черный показался над соседним участком и приземлился у соседских дверей просто потому, что дотянуть до собственных не хватило сил. В этот момент соседи (молодая пара) вышли на улицу. При виде большой черной взъерошенной птицы, сидевшей на крыльце с раскрытым клювом (неумелый летун запыхался), женщина завизжала и отпрянула назад в дом. Храбрый супруг, вышедший было на крыльцо, сделал два шага назад и скрылся за дверью. Оставив поле боя за собой, вороненок вознамерился тут же и отдохнуть. На наши призывы он не реагировал, и Алеше пришлось идти на соседний участок и переносить ворона вручную. Птенец настолько утомился, что даже не протестовал. После этого дела пошли намного лучше. Черный стал улетать на большие расстояния, возвращаться домой все позже и позже и, наконец, уже после моего отъезда, улетел совсем.

Птенца японской амадины подарил моему сыну его одноклассник. Этот вид выведен в неволе и в природе не встречается. Очень невзрачная и скромно окрашенная коричневая птичка по размеру меньше воробья, но какой же ручной и приятной в общении она оказалась! Мой маленький сын почти не выпускал птенца из рук, называл Степочкой и очень ему радовался. В результате амадина стала самой ручной и милой птицей, какую я когда-либо встречал. Степочка совершенно не боялся человеческих рук: сидя на ладони, доверчиво вытягивал

шейку, чтобы ее почесали. При поглаживании замирал и прикрывал глазки, всем видом показывая неземное блаженство. Охотно клевал просо с ладони. Садился мне на плечо или на голову и так путешествовал из комнаты в комнату. В клетке Степочка проводил мало времени. Мы все время выпускали его полетать по комнате. В то время у меня жили зебровые амадины и неразлучник Гоша. Кстати, этот желтый красавец сам залетел на наш балкон, видно удрал от кого-то. Ясным солнечным днем я выставил все клетки с птицами наружу. Вдруг, смотрю, на одной из них сидит желтый попугай. Видно, его привлек мой «птичник». Я тихонечко выбрался на балкон и, зная, что большинство попугаев называют Гошами, стал его подманивать. При звуках моего голоса неразлучник встрепенулся и сел на мою руку, откуда я переправил его в клетку.

Для Степочки не было пары, поэтому некоторое время ему пришлось делить клетку с другим «холостяком» — самцом зебровой амадины. Не имея более подходящего объекта, Степочка стал ухаживать за соседом: пел ему песенки, танцевал, кланялся, приносил веточку, предлагая свить гнездо, но конечно был отвергнут. Возможно, будь у него подруга, он не был бы таким ручным. А то, стоило мне улечься с книгой на диване, Степочка тут как тут. Сядет мне на грудь или на живот, споет песенку, приласкается, да и задремлет. Подойдет пора ложиться спать, жена или сын осторожно заберут его рукой и отнесут в клеточку, а он даже не трепыхнется — такое доверие. Не знаю, может ли другая столь же малая птица настолько привыкнуть к человеку? Ведь, когда говорят о самых ручных, имеют в виду интеллектуалов птичьего племени — попугаев или врановых, которые, как считают некоторые зоологи, по умственному развитию приближаются к собакам и лошадям.

Постоянное общение с животными дает мне неисчерпаемый материал для наблюдений и размышлений. К тому же, с ними отдыхаешь душой. И мы можем многому у них научиться, потому что *«Всякое дыхание да хвалит Господа»* (Пс. 150; 6), то есть животные самим своим существованием прославляют Творца — делают то, что многие люди делать разучились и забыли.

## Самарянка

Ветхий домишко Анастасии стоял в трехстах метров от храма, где я в то время служил. Собственно, всего лишь треть этого жалкого сооружения принадлежала Анастасии. За досчатой перегородкой жили другие люди, а ее часть помещения состояла из одной комнаты, сеней и покосившегося подгнившего крылечка. В комнате стояли кровать, обеденный стол, шкаф и пара стульев — все старое, обшарпанное и ветхое. Еда готовилась тут же на электрической плитке или в голландской печке, занимавшей большую часть комнаты. Сени были довольно просторными. Здесь хранились дрова, и валялся всякий хлам. Земельный участок Анастасии был узким и сжатым с обеих сторон глухими соседскими заборами. Площадь его не превышала 4-х соток. На этом пространстве размещались: маленький дощатый гараж под «Запорожец», прогнивший сарай и несколько грядок с зеленью и огурцами.

И вот на этой территории Анастасия — пенсионерка в возрасте около 60-ти лет, ухитрялась устроить настоящий приют для двуногих и четвероногих бомжей. Я часто видел ее в храме. Одетая, как почти все наши пожилые женщины из народа, в какое-то старье, она скромно стояла у большой иконы Иоанна Крестителя и сосредоточенно молилась. У Анастасии было спокойное открытое доброе лицо, седые волосы и большие зеленые глаза. Наверное, в молодости она была красивой. Родом эта наша прихожанка была из деревни, откуда-то из-под Владимира или Ярославля, так как она говорила на о, но «окала» Анастасия не душераздирающе, как тамошние жители, а слегка, как человек, давно живущий среди «акающих» москвичей. Уж и не помню, зачем я впервые зашел к ней. Кажется, меня пригласил один из ее постояльцев — бомж Алексей. Он хотел подарить мне какие-то книги

исторического содержания, Бог знает, каким образом попавшие ему в руки. Этот Алексей питал ко мне дружеские чувства, потому что я иногда подкидывал ему какую-нибудь работу. Кроме того, наши сердобольные церковные уборщицы подкармливали Алексея остатками с приходского стола.

В доме Анастасии помимо Алексея я застал Ваньку — дефективного парня лет 17-ти, которого она подобрала в кустах около Троице-Сергиевой Лавры, где он собирался устроиться на ночлег, и восьмидесятилетнюю старуху Василиссу, которую обманом выселили из принадлежащего ей дома. На стук калитки из сеней выскочила маленькая криволапая дворняжка и закатилась пронзительным и звонким истерическим лаем. Вдруг лапы собачки подогнулись, и она с воплем перевернулась на спину, стала биться и хрипеть. Из пасти потекла пена. «Припадочная она — объяснил Алексей, — кто-то побил палкой, а Настя подобрала». На крыльце сидели две кошки: одна вполне обычная, другая облезлая. Видно, в этом доме концентрировались все, обиженные судьбой. Вскарабкавшись по скрипучим ступенькам, Алексей на минуту зашел в домик, чтобы вручить Анастасии дневную «добычу» — большой полиэтиленовый пакет с картошкой. Его резиденция находилась в сарае, но готовили на все общество в комнате у Анастасии.

После осмотра книг нас пригласили в дом на чай. На покрытом старенькой клеенкой столе красовались разнокалиберные чашки и стеклянная баночка с вареньем. Свежий белый хлеб — «кирпичик», нарезанный толстыми ломтями, возвышался на большой тарелке с отбитыми краями. Все «семейство» было в сборе и даже для меня — гостя нашлось место. Впоследствии, бывая в этом доме, я всегда заставал ту же картину: постояльцы время от времени менялись, но всегда это были несчастные люди, обиженные жизнью и обделенные судьбой, и животные тоже были «униженные и оскорбленные» и всем им помогала Анастасия по мере своих слабых сил. А ведь она получала только минимальную пенсию. У Анастасии был взрослый сын, живший на соседней улице в бараке со своей второй женой. Его скромной зарплаты шофера не хватало, чтобы помогать, матери, так как он, имея ребенка от первого брака, платил алименты. Так объяснила мне ситуацию Анастасия, когда я поинтересовался, почему сын ей не помогает. «Я привыкла полагаться на Господа, да на саму себя, с тех пор, как тридцать лет назад мой муж попал под поезд» добавила она.

Уже давно я служу на другом приходе, но часто вспоминаю эту женщину, которую с полным правом можно назвать «рабой Божьей». Приходская жизнь сводит меня с разными людьми. Есть среди них и весьма состоятельные, которые появились в нашем обществе за последние 15 лет. Некоторые из них пытаются благотворить, но как же им далеко до бедной вдовы Анастасии, близко к сердцу воспринявшей так часто читаемую в храме притчу о милосердном самарянине и согревающей любовью всех приближающихся к ней!

# Иерей Владимир Русин

*«И сказал Господь Бог: не хороню быть человеку одному...» (Быт.2:18)*

*«Страницы этой книги представляют собою беспристрастный отчет о действительно происходивших событиях*

**Джером К. Джером. «Трое в лодке, не считая собаки».**

## Трое в доме, не считая матушки и батюшки

**Два плюс три**

Если у верующих супругов спрашивают, сколько они хотят иметь детей, ответ, как правило, не отличается оригинальностью: «Сколько Бог даст».

Нам с матушкой Господь дал пока троих. Тихон — старший, он родился в декабре 2005 года. Мария — средняя, родилась спустя год и четыре месяца. Анастасия — младшенькая, она появилась на свет в апреле 2009 года.

Они пришли в нашу жизнь как-то очень быстро и заняли в ней все, что оставалось еще свободным, сильно потеснив творческие планы, дружеские связи и эгоистические мечты. Теперь с трудом верится, что было время, когда у нас было свободное время и не было детей.

**Имя на «пять»**

Сына мы назвали в честь святого исповедника Тихона, Патриарха Российского. Вскоре после его рождения я отправился в Москву сдавать сессию в Свято-Тихоновском университете. На одном из экзаменов педагог заколебался, какую оценку ставить за мой ответ. Начал задавать дополнительные вопросы. Спросил и о детях. Говорю, сына Тихоном нарекли, в честь Патриарха. «В честь Патриарха?» — довольно улыбнулся экзаменатор и нарисовал в зачетку пятерку. Хотя, по-моему, выбирал оценку между тройкой и четверкой…

Средняя дочь получила имя в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, частичку мощей которой привозили накануне рождения Маши.

Младшая носит имя святой новомученицы Анастасии (Бобковой), расстрелянной на Бутовском полигоне под Москвой в годы гонений на Церковь.

**Почему плачет Бог?**

Тиша и Маша рассматривают Распятие, висящее на стене над папиной кроватью.

«Он пацет?» — спрашивает Маша, указывая на распятого Христа. Я утвердительно киваю головой.

«А поцему он пацет? — допытывается Тиша. Его кто обидел?».

Объясняю, что Бога обижаем мы, люди, всякий раз, когда совершаем дурные поступки. Дети погружаются в глубокое раздумье, а затем целуют по очереди крест. На ближайшей службе Маша в храме у большого Распятия ведет с присматривающими за ней бабушками просветительские беседы: «Он пацет — люди обидели». А Тишка хлопает ладошкой по «голове Адама» — черепу у подножия Христа, символизирующему побежденную Богом смерть.

**Чей папа?**

Тихон вновь узурпировал все игрушки, включая сдутый воздушный шарик, на который Маша хотела было покуситься. Маша, с трудом сдерживая слезы обиды, уткнулась мне в подрясник, затем победоносно посмотрела в сторону «жадненького» старшего братца и неожиданно твердо заявила: «МОЙ папа!»

Тихон перестал катать машинку по ковру и, выдержав многозначительную паузу, изрек: «Неть! Папа НАСС». И, чтоб уж совсем исключить двусмысленность, добавил: «ОБЦИЙ». Я предполагал дальнейшую эскалацию конфликта со стороны Маши. Однако та на удивление

быстро согласилась с таким положением. Только уточнила: «И Масын? И Тисын? И Натин? И мамин?.. Общий».

**Машина одежка**

Так вышло, что нашей Маше большинство одежек доставалось с чужого плеча. Она к этому привыкла и когда очередной раз ей принесли обновку, девочка с благодарностью ее приняла и поинтересовалась: «Тисина?» Нет, эта вещь была не из гардероба старшего брата. «Килюсина?» Кирюша — это двоюродный брат по матушкиной линии. Но и он не носил этой одежки. «Валина?» Варя — двоюродная сестра Маши по моей линии тоже не надевала эту вещь. «Это твоя, — объяснила мама. — Машина». «Ма-а-асина?!?» — удивилась девочка.

**Источник вдохновенья**

Конечно, родителям свойственно преувеличивать успехи своих чад. В этом плане мы — не исключение. Матушка посчитала проявлением недюжинного поэтического таланта лепет восьмимесячного Тихона: «Мама-мама, няма-няма». Впрочем, многие творческие люди черпают свое вдохновение из банального чувства голода.

**Первая ночь, «Варфоломеевская»**

Первая ночь, когда мы, наконец, собрались все впятером, напоминала заседание съезда народных депутатов в разгаре перестройки. Одновременно были включены «три микрофона». По одному Тихон просил, чтобы мама рассказывала сказку про Аленушку. По другому — Маша настаивала, чтобы папа рассказал сказку про Машу и медведя. А Настя требовала, чтобы все прекратили болтать и дали ей нормально поспать.

**Самая долгая сказка**

Когда у нас появились дети, выяснилось, что сказки на ночь я рассказывать не умею. Утром, днем — еще, куда ни шло. А на ночь мои сказки не годятся. Спать после них дети не хотят — все время требуют продолжения.

Что поделать? В первом институте, где я постигал основы режиссуры и актерского мастерства, нас учили тому, как не дать зрителю уснуть.

Матушке в этом плане проще. Она по первому образованию — воспитатель детсада. Есть у нее в репертуаре (может быть еще со студенческой юности) дежурная колыбельная сказка — «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Особенно хорошо матушке удается передать атмосферу знойного полдня, который застиг брата и сестру в пустынной, бедной водными источниками местности.

«Идут они идут… Идут они идут… Идут они идут…» — заунывно вешает матушка, навевая зевоту даже на хорошо выспавшегося слушателя. У меня так талантливо гипнотизировать детей не получается.

Решил внести в текст сказки дополнительные повторы, которые, как мне казалось, должны были способствовать скорейшему засыпанию. После того, как Иванушка благоразумно отказался утолять жажду из коровьего и лошадиного копытцев, и морально был уже готов хлебнуть из копытца козьего, в моей версии сказки возникло «слоновье копытце, полное водицы». «Не пей — слоненочком станешь!», — воскликнула Аленушка и вновь удержала брата от поступка, влекущего за собой потерю человеческого облика. А потом были новые копытца: верблюжье, носорожье, жирафье и даже динозаврье…

А сна у детей — ни в одном глазу. Минут через пятнадцать мои знания животного мира начали оскудевать. На помощь пришла матушка. «Идут они идут…» — завела она свою любимую шарманку. Как скоро заснули дети, не знаю, так как я отключился раньше их.

**Комплимент**

Маше по наследству от старших перешла шапочка с длинными ушками. Раньше ее носил двоюродный брат Никита, затем в ней щеголял родной братец Тишка. Себя он в этой шапочке со стороны не видел, а в адрес сестры, вышедшей с длинными ушками на прогулку, не утерпел отвесить комплимент: «Маша, ты — клолик!» И так повторялось всякий раз, когда Маша выходила на улицу в длинноухой шапочке.

Наконец, матушка решила сменить дочке этот головной убор на менее вызывающий. Тихон моментально отреагировал на перемену: «Маша, ты — не клолик. Ты… ве-ли-ко-леп-на!»

**Бабушка в «девочкином» платье**

Тихон гостил у бабушки в городе. По телевизору транслировали очередной прощально-юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Бабушка, естественно, не смогла отказать себе в удовольствии хоть краем глаза взглянуть на кумира своей молодости. Взглянул и Тиша, а потом и спрашивает, указывая на экран: «А почему эта бабушка в девочкином платье?»

**«У нас дома детей мал-мала…»**

Современную технику современные дети осваивают гораздо резвее своих устаревших родителей. Не мной первым это замечено… Я и знать не знал, что у нас на кухне в один из бытовых приборов встроен радиоприемник. А Тиша с Машей быстро отыскали нужную кнопку и нажали ее, предварительно выкрутив реле громкости на полную. На весь дом раздался надрывный вопль солиста группы «ЧайФ»: «У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить!..» Умри — лучше не найдешь песенной цитаты для подобного случая.

**Война и мир**

— Меня Тиса обизает! — ревет Маша, нарочито громко, чтобы привлечь внимание общественности, то есть нас с матушкой. Мы проявляем чудеса дипломатии. Обе конфликтующие стороны соглашаются на мировую. Тихон признает свою вину. Просит прощения у Маши. Маша прощает лишь после вторичного более слезного прошения. Папа, облегченно вздыхая, говорит: «Мирись, мирись и больше не дерись, а если будешь драться…» «То я буду кусана!» — завершает Тихон и кусает Машу. Маша — в рев: «Меня Тиса обизает!» Все возвращается на круги своя.

**Позови меня**

— Маша, позови, пожалуйста, Тишу, — просит матушка, в надежде, что сестре удастся зазвать братца на обед. Мария уже сидит за столом с ложкой в руках и с серьезным выражением лица. — Тиска-а! Тиска-а-а! — напевно выводит она, слегка повернув голову в сторону предполагаемого местонахождения Тихона. Брат не откликается. — Не зовется, — констатирует Маша и продолжает трапезу.

**Проезжаем мимо памятника-танка**

— А он стлеляет? — настороженно любопытствует Маша, когда мы ровняемся с его башней.

— Нет, — успокаиваю я дочь, — он уже старенький и свое отстрелял.

— Сталенький? — переспрашивает Тихон. — Значит, он сколо умлет?

**Где живут монахи?**

Когда-то обещал Тихону свозить его в Холковский пещерный монастырь. Обещанного ждут три года. Но каково ждать такой большой срок, когда тебе всего три года с небольшим?

— Пап, а пап, когда мы поедем в монастыль?

— Какой монастырь, сынок?

— Где монахи в нолках зывут…

**Хочу на небо**

Вышли на вечернюю прогулку. Собираться начали, еще светло было. А когда порог переступили, уже первые звезды глянули. Ну, а когда домой возвращались, весь небосвод звездами усеян был. В сельской местности в ясную погоду они хорошо видны.

Тихон, заворожено глядя вверх, заявил:

— Хочу на небо.

— И я тозе хочу на небо, — не отстала от брата Маша.

Заявка была адресована матушке, но она объяснила детям, что по таким вопросам нужно обращаться к батюшке. Дети повторили свои реплики теперь уже в мою сторону.

— Чтобы попасть на небо, надо прожить хорошую благочестивую жизнь, — нашелся я. — Никого не обижать, ни с кем не ссориться, всем помогать, любить Бога и людей. Будете так жить?

— Да, — решительно кивает Тихон. И дети вновь подбегают к маме.

— Ну, что вам папа ответил? — любопытствует матушка.

— Лазлешил!!! — радостно сияя возвещает Маша.

**Большое искушение**

Быть детьми священника — большое искушение. В годы гонений на них обрушивается весь тот шквал насмешек, оскорблений и лишений, который переносят их родители. А в те периоды истории, когда в обществе не доминируют антирелигиозные настроения, детей священнослужителей ожидают испытания иного рода. Нередко случается так, что все почтение и уважение, которое прихожане оказывают пастырю, они проецируют и на его чад. Иногда это уважение проявляется в виде сладостей, сюсюканья и потакания всяческим капризам. И тогда в плане баловства никакая родная бабушка не сравнится с приходом. Моя матушка как-то не выдержала и со слезами на глазах во время службы просила всех присутствующих не кормить ее детей конфетами хотя бы перед Причастием.

**Зарисовка**

Ем шоколадку, прячась от детей. У них на шоколад — аллергия, а у меня — пока нет.

**Сласти-мордасти**

Тетя Люда, продавщица, имела неосторожность несколько раз угостить забежавших к ней в магазин Тишу и Машу. Впоследствии дети шли туда целенаправленно, чтобы поклянчить что-нибудь вкусненькое. После очередного выклянченного гостинца матушка попросила добрую тетю Люду все-таки не баловать этих оболтусов. Тем более, что всякий раз выпроваживая их на улицу, мама надеется на то, что дети нагуляют аппетит. Естественно, со сладостями никакая мамина каша конкуренции не выдержит. В свою очередь и детям строго-настрого было запрещено шастать в магазин.

Тихон подошел к соблюдению этой родительской заповеди творчески. Однажды он подкараулил возвращающуюся домой после работы тетю Люду и, как бы, между прочим, поинтересовался, что она несет в своей сумочке. В сумочке были конфеты, печенье или что-то в этом роде. (Тетя Люда, оказывается, вообще любит детей, а не только наших.)

Тихон, разумеется, предложил поделиться сладостями с ним. Тетя Люда напомнила о том, что матушка не разрешает ей это делать. Тут Тихон явил изворотливосгь опытного дипломата. Он стал убеждать свою собеседницу, что запрет матушки действует только на территории магазина. А на улице «мозя».

**Раздвоение личности**

Еще одна «магазинная» история. Уже без сладостей и связанная с Машей. Тетя Люда ушла, наконец-таки, в отпуск, найдя себе достойную замену в лице тети Иры. И вот отпускница посетила магазин в статусе простой покупательницы. На обратном пути ее встретила Маша.

— Ты кто? — спросила девочка, сканируя свою собеседницу взглядом.

— Тетя Люда, — простодушно ответила тетя Люда.

Маша перевела взгляд на открытые двери магазина, затем опять на продавщицу в отпуске и удивленно вопросила:

— Тебя што — две?!

**Первый заработок**

Тихон пока не собирается в школу, потому что он, по его признанию, «есе молодой». Тем не менее, я ожидаю начала школьной жизни своих детей с ужасом. Ужасает и то, чего они могут нахвататься в школе, и то, чем они сами непременно «поделятся» со своими сверстниками и учителями. Если нрава моя мама, и дети (особенно Тишка) своим поведением напоминают меня в их возрасте, то краснеть мне придется частенько. Ну, это еще впереди. А пока слушаю рассказы из жизни современной школы…

Знакомый из соседнего села рассказал. Уверяет, что эта похожая на анекдот история произошла с его внучкой — младшеклассницей. Однажды девочка, вернувшись из школы, радостно заявила, что заработала там деньги. И гордо показала маме свой первый заработок — двадцать рублей. Мама, привыкшая к тому, что обычно финансы движутся не из школы в семью, а в обратном направлении, потребовала пояснений. Дочь рассказала, что классная

руководительница во время урока вышла на несколько минут из класса, попросив ее как самую ответственную записать тех, кто будет баловаться.

Баловались многие. Но только двое подошли к девочке и попросили их вычеркнуть из списка, дав за это по десять рублей… Мама была в шоке. Придя в себя, она провела с дочерью воспитательную беседу. В итоге та признала свою ошибку и торжественно пообещала родительнице исправиться: «Следующий раз деньги возьму, а вычеркивать никого не буду…»

**Чих на бис**

Я чихнул.

— Будь делев!!! — резво отреагировала Маша.

Тихон — в рев. Что такое? Оказывается, он хотел пожелать папе здоровья первым… Пришлось чихать второй раз.

**Молитва о здравии**

Заболел. Хриплю-сиплю-кашляю. Пользуясь, случаем решил и недосланные часы себе возместить. Тем более утро выдалось свободное. Только в обед меня на похороны заберут. Но батюшка предполагает, а….

Тихон, едва вскочил с кровати, побежал в мою комнату. Матушка успела его перехватить по дороге, разъяснила, что папа болеет, играть не может, нужно молиться, чтобы он побыстрее выздоровел. Тихон несколько минут переваривал информацию. Затем все-таки приоткрыл мою дверь и с порога деликатно заявил, что беспокоить меня не будет, а будет молиться Богу и Божьей Матушке, чтобы я поскорее с ним поиграл.

Минут пять я лежал в тишине. Только начал дремать, как в комнату влетел Тихон и победоносно возгласил: «Выздоловел!»

— Еще нет.

— А я узе помолился.

**«Чаю воскресения мертвых…»**

**(Беседа Тихона с бабушкой вскоре после Воскресения Христова)**

— Бабушка, а ты сколо умлешь?

— А ты хочешь, чтобы я скорее умерла?

— Нет, я хочу, чтобы ты сколее восклесла!

**Афоризмы и парадоксы**

Маша упрашивает:

«Папанька, ну пазалюста, поиглай со мной, а то мне там скуцно втлоем».

Тихон размышляет: «Когда ты был маленький, я уже родился. Только еще не появился».

Тихон сравнивает: «Моя машина устроена так же, как твоя. Только в ней по-другому все…»

Маша поясняет: «У меня в домике два человека: зайчик и свинка».

Тихон храбрится, сидя темным вечером на горшке и размахивая перед собой пластмассовым мечем: «Я побью темноту, чтобы она не темнела».

Тихон объясняет, почему он опять залез в шкаф со сладостями: «У меня перерыв».

Дети зовут меня кушать пасхальный кулич: «Папанька, иди на кухню пасхать!»

**Две новости: плохая и хорошая**

Маша, искупавшись в луже, экстренно возвращается с прогулки и радостно сообщает маме: «Я упала, но ножку не сломала».

**Отречение от своей воли**

Тихон: «Мама, где воинам теремок построить?»

Матушка: «Где хочешь, там и строй».

Тихон: «Мама, а где я хочу построить?»

**Пластилиновые детишки**

Матушка и дети достали из шкафа пластилин. Лепят: катают, мнут, отрывают. Матушка слепила собачку.

— Это мама. А папу? — жалобно упрашивает Маша.

Матушка лепит пса.

— А щеночка? — вновь просит Маша.

Матушка лепит щеночка и собирается оставить Тишу и Машу одних, но получает от Маши новый заказ.

— А теперь других деток…

Сразу видно — девочка из многодетной семьи.

**Одиночное плаванье**

— Ласказать, где мы были? — интригует Тихон с порога.

Но интриги не получается. Его уже опередили. Пришел местный житель и доложил матушке, что наши дети сидят в луже перед магазином. Единственной, кстати, луже, не успевшей высохнуть после последнего дождя. Некогда чистые курточки, брючки-платьица, ботинки-туфельки безнадежно перепачканы густой и совсем не лечебной грязью. Во взгляде матушки читается сожаление о том, что она одела детей на вечернюю службу в самую праздничную одежду. Но кто же мог подумать, что за каких-то десять минут свободного гуляния они успеют так перепачкаться.

— Ласказать? — Тихон на пороге ждет ответа на поставленный вопрос.

— Рассказать! — опережаю я матушку, которая сама хотела многое рассказать своим детям.

— А вы меня помойте, — ставит условия Тихон.

От, добрый молодец! Напоить его, накормить, в баньке попарить и спать уложить… Надо признать, все-таки многовато-то мы им сказок читаем. Но делать нечего. Приходится готовить детей к купанию. Второму уже за этот день. В процессе подготовки выясняется, что наши пострелы успели перед тем, как нырнуть в лужу, погоняться за мопедом и заблудиться в «маленьком лесу, где нет никаких зверей». Нет, до одиночных прогулок они еще не доросли.

**Комплимент от Маши**

— Папанька, а ты не сталенький! Ты же не бабушка.

**Зеленая была**

**(драма в одном действии и одной картине)**

*Действующие лица:*

**Батюшка;**

**Машенька,** его средняя дочь, ей 3 года;

**Настенька,** его младшая дочь, ей 1 год.

**Машенька** *(протягивая вперед зеленые ладошки)*: Какая я некласивая!

**Батюшка:** Конечно, весь пузырек зеленки на себя вылила. Ходи теперь, как лягушка.

**Настенька:** Ква!!!

Занавес

**Когда матушка была маленькой**

— Мама, ласказы, как ты была маленькой, — пристают дети к матушке.

Стрелки на часах приблизились к полуночи. Позади, как всегда, насыщенный событиями день. Матушка практически спит, продолжая и во сне наряжать детей в памперсы, поить водой, укрывать одеялом.

— Ну, ласказы-ы-ы, — не унимаются Маша и Тиша.

— Ма-ма-ма, — поддерживает их Настя.

— С самого начала? — уточняет сломленная их напором матушка.

Дети радостно кивают. Мама начинает.

— Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою…

Дети притихают. Умолкает и матушка, полагая, что до утра чада обеспечены пищей для сновидений. Но не тут-то было.

— А дальше? Про свет, — подсказывает Тихон следующие строки Священного Писания.

— И сказал Бог: да будет свет, — вздохнув, продолжает спящая матушка.

**Как я согласился быть «мамой»**

Лексикон годовалой Настеньки еще очень бедный. Для выражения всех чувств и желаний ей хватает пока двух слов: «мама» и «кака». Мамой величает она и папу. Попытался научить ее третьему слову. Несколько раз повторил: «па-па», А она все улыбается и лепечет счастливо свое: «ма-ма» да «мама». Я не отступал и в итоге добился определенного сдвига в своих логопедических опытах. Настя посмотрела на меня и как-то растерянно или удивленно произнесла: «Ка-ка…» Нет, уж! Пусть лучше «мама» будет.

**Видимо-невидимо**

У Тихона затянулся «воинский период». На свое имя он не откликается. Всем говорит, что его Воином зовут. Ищет врагов, чтобы с ними сразиться. Объяснили ему, что каждый христианин — воин и обязан сражаться с врагами. Но самые главные наши враги не видимы. И вообще, по словам апостола, наша война ведется не против плоти и крови, а против духов злобы. Ну, короче говоря, как сумели, растолковали православное учение о невидимой брани. Тихон это понял по-своему. Позвал меня сыграть с ним в солдатики. Расставил свое войско на полу. Я потянулся в коробку за своими солдатами. Но Тихон сказал, что мне предстоит командовать невидимым войском.

Ох, и тяжелое это дело.

**Без поведения**

Клянчат мультики. Но пост на дворе. Коснулся он и меню, и мультфильмов. Стараемся включать детям мультики реже и меньше. О мясной пище маленькие постники почти не вспоминают. Чего нельзя сказать о мультфильмах.

— Мама, включишь мультики? — жалобно просят дети.

— Посмотрим на ваше поведение, — строго говорит родительница.

— А у меня нету поведения! — заявляет Маша.

**Мультик при свечах**

Теплый июльский вечер. Пост закончился. Дети разговляются мультиками. Вдруг гаснет свет. Старенького бесперебойника хватает лишь на то, чтобы корректно выключить компьютер. Но детям очень хочется узнать, чем же закончилась эта история о мумми-троллях. Объясняем суть проблемы: нет света.

— Свечку зажги! — находит выход Тихон.

**Ревность**

Взял Настю на руки, понянчил и усадил на колено. Маша уязвилась ревностью: «Я тоже так могу» и… запрыгнула ко мне на свободное колено.

**Возможны осадки…**

Тихон сосредоточенно конструировал из мирного строительного конструктора «немский» автомат. Затем превращал в новую «сольницу» пластиковый стаканчик для ватных палочек. (Куда подевались сами палочки? Это вопрос, требующий отдельного исследования). Матушка в палисаднике возилась с рассадой. А девочки играли в спальне… пакетом с мукой.

— Что это?! — только и смог я выдавить из себя, окинув взглядом спальную комнату, в которой все было припорошено мукой.

— Снежные хлопья, — объяснила самая старшая проказница — Маша.

На следующий день «осадки выпали» на кухне. «Опять матушка муку не успела спрятать», — подумал я. И ошибся. Это уже была сода.

**Прятки**

Маша: «Я буду прятаться ЗДЕСЬ, а ты меня ищи ТАМ».

**Тощак**

Маша, протягивая папе дольку апельсина: «Когда у тебя будет тощак, съешь».

**Лень-улица**

— Эта улица как называется? — интересуется Тихон.

— Ленина, — отвечаем.

— Тут что все ленивые зывут? — удивляется мальчик.

**Жизнь без привидений**

Тихон пристает с вопросами:

— А где живут привидения?

— В воображении, — отвечаю я.

— А где воображение?

— В голове.

— А как привидения туда попадают?

В конце концов, я не выдерживаю интеллектуального напряжения и категоричным тоном заявляю:

— Никаких привидений не существует!

— Слава Богу! — облегченно вздыхает малыш. А то бы я испугался.

**«Какрасные» ботинки**

У Маши — обновка. Она примеряет ботинки, из которых выросла ее двоюродная сестра.

— Ну, Маша, как тебе ботиночки?

— Какрасные!!! — радостно сообщает девочка.

Взрослым приходится потратить некоторое время, чтобы расшифровать детский неологизм. «Какрасные» — это значить те, которые «как раз», то есть впору.

**Хромой олень**

Сцепляю двое санок паровозиком. Тихон плюхается в первые санки, Маша усаживается во вторые. Зареванная Настя, прижавшись лбом к оконному стеклу, провожает наш обоз обиженным взглядом. Но третьих саней нет. Их матушка подарила местному мальчику Данилке из многодетной семьи. Да и не утащу я с больной ногой состав из трех прицепов. Тем более что пассажиры норовят высунуть из саней какую-нибудь конечность и поволочить ее по снегу. Это их почему-то веселит, но замедляет ход и значительно увеличивает нагрузку на «двигатель».

Тихон поет. Репертуар у него уже большой. Однако для текущего момента он выбирает следующий хит: «Вези меня, олень, в свою страну оленью-у-у…» «Совершая нозе мои, яко елени, и на высоких поставляяй мя»[1], — прихрамывая, ответствую я словами псалмопевца Давида. Все-таки что это за удивительная книга «Псалтирь». Там на все случаи жизни можно найти подходящую фразу.

**«Княжеские знаки»**

Тихон разрисовал руки авторучкой.

— Что это у тебя такое?

— Княжеские знаки, — нахмурившись, ответил Тихон и, помолчав, добавил. — Я хоть и грешный человек. Но в Бога верю…

Из какого-то это мультика? Гадаем по сей день.

**Не в сказке сказать**

Маша, вертясь перед зеркалом: «Я такая необыкновенная, как… мебель».

**«Улетный» ужин**

Маша, вертя в руках пакет с макаронными изделиями в форме бабочек: «Хм, летучие макароны». Бабочки, сваренные на ужин, «улетели» за один присест.

**Философское**

Однажды Маша глубокомысленно изрекла: «Я умею быть».

**Нежное**

Маша (папе): «Я хочу стать мурашечкой и по тебе бегать».

**Молись, как лошадь**

За день намотался, еле на ногах держусь. Читаю вечернее правило, стоя на коленях. Маша

вертится вокруг.

— Молись, как лошадь, — говорит.

—?!

Потом соображаю, что нужно встать на четвереньки, поскольку дочь собирается взобраться ко мне на спину, то есть оседлать.

**Мне тебя не хватает**

Маша: «Попроси бабушку, чтобы она родила мне еще одного папу».

**Помню, я еще молодушкой была**

Тихон (Маше):

— Ты еще маленькая.

— Я не маленькая, я молодая.

**Сомолитвенник**

Начинаю чин Крещения младенца Дионисия. Тихон подбегает, пристраивается рядом и говорит: «Я буду тебе помогать».

Помощи большой я от него не жду. Лишь бы не мешал. А то вовремя огласительных бесед вклинился он в разговор с будущими крестными, предлагал их по храму поводить, ангелов показать. Хорошо, что те с девочками были лет шести-семи. Вот девочек пятилетний миссионер и водил.

Секунд пятнадцать Тихон стоял ровно. Затем безмолвно воздел руки к небу. На мой вопросительный взгляд ответил: «Это, чтобы молитвы твои быстрее к Богу доходили, и Он радовался».

**Знакомство**

— Я с девочками познакомился, — гордо заявляет Тихон, игравший после службы с детьми, приехавшими в храм.

— Ну, и как же их зовут?

В ответ — тишина.

**Три друга**

Тихон, радостно сообщает: «У меня есть три друга: Ванечка, Сашок и я».

**Марфа по имени Настя**

Вообще-то, я хотел, чтобы младшую сестру Тихона и Марии звали Марфой. Однако восстали родственники с обеих сторон, и Марфа стала Настей. Но угадываются в ее поведении определенные черты той евангельской Марфы, которая хлопотала о многом. За столом она пытается всех всем наделить. Из своей тарелки в тарелку Тихона ложкой перечерпывает суп.

Распечатывает конфеты и всех угощает. Собирает по дому вещи и игрушки, разбросанные… неизвестно кем. И даже бросается (простите за подробность) вытирать попы старшим детям.

**Болезнь**

До года Тихон рос крепышом. Во всяком случае, те заболевания, которые он перенес в начальный период жизни, поблекли и забылись, когда пришла большая БОЛЕЗНЬ. Началось все с того, что местные врачи назвали коклюшем. Был ли это на самом деле коклюш или таким образом проявилось наше основное заболевание, до сих пор неизвестно. Восемь дней матушка с Тишкой отлежали в инфекционке. Капельницы, болючие уколы, противные лекарства — все это тоже показалось цветочками, когда началось основное лечение.

Едва супруга с сыном вышли из инфекционного отделения, как я загремел в больницу с воспалением легких. А вскоре после моего возвращения домой бабушка Галя заметила, что у Тихона один пальчик на руке немного распух. Казалось, ничего серьезного. Тем более, сам мальчик с пальчиком никак не походил на больного. Он резвился, бегал, прыгал, что-то радостно лепетал. И распухший палец его ничуть не беспокоил. Не беспокоились и мы. Но дедушка настоял, чтобы малыша показали врачу.

Обратились к травматологу. Высказали предположение, что сын прибил пальчик дверцей шкафа, где хранились игрушки, или укололся цветком, дотянувшись до подоконника. Из травмпункта нас препроводили в основной больничный корпус. Там собрался маленький консилиум. Решили полечить пальчик лазером. После нескольких сеансов опухоль не только не спала, но, как показалось, начала расти. Тогда нас спешно направили в Детскую областную больницу. Там Тишу осмотрел хирург и как-то печально предложил оформляться в палату. Поскольку матушка была на последнем месяце беременности, с Тихоном лег я.

На следующий день до обеда у нас успели четырежды взять кровь на анализ, перевести из хирургии в гематологию и объявить, что у Тихона лейкоз. Б-клеточный, лимфобластный… Другими словами — рак крови. Психологически я был готов к операции на пальчике. Но дело оказалось не в одном пальце, а во всей крови.

Начались долгие месяцы тяжелого лечения, исход которого никому не был ясен. «Ничего предсказать не можем. От нас мало что зависит, — отвечали врачи на наше тревожное ожидание. И добавляли, указывая наверх: «Вы же как священник это лучше нас понимаете»». Понимать-то я понимал, но надо же было и что-то делать. А одна из главных «должностей пресвитерских» — побуждение к молитве. Вот и обратился я с просьбой о молитвах к самому широкому кругу своих знакомых. Отозвались на эту просьбу и совсем незнакомые добрые люди. Записки о «болящем младенце Тихоне» читались в алтарях разных храмов. Многие посчитали своим долгом поддержать нас и материально. Благодаря этой помощи удалось организовать лечение и даже «подстелить соломку» на случай неблагоприятного развития событий. Во время рождения Маши мы запасли Тихону для возможной пересадки пуповинную кровь и сдали ее на хранение в специальный банк крови.

Лечились мы в Белгороде, но с оглядкой на столицу. В Москву отправляли на анализ костный мозг, в Москве консультировались по поводу применения тех или иных препаратов. Лечение пошло, хотя дважды Тихон плохо реагировал на некоторые лекарства и оказывался в реанимации. Восемь с лишним месяцев сын провел в больнице безвыездно. Затем его начали на некоторое время отпускать домой. Потом уже лечились дома, время от времени приезжая на осмотр к докторам. Сейчас «химию» уже не кушаем и ездим на проверку в Белгород раз в полгода.

Еще в начале болезни сына я понял, что в медицину верить нельзя. Медицина — это область знаний, весьма обширная, но не безграничная. А окаймляет ее океан незнаемого. Нужно верить в Бога, и Господь Сам направит медиков по верному пути лечения. Поминал в алтаре всех, кто выхаживал Тишку в больнице и лечился вместе с ним. Некоторых уже поминаю о упокоении…

А матушка каждый день к молитвенному правилу добавляет свои сугубые прошения с земными поклонами. Просит она, чтобы Господь исцелил болящего младенца Тихона, а тот бы поработал Его Церкви. Последнее прошение, впрочем, касается и других наших чад.

[1] «Делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня» (Пс.17:34).

Спасибо, что читаете вместе с «Азбукой веры».

Другие материалы раздела – azbyka.ru/fiction

Поддержать портал – azbyka.ru/kak-pomoch